



Programme

Pouchkine

*Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин" при
поддержке Министерства
иностраннных дел Франции
и посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de
l'Ambassade de France en Russie.*



Philippe Ariès

LE TEMPS DE L'HISTOIRE

LES EDITIONS DU SEUIL
PARIS
2002

Филипп Аръес

ВРЕМЯ ИСТОРИИ

Перевод Марии Неклюдовой

О · Г · И
МОСКВА
2011

УДК 930.1
ББК 63.3
А79

Programme



*Издание осуществлено в рамках
программы "Пушкин" при
поддержке Министерства
иностраннных дел Франции
и посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
Pouchkine avec le soutien du Ministère
des Affaires Etrangères français et de
l'Ambassade de France en Russie.*

Арьес Ф.

А79 Время истории / Филипп Арьес; пер. с франц. и примеч. М. Неклюдовой. — М.: ОГИ, 2011. — 304 с.

ISBN 978-5-94282-635-2

Книга Филиппа Арьеса «Время истории» (1954) имеет отчасти автобиографический характер и посвящена тому особому чувству прошлого, которое присуще любой эпохе, начиная от античности до наших дней. В повышенном интересе к истории он видит главную черту европейской цивилизации.

УДК 930.1
ББК 63.3

ISBN 978-5-94282-635-2

© Les Editions du Seuil, 2011
© М. Ю. Неклюдова, 2011
© ОГИ, 2011

Оглавление

<i>Глава I</i>	
Ребенок открывает историю	9
<i>Глава II</i>	
История марксистская и история консервативная	23
<i>Глава III</i>	
Современный человек вступает в историю	51
<i>Глава IV</i>	
Отношение к истории: Средние века	72
<i>Глава V</i>	
Отношение к истории: XVII век.	124
<i>Глава VI</i>	
«Научная» История	204
<i>Глава VII</i>	
Экзистенциальная история	230
<i>Глава VIII</i>	
История и современная цивилизация	247
<i>Роже Шартье. Дружество к истории</i>	256
Аннотированный именной указатель	282

Посвящается Примроз

Глава I

Ребенок открывает историю

Порой подростки открывают для себя Историю на окольном пути случайно прочитанной книги, выразительного — вне зависимости от учителя — урока, путешествуя к истокам прошлого. Открывают, как путь в Дамаск. Это свойственно спокойным временам, точнее, тому веку небывалой тишины, простершемуся от 1814 до 1914 года, когда наши прадеды могли беспрепятственно верить, что их судьбы формируются сами по себе и подчиняются собственному ходу. Некоторые (самые благополучные) отгородились от коллективных тревог и оставались нечувствительными к волнениям общественной жизни вплоть до первых предвестий войны 1939 года, скажем, вплоть до 6 февраля или до Мюнхена¹.

Напротив, те, кому исполнилось двадцать незадолго или вскоре после 1940 года, уже не имели ощущения автономии

¹ 6 февраля 1934 г. коалиция правых партий («Аксьон франсез», «Жёнесс патриот», «Солидарите франсез», «Круа де фё» и др.) предприняла штурм Национальной ассамблеи и ряда правительственных зданий, в результате которого было убито полтора десятка человек и пострадало около двух тысяч. Эта попытка покончить с Третьей республикой не увенчалась успехом, но привела к правительственному кризису: президент республики умеренный социалист Эдуард Даладьё был вынужден подать в отставку, и его место занял консерватор Гастон Думерг. «Мюнхен», естественно, обозначает неудавшуюся попытку переворота, предпринятую Гитлером в ноябре 1923 г. (т. н. «пивной путч»). — *Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев и статьи Р. Шартье, примечания принадлежат переводчику.*

собственной частной жизни. Почти каждое мгновение их будней зависело от политических решений или от общественных всплесков. Эти дети, эти юноши изначально находились в Истории, и им не было нужды ее открывать: если они ее не замечали, то это было невнимание к чему-то максимально привычному.

В отличие от них я не был рожден в Истории. Вплоть до перемирия 1940 года² я жил в оазисе, наглухо закрытом от тревог внешнего мира. Конечно, за столом говорили о политике: мои родители, убежденные роялисты, были присяжными читателями «Аксьон франсэз» с первых дней ее существования³. Но эта политика была одновременно близкой и чрезвычайно далекой. Близкой, поскольку ее суть составляла дружеская, нежная привязанность. Наши разговоры вращались вокруг личных особенностей принцев и хроники их жизни. Мы от души восхищались остротами Доде и колкостями Морраса.

Каждый день газета разбиралась по косточкам и перетолковывалась — но ровно так, как обычно судачат о родных и друзьях. Вплоть до войны у меня не было ощущения, что общественная жизнь является продолжением моего частного бытия, вбирает его в себя и им управляет. Согласно общему приговору, дела были плохи, тем не менее в нашем семейном кругу никогда не обсуждались конкретные трудности, реальное влияние на наше повседневное существование того или иного законодательства или решения Государя.

Все изменилось после войны. Нашу обыденность заполнили — напомним лишь несколько примет времени — «снабжение», «инфляция», «национализация». Мой брат сегодня

² 22 июня 1940 г. между Германией и Францией было подписано перемирие, согласно которому часть французских территорий переходило в режим оккупации, а часть оставалась номинально свободной (режим Виши).

³ Ежедневная газета «Аксьон франсэз», печатный орган одноименного политического движения, начала выходить в марте 1908 г. и имела ярко выраженный монархический и националистический характер. Ее основателями были Шарль Моррас и Леон Доде (сын писателя Альфонса Доде).

рассуждает о жаловании и должности в том возрасте, когда, обитатели оазиса, ни я, ни мои друзья ничего не знали о денежных заботах и борьбе за существование. Один из моих братьев готовился к поступлению в Сен-Сир⁴, я сдавал экзамен на право преподавать историю. Ни он, ни я даже не думали поинтересоваться размером офицерского или профессорского оклада. Мы жили в оазисе. И, без сомнения, наше оазисное существование затянулось не столько в силу финансового положения наших родителей, сколько благодаря своеобразной призме, сквозь которую мы смотрели наружу, на общество. Волнения Истории доходили до нас через посредство дружественной газеты, в пересудах близких, которые, хотя и были причастны к общественной жизни, оставались обитателями того же оазиса.

Это объясняет, почему я не был рожден в Истории; но, размышляя над этим, я понимаю соблазн исторического материализма для тех моих ровесников, которые слишком рано оказались погружены в мир общественной, коллективной жизни. Между ними и деньгами, безработицей, конкуренцией, жадным поиском связей и влияния не было дружественного посредника. У них не было оазиса.

Благодаря оазису, я жил вне Истории. Но именно за счет этого она не была мне чужда. Мне не было нужды открывать ее, как юношеское призвание. Она сопровождала меня от первых детских воспоминаний как особая, принятая у нас в семье и в ближайшем кругу, форма политической ангажированности. Но была ли это История? Она не походила на свою тезку — нагую, враждебную, неистово увлекающую за собой все и вся, на ту Историю, которая бушует за хрупкой оградой семейных традиций. Признаемся: это была ее поэтическая обработка, История-миф, благодаря которой сохраняется ощущение тесной близости к прошлому.

Отличное от Истории прошлое? Звучит странно, но надо учитывать, что История в первую очередь связана с сознанием настоящего. Значит, романтизм? Воображаемые картины живописной роскоши и блеска минувших эпох? В какой-то ме-

⁴ Военная академия, основанная Наполеоном в 1802 г.

ре — да. Но эта мера столь мала, что ее можно не принимать во внимание. Тут нечто иное, по-настоящему ценное и поставленное под угрозу: сегодня эта угроза исходит от Истории.

Мое семейство, как уже сказано, было роялистским. Оно принадлежало к тем роялистам, которые безоговорочно сплотились вокруг «Аксьон франсез», были фанатичны, но возвращены на представления, предшествовавших доктринерству Морраса: по сути, на наборе нередко недостоверных анекдотов о королях, самозванцах, святых королевских кровей, Людовике Святом и Людовике XVI, о мучениках Революции. Совсем ребенком меня водили (во время воскресных прогулок, которые дети терпеть не могут) к Кармелитам, месту гибели сентябрьских жертв⁵, к покаянной часовне на бульваре Османа, возведенной во время Реставрации в память о Людовике XVI, Марии-Антуанетте и погибших 10 августа швейцарцах⁶. У дядюшек в Медоке мне ежегодно во время каникул показывали сохранившиеся со времен Революции загадочные картинки, где, как в ребусе, в листве плакучей ивы проглядывали черты Короля, Королевы и мадам Елизаветы. Каждый год перед портретом утопленного в Нанте священника⁷ мне заново оправдывали переменчивость одного из предков, который, будучи при Наполеоне мэром Бордо, принимал графа д'Артуа: вместо консервативного оппортуниста-буржуа возникал идеальный образ

⁵ Во время сентябрьской резни 1792 г. в саду монастыря кармелитов было расстреляно почти две сотни священнослужителей, отказавшихся присягать новому (гражданскому) устройству церкви.

⁶ Во время восстания 10 августа 1792 г., приведшего к падению монархии, дворец Тюильри, уже покинутый королевской семьей, остался под охраной нескольких сотен швейцарских гвардейцев, которые пытались противостоять натиску толпы. Большая часть их погибла на месте, а те немногие, что оказались в тюрьме, были убиты во время сентябрьской резни (см. выше примечание 5).

⁷ В ноябре 1793 — январе 1794 г. в Нанте, где скопилось много заключенных, было решено утопить их в Луаре. Первыми были утоплены полторы сотни священников; по разным подсчетам, общее количество жертв составляло от полутора до нескольких тысяч человек.

верного и ловкого роялиста. Одна из моих тетушек без тени сомнения объясняла мне, что мой прапрадед, бывший генералом I Республики, — блестящий пример того, что под революционным мундиром могло биться роялистское сердце.

Вся моя семья обожала мемуары, в особенности мемуары XVIII века, эпохи Революции и Реставрации. Мне из них зачитывали отрывки — порой ради трогательных свидетельств преданности, порой ради возможности повздыхать о счастье жить в ту эпоху. Это свойственное тем, кто пережил Революцию, ощущение утраченного золотого века, было хорошо знакомо моим родителям. Даже найденное на чердаке биде с лихвой доказывало, что гигиена отнюдь не является современным изобретением, как на том настаивают недоброжелатели. Одним из первых исторических высказываний, которые мне довелось узнать, были слова Талейрана о сладости жизни⁸. В тот день мой дед отложил в сторону «Историю герцогов Бургундских» Баранта, чтобы погулять со мной по Кенконс⁹. Он же поведал мне об убийстве герцога де Гиза, дабы я не принимал на веру обвинения, выдвигаемые против Генрихом III республиканской и просто недружественной историей.

Трудно вообразить, до какой степени память моих родителей была населена этим счастливым и благодушным прошлым. Во многом они в нем и жили. Любое обсуждение актуальных политических событий заканчивалось отсылкой к благословенным временам французских королей. Да, они были буланжистами и антидрейфусарами¹⁰, но их общественный консерва-

⁸ «Кто не жил до 1789 года, тот не знает сладости жизни».

⁹ Площадь в Бордо.

¹⁰ Иначе говоря, сторонниками генерала Жоржа Буланже, сумевшего объединить вокруг себя, с одной стороны, часть крайних республиканцев, с другой — бонапартистов и монархистов. На выборах 1889 г. буланжисты одержали убедительную победу, однако вскоре генерал был обвинен в попытке государственного переворота и вынужден покинуть Францию. Последовавший в 1894—1906 гг. процесс над Альфредом Дрейфусом усилил раскол среди различных групп общества. В целом левое политическое крыло поддерживало Дрейфуса, а правое выступало против него.

тизм, в целом свойственный католической буржуазии того времени, имел особый оттенок, будучи окрашен ностальгией по старой доброй Франции.

Это все еще живое в 1925 году роялистское воображение покажется наивным и детским: действительно, его выживание было делом женских рук. Мужчины, по сути, всегда сохраняли верность интересам своего класса, и их политика соответствовала естественному развитию буржуазии на протяжении XIX века. Однако эта не самая фанатичная политика заканчивалась у дверей дома. В доме же властвовали женщины, которые никогда не переставали быть страстными роялистками. Они видели прелесть в трогательных воспоминаниях о минувшем; они собирали анекдоты и по-своему распоряжались теми крупницами истории, которые находили в мемуарах и в устных преданиях. Они выбрасывали из жизни родичей все, что им казалось не соответствовавшим прошлому, и это прошлое заканчивалось 1789 годом, обретая продолжение лишь в биографиях претендентов на престол.

В конечном счете преданность женщин объясняла мужской оппортунизм. Наступление политического радикализма легко разрушило смутно-либеральные, преимущественно электоральные убеждения мужчин, которые (под воздействием факторов, не имеющих ничего общего с нашим предметом) сплотились под белым семейным стягом. Но ведь их, без сомнения, более критический строй ума должен был смягчать присутствовавший в традиции элемент «небывальщины»? Не важно. Для детской любознательности самой действенной была образная часть. И не поручусь, не была ли она наиболее реальной.

Этот мир роялистских легенд известен мне почти с колыбели. Я нахожу его в своих самых ранних детских воспоминаниях. С того момента, когда мне стала доступна идея исторического времени, ее спутницей стала ностальгия по прошлому. Представляю, как моих юных приятелей по коллежу должно было выводить из себя это постоянное желание соотнести наши первые политические споры с ностальгическим минувшим — а споры эти начались очень рано, и особый драматизм им придавал крупный конфликт убеждений: осуж-

дение Ватиканом «Аксьон франсез», эта булла «Unigenitus» моего детства¹¹.

Этот пассивизм не ограничивался сферой идеального, будь то беседа или мечтание, претворяясь в попытки причаститься к живому сознанию золотого века. Любопытно, что мой интерес к тому, что привычно именовалось Историей (в нашем доме «любили Историю»), не находил удовлетворения в легком, красочном — и, по необходимости, фрагментарном — чтении. Я испытывал жгучее недоверие к легкости и фрагментарности. Во время каникул на берегу моря (мне только исполнилось четырнадцать) я прогуливался по пляжу со старым учебником для первого класса, и был страшно горд, когда подруга матери удивилась выбору столь скучного чтения. Я искренно пытался разобраться в этом лишенном малейшего интереса конгломерате дат и фактов. Если оставить в стороне детское тщеславие, то мне мнилось, что для того, чтобы очутиться лицом к лицу с чудесным прошлым, необходимо усилие, преодоление трудностей: одним словом, надо пройти через испытание. Вполне иррациональное ощущение, которому я не мог найти выражения и даже до конца не отдавал себе отчета; тем не менее не думаю, что придумал его задним числом. Оно в целостности и сохранности обретается в одном из уголков моей памяти. В нем объяснение того, почему, наперекор влиянию родителей и учителей (в младших классах религиозных коллежей историю не преподавали), я пренебрегал более легким — и, безусловно, более содержательным — чтением ради «серьезных» учебников. В бесплодных муках я стремился обрести ту самую поэзию минувшего, которая без всякого труда возникала в нашем семейном кругу.

¹¹ «Аксьон Франсез» была осуждена папой Пием XI 29 декабря 1713 г. Булла «Unigenitus» была издана папой Климентом XI в 1713 г. и содержала осуждение ста одного положения труда Паскье Кенеля «Моральные рассуждения» (1693). Публикация этой буллы возобновила раскол среди французского духовенства, будучи воспринята не только как продолжение конфликта между янсенистами и иезуитами, но и как наступление на права галликанской церкви.

По правде говоря, сегодня я спрашиваю себя, не было ли это наивное стремление к испытанию частью религиозного опыта, основанного на все еще классических методах духовного воспитания. Последнее было проникнуто идеей жертвенности. Не столько божественной Жертвы, сколько личной, в виде необходимых самоограничений: жертвы подлежали постоянной фиксации, как температурный график. Смутным, но решительным образом мое детское ощущение прошлого было подобно религиозному чувству. Мне мнилась некая — лишенная конкретности — связь между Господом катехизиса и прошлым моих историй. И тот и другие принадлежали к одному эмоциональному порядку, лишенному сентиментальных излияний, требующему строгой сдержанности. Признаюсь, что это историческое чувство, возникавшее при соприкосновении с учебниками, теперь кажется мне в большей степени религиозным, нежели моя тогдашняя вполне механическая набожность.

Как мне думается, с этого момента мой опыт начал отличаться от общего семейного пассаизма, в точном смысле слова став отношением к Истории. Мои родные — женщины и заражаемые их убеждениями мужчины — были простодушно открыты прошлому. Не важно, что их картина прошлого была обрывочной. Она не могла быть иной, поскольку для них минувшее было строго определенным способом видения, неповторимо окрашенной ностальгией. Они читали помногу, почти всегда исторические повествования, в особенности мемуары, не испытывая ни малейшего желания заполнить пробелы в своем знании, пройти от начала до конца тот или иной временной отрезок. Их чтение подпитывало унаследованные ими представления, которые они считали окончательными. И речи не могло быть о том, чтобы их подправить или обновить.

Любопытно, что они даже не отдавали себе отчета в наличии пробелов. Не столько по недосмотру или лености ума, просто в их глазах никаких лакун не существовало: каких-то подробностей могло недоставать, но это были незначительные мелочи. Они были убеждены, убеждены бесхитростно, как в чем-то само собой разумеющемся, что владеют сутью прошлого, что между ними и прошлым на самом деле нет никакой раз-

ницы: пусть окружающий мир изменился с учреждением Республики, но они остались прежними.

Поразительно brutally испытанное поколениями 1940 года сознание своего времени существовало и для них, но с более чем вековым разрывом. Они пребывали в прошлом так, как мы сегодня пребываем в настоящем, с тем же чувством общей не-принужденности, когда нет нужды знать все подробности, поскольку ты с ними сосуществуешь.

Мне не удалось довольствоваться таким погружением в прошлое, переживаемом как настоящее. Хотя напрямую я не отдавал себе отчета в собственном отступничестве. Даже теперь я не нахожу его в себе в качестве свежего, живого чувства. Оно открывается мне в результате анализа, поскольку им объясняется тайное побуждение, заставлявшее меня погрузиться в чтение учебников. При всей наивности я не мог жить в прошлом с той же непринужденностью, как это делали мои родители.

Личная взыскательность? Не думаю. Несмотря на обволакивавший мое детство кокон семейных традиций, для моего поколения прошлое уже стало слишком далеким. Моя мать и тетки были воспитанницами монастырей — Успения Богородицы и, в особенности, Сердца Иисусова, где наставницы и их подопечные решительно поворачивались спиной к миру. Но все уже было по-другому в парижском иезуитском коллеже, где началось мое обучение: слишком много «республиканцев», слишком много проблем. Мои родители жили в провинции и на Антильских островах, мало затронутых переломом 1789 года. Я жил в Париже — в большом, технократическом городе, где, как ни отгораживайся от современного мира, прошлое присутствует в меньшей степени и семейный быт в значительной мере изолирован. Там, в провинции, на островах, прошлое все еще образовывало субстанциональную и сложносоставную среду. Здесь, в Париже, оно было скорее оазисом посреди чужого, затягивающего мира.

Мне пришлось добиваться того, что было дано моим родителям. Мне предстояло отвоевать этот утраченный рай, и, чтобы обрести благодать, я должен был встать на путь испытаний. Кроме того — и на этом я настаиваю — мое трудное исследование желанного, но далекого прошлого не могло удовлетвориться пускай самыми интересными фрагментами истории,

которых было достаточно для моей семьи. Мемуары, любимое чтение моих родителей, меня одновременно притягивали и отталкивали. Притягивали, потому что в них я обретал очарование Старого порядка, ностальгию, питавшую мою жажду знания. Отталкивали, потому что знание, которое я из них черпал, делало меня более чувствительным к окружавшим его теневым областям, которые выявляли мое незнание того, что выходило за круг этого чтения. И второе чувство, очевидно, взяло верх. Сегодня я об этом сожалею, и если бы мне пришлось заниматься с увлекающимися историей детьми, то я ориентировал бы их на чтение этих живых свидетельств. Я знаю, что в этих фрагментах больше Истории, причем полноценной Истории, чем в самых ученых университетских учебниках. Но тогда у меня не было наставника, потому что никто из окружающих не мог вообразить, что История — это не только пережитое. К тому же я не хотел ничьих советов. И, возможна, обособленность такого развития и представляет некоторый интерес.

Итак, я оставил живое чтение ради школьных учебников — и тех, что предназначались для моей ступени, и в особенности тех, что были рекомендованы для других. Несмотря на сухость изложения, они давали мне чувство удовлетворения, которое до сих пор хранится в моей памяти в первозданном виде. Мне казалось, что кропотливая хронология (или то, что казалось мне тогда кропотливой хронологией) позволяет охватить все время целиком, выстроить факты и даты по принципу причин и следствий, так что История оказывается уже не собранием фрагментов, но неделимым единством.

В этот период моей жизни, когда я был в третьем и во втором классе, мной владело неподдельное желание знать Историю целиком, без каких-либо лакун. Я не представлял себе всей сложности фактов, мне не было известно о существовании общих историй, таких как труд Лависса¹², и моя хронологическая

¹² Скорей всего, имеется в виду восемнадцатитомная «История Франции от истоков до Революции», выходившая в 1900—1912 гг. под редакцией Лависса. — *Здесь и далее библиографические указания носят предположительный характер, поскольку, за несколькими исключениями, Архес не дает ссылок на конкретные издания.*

наука казалась мне пределом возможного. Мне уже не хватало школьных учебников: я разложил их на сводные таблицы. Помню огромную таблицу по Столетней войне, с бесконечными подразделениями: учебник казался мне излишне аналитичекиим, как если бы сцепление событий не могло удержаться при их последовательной презентации, строка за строкой, страница за страницей, и было необходимо стянуть их горизонтально, чтобы они не разбежались, не сбились бы в отдельную шайку. Я сражался с фактами, чтобы заставить их присоединиться к целому.

Однажды мне пришло в голову примирить эту тягу к всеохватности со вкусом к монархическому прошлому, составив генеалогию Капетингов, от Гуго Капета вплоть до Альфонса XIII, пармских Бурбонов и графа Парижского. Полную генеалогию, со всеми боковыми ветвями, включая святых и незаконнорожденных. Это был геркулесов труд, для которого я располагал недостаточным материалом: парой больших исторических словарей из библиотеки моих родителей и возможностью справляться в Большой Энциклопедии, имевшейся у одного аббата. Мне очень хотелось расширить эту документальную базу. Кто-то рассказал мне о «Генеалогии Французского дома» отца Ансельма¹³. Ради нее я в первый раз проник в большую библиотеку — библиотеку св. Женевьевы. Сперва мне долго пришлось убеждать в своей благонадежности библиотекаря. И прийти еще раз с письменным разрешением от родителей. Конечно, мне так и не удалось добраться до отца Ансельма — то ли его невозможно было отыскать в тайниках каталога, то ли он находился в отделе редких книг. Это меня обескуражило, и я продолжил работу собственными силами.

Стены моей комнаты были покрыты расхोдившимися во все стороны бумажными листами. Мне хотелось иметь возможность следовать взглядом за всеми изгибами родственных связей. Чем больше они имели отдаленных и пестрящих именами

¹³ Имеется в виду неоднократно переиздававшаяся на протяжении XVIII—XIX вв. «Генеалогическая и хронологическая история французского королевского дома» Ансельма де Сент-Мари.

ответвлений, тем более я был доволен. С 987 по 1929 год — какой кусок истории вывешен на моей стене, и все это для того, чтобы закончиться королем Иоанном, чье возвращение мы призывали на мотив «Руаяль»!¹⁴

Все тревожения современной политики, пропаганда, расходившиеся по кабинетам листовки и брошюры — все всасывалось моим генеалогическим деревом. Проблемы с франком, черное воскресенье для партии радикалов, о котором говорили за столом, казались мне далекими и незначительными по сравнению с его ветвями, простиравшимися из X века и осевшими Венгрию, Испанию, Португалию и Италию.

Это увлечение генеалогией и сводными таблицами сопровождало меня долгое время, и мне нелегко было от него отделаться.

Уже учась в Сорбонне, я начал вести факультатив по истории для учеников четвертого и третьего классов. К тому времени я отказался от сводного метода для своих записей: не без некоторых сожалений, но переплетение фактов стало слишком сложным и разбивало мои таблицы. Тем не менее мне казалось, что трудно найти более простой и педагогически правильный способ поведать детям о Столетней войне. До сих пор вижу, как покрываю грифельную доску фигурными скобками, которые были призваны графически обозначать последовательность причин и следствий. Цепочки событий не вмещались в тетради растерянных детей, и на задних рядах их матери молча, но совершенно категорически выражали свое неодобрение. В итоге этому разгулу причинно-следственных связей положило предел вмешательство директора. Испытанное тогда чувство стыда навсегда отвратило меня от сводных таблиц. Они и так протянули слишком долго.

Генеалогия, хронология, сводные таблицы свидетельствовали о неловком стремлении объять Историю во всей ее полноте. В наивности этого опыта и состоит его ценность.

¹⁴ В 1929 г. одним из претендентов на французский престол был т. н. Иоанн III — Жан д'Орлеан, герцог де Гиз (1874—1940). «Руаяль» — гимн «Аксьон франсез», отчасти анти-«Марсельеза».

Ребенок, погруженный в расцвеченную образами среду прошлого, стремится синхронизировать свое существование с этим прошлым, которое для него уже не столь доступно, как было для его родителей. Прошлое кажется ему чем-то чужеродным, но бесконечно желанным, отблеском сладости бытия, образом счастья. Это счастье уже позади, поэтому его необходимо обрести заново. Его поиск сразу же приобретает религиозный характер: это паломничество за благодатью. В какой-то момент возникает впечатление, что существование прошлого смешивается с существованием Бога. Обусловленные религиозной практикой жесты остаются поверхностными привычками: не думаю, чтобы в них был Бог. Он пребывал в прошлом, с которым я стремился воссоединиться. И без особенного понуждения я готов признать это причащение прошлому своим самым ранним религиозным опытом.

Поиск прошлого, становясь все более настоятельным, преобразовался в желание охватить его во всей полноте. Его поэтическая составляющая была намеренно отвергнута как соблазн. Она сохранялась в течении обычной жизни, в семейных разговорах, она трепетала в глубине моей души. Но я отказывался признавать, что она тоже принадлежит Истории, поскольку в ней не было полноты. Моим же конечным стремлением было избавить Историю от человеческого содержания, свести ее к упражнению памяти, к наглядной схеме.

Тем не менее исключительный характер этого аскетизма и этого стремления к синтезу позволяет лучше разглядеть суть исторического опыта во всей его наготе.

Наносные слои политики и культуры скрывают его и делают неузнаваемым. Его лишают незаинтересованности и склоняют к политической или религиозной апологетике. Его обмирщают, чтобы превратить в объективную науку.

Но в тот день XX века, когда сгнули все частные истории и человек, без подготовки и без посредников, был грубо брошен в Историю, это детское ощущение прошлого возродилось как последний рубеж сопротивления Истории, как последняя преграда слепому и животному подчинению ей. Или мы считаем, что История — элементарное движение, неумолимое и недружественное. Или же существует таинственное причащение че-

ловека к Истории: прикосновение к чему-то священному, погруженному во время; время, не уничтожаемое собственным ходом, где все эпохи объединены друг с другом. Я спрашиваю себя, не приходит ли современный историк — после того, как он преодолел все искушения иссушающей науки и мирских требований — к почти детскому видению Истории: чередование обремененных бытием веков представляется ему лишенным глубины и длительности, как нечто цельное, что можно охватить одним взглядом. Только смотрит он уже не глазами ребенка, поскольку дитя не может охватить все содержание человеческого бытия. Его ощущение полноты ложно и абстрактно. Тем не менее оно ценно как знак, как некая тенденция, позволяющая предположить, что историческое творчество есть феномен религиозного порядка. Рисуя себе собранные, объединенные времена, Ученый, отбросив объективность, испытывает святую радость: нечто не столь далекое от благодати.

Глава II

История марксистская и история консервативная

Не существует прямого перехода от свежего, непосредственного опыта, опыта ребенка, к более упорядоченному сознанию взрослого. Нам всем приходится пройти через испытание промежуточным состоянием (которое для многих оказывается не промежутком, а остановкой) — через испытание отрочеством. Это отнюдь не продолжение опыта детства: напротив, отрочество кладет ему конец и, нередко, полностью разрушает. Преодолевают отрочество лишь те, кому в зрелости удастся вернуться к прежним маршрутам, которые, будучи раз покинуты, все же сохранились в виде полустертых следов.

Моя первая встреча с Историей состоялась в замкнутом мире детства, где скудость одиночества существовала бок о бок с насыщенными семейными отношениями: потаенные размышления и влияние среды, стремление к исчерпывающим объяснениям и ностальгия по старой Франции. Сегодня я вижу, как этот личный и потому аутентичный образ Истории постепенно деформировался при соприкосновениях с более жесткими, более объективированными представлениями, унаследованными не по месту рождения, а от абстрактной идеологии, для которой История была лишь орудием, которая превратила в инструмент то, что было присутствием, причастием. Я покинул мир желаний и воспоминаний, чтобы вступить в мир весьма популярных между мировыми войнами сочинений: История использовалась в них в философских и апологетических целях, в качестве основы гражданской философии, политики. Этот фе-

номен заслуживает того, чтобы поговорить о нем подробнее: с одной стороны, интерпретация прошлого с позиций Бенвиля, с другой — с позиций марксизма.

Примем за точку отсчета наш личный опыт, то есть опыт правых убеждений: так мы сможем лучше понять противоположный путь.

На полках домашней библиотеке я нахожу потрепанные от долгого употребления тома Жака Бенвиля¹⁵. Я принялся за них, еще не расставшись с детским представлением об Истории. Я читал «Историю двух народов» параллельно с (как мне казалось, исчерпывающими) школьными учебниками и пытался дополнять их друг другом — перед тем как открыть Бенвиля, справлялся с данными, которые учебник и историко-биографический словарь сообщали о первых Гогенцоллернах, о бранденбургских курфюрстах и о Средних веках. Но мною уже двигало и другое побуждение: не столько при помощи прошлого понять настоящее, сколько убедить противников — как моих вполне реальных товарищей, так и воображаемых собеседников — в истинности определенной политики. Отныне История представлялась мне арсеналом аргументов.

Я открываю «Историю Франции» издания 1924 г., настольную книгу моего раннего отрочества. Она испещрена пометами и подчеркиваниями, выделявшими, как мне казалось, важные места. Эти вырванные из контекста пассажи свидетельствуют о характерном настрое ума: «Это был человек, для которого уроки Истории не прошли бесследно, и он не желал брать на себя риск учреждения еще одного феодализма». Я подчеркнул эту сдержанную похвалу образцовому государственному мужу, опиравшемуся на всегда ценный опыт прошлого. Речь, однако, шла о Людовике Толстом. И он интересовал меня не как феодальный властитель, но как отражение классического образа государя, как неизменная модель народного предводителя, воспроизведенная в самом начале капетингской истории.

¹⁵ Жак Бенвиль был близок к Шарлю Моррасу и «Аксьон француз». Ниже Арьес упоминает два его сочинения, «История двух народов: Франция и германская Империя» (1915) и «История Франции» (1924).

Несколькими страницами далее завоевание норманнами Англии сопровождается карандашной пометой: «Германия, Англия: между двумя этими силами нам приходится обороняться, искать собственную независимость и равновесие сил. Таков до сих пор закон нашего национального существования». Меня совершенно не волновало то, что Англия и Германия одиннадцатого века отличались от Англии и Германии двадцатого. Более того, эта мысль казалась мне ересью. Я часто возражал своим оппонентам — поскольку мое чтение было пропитано полемикой и мои размышления шли в режиме спора, — что ход времени меняет и числитель, и знаменатель, не влияя при этом на характер соотношения.

И что существует некое раз и навсегда установленное «золотое сечение», характеризующее хорошее правление, всегда потому узнаваемое. Столетняя война подтверждает эффективность европейского равновесия сил. Напротив, в Генеральных штатах четырнадцатого века¹⁶ я видел зарю вредоносного парламентаризма, который ставил на место королевских магистратов безответственных политиков, а заботу об общем благе превращал в партийную борьбу. Вот еще одна подчеркнутая мной фраза: «Это была попытка создания парламентского правления, и вслед за ней сразу же возникла политика». Мне нравилось это уподобление штатов современному парламентаризму.

Подчеркнуты и строки о механике революций. Они написаны по поводу Коммуны Этьена Марсея: «Четыре столетия спустя эти революционные сцены поразительным образом повторились». Я был заворожен идеей повторений и страстно искал внешнего сходства там, где сегодня вижу самые непреодолимые различия!

«История» Бенвиля позволяла мне изобличать не только пагубность парламентаризма, но и истоки вероломного либе-

¹⁶ В 1302 г. французский король Филипп Красивый впервые созвал Генеральные штаты — собрание представителей всех трех сословий — для того, чтобы консолидировать свою позицию в противостоянии с папским престолом. На всем протяжении существования этого политического института созыв Генеральных штатов имел экстраординарный характер и практиковался в исключительных случаях.

рализма в лице... Мишеля де л'Опиталья. Л'Опиталь был предметом моей особой ненависти, прообразом барона Пие, легендарного персонажа моей ранней юности, либерала, осмеянного Морисом Пюжо. «Л'Опиталь, — подчеркнул я, — думал, что свобода все расставит по своим местам; он обезоружил правительство и вооружил партии».

В книге Бенвиля я дотошно выискивал указания на историческую неизменность, на повторение одной и той же политической казуальности. И находил их без труда: сегодня это для меня источник беспокойства, умаляющего мое прежнее восхищение. Был ли я добросовестным читателем? Конечно, из этой книги можно было извлечь иные, мной незамеченные уроки. Я мог бы отыскать в ней следы другой, менее механистической преемственности, в большей степени свойственной определенному типу общества: преемственности внутриправительственной. Так, Бенвиль считал Мопу предвестником Комитета общественного спасения и Наполеона I, этих великих централизаторов нового времени; а в падении Мопу видел неспособность Старого порядка наделить страну современными институтами. Это свойственное описываемому периоду колебание между двумя типами институтов представало как одна из особенностей Истории. Проницательный и, по сути, мало систематичный гений Бенвиля умножал (особенно по отношению к недавним временам) такие крепко закрепленные за конкретными явлениями наблюдения, имевшие разовую ценность. Но эти наблюдения, сегодня составляющие основной интерес при чтении Бенвиля, не имели за собой общего замысла: чередование провалов и успехов позволяла эмпирической политике избежать опасных последствий, вытекавших из тех или иных причин, открывая в Истории аналогичные циклы казуальности. История — память государственного мужа: и я не могу сказать, цитатна ли эта формулировка.

Именно поэтому моя систематическая, карикатурная подростковая неуклюжесть не исказила самого главного. Я все правильно понял. Эти нюансы, которые добавляла более обширная культура автора и более гибкое изложение, по сути ничего не меняли.

На этой идее — эпохи различаются лишь внешне, люди не меняются, их поступки повторяются, и эти повторения позво-

ляют вывести политические законы — была основана целая историческая школа. Идея эта очень давняя и в высшей степени классическая: нет ничего нового под солнцем, одни и те же причины порождают одни и те же следствия; однако выражена она была уверенно, свежо, талантливо и в удачный момент. Книги Бенвиля, в особенности «История Франции», имели большой издательский успех, сравнимый с популярными романами. Не думаю, что до появления «Людовика XIV» Луи Бертрана¹⁷ и трудов Бенвиля серьезные исторические работы когда-либо расходились с такой скоростью. К Истории обратилась новая публика, отличная от завязтых читателей воспоминаний или больших серийных изданий на манер Тьера или Сореля — либеральных, не университетских историков, поскольку Университет долго сохранял свою особую эрудированную клиентуру.

Конечно, если приглядеться, то «История» Бенвиля отнюдь не явилась громом среди ясного неба, хотя так можно было подумать. Ее успех был подготовлен, в частности, трудами Ленотра, самые ранние из которых увидели свет еще в конце XIX века¹⁸. Книги Ленотра маркируют первое настоящее расширение читательской аудитории исторических исследований. Однако их широкое распространение совпадает с появлением работ Бенвиля. Этот суровый автор, отнюдь не обладавший легким и живописным стилем, стал предметом необычайного увлечения. Благодаря ему начался подъем такого литературного жанра, как вульгаризация истории, достигший своей высшей точки в период между мировыми войнами. Стремительное расширение аудитории от читателей истории до читателей романов способствовало сближению истории и романа в межеумочном жанре романизированной истории: всем памятна мода на коллекции романизированных биографий, любовных походов и пр. Но это — внутренний предел жанра, свидетельствовавший о его привлекательности и заразительности. Типичная серия «солид-

¹⁷ Эта книга Луи Бертрана вышла в свет в 1923 г.

¹⁸ Жорж Ленотр — псевдоним историка и писателя Теодора Госслена — был автором многочисленных книг о Революции, начиная с «Гильотины во времена Террора» (1893) и вплоть до посмертной «Жизни в Париже во время Революции» (1936).

ной» вульгаризированной истории более или менее открывается «Историей Франции» Бенвиля и «Людовиком XIV» Луи Бертрана: это серия «Больших исторических исследований» издательства «Файар». Я прежде всего имею в виду ту ее часть, которая была опубликована до 1939 года. Далее она пошла за предпочтениями читателей, чей вкус сделался более разборчивым за последний десяток лет. До войны это издательство ни за что не опубликовало бы «Галлию» Ф. Ло или «Китай» Р. Груссе¹⁹. Внутреннюю целостность этой серии обеспечивают те же принципы, которые мы видим в исследованиях Бенвиля (и это не самая сильная их сторона): закон исторических повторов; закон казуальности, которым управляются события. Еще один большой успех этой серии, «Революция» Гаксотта²⁰, подтверждает интерес публики именно к такой концепции Истории. Перед нами настоящая историческая школа. Ее не стоило игнорировать или высокомерно-педантически охаивать, как это делала тогда Сорбонна в «Ревю историк». Тем более что тяга к такого рода вульгаризированной истории была слишком сильной, чтобы ученые мужи могли устоять перед соблазном. Многие профессора, ранее производившие лишь высокоэрудированные исследования или многотомные учебники для нужд высшего образования, уступили потоку общественного мнения и смиренно выстроились за спинами Бенвиля и Гаксотта. С неловкостью неофитов они осваивали правила нового жанра. Характерный пример этих слишком старательных ученических попыток — «Карл V» Кальметта²¹, вышедший, естественно, в классической серии «Больших исторических исследований». Член Института Франции, пытающийся соперничать с Огюстом Байи, — картина, конечно, небанальная. Ради справедливости скажем, что он проиграл, но сам факт, что ученый-эрудит, проводивший жизнь в особой средневековой атмосфере, намеренно допускает ана-

¹⁹ «Галлия: этнические, социальные и политические основы французской нации» Фердинанда Ло вышла в свет в 1947 г., а «История Китая» Рене Груссе — в 1942 г.

²⁰ «Французская революция» Пьера Гаксотта была опубликована в 1928 г.

²¹ Вышла в 1945 г.

хронизм под видом риторической фигуры, пытается сплутовать с разницей времен, чтобы понравиться широкой публике, обычным читателям, — факт этот в высшей степени примечателен. Стал бы Кальметт в университетском учебнике уподоблять политические намерения Этьена Марселя «не просто конституционному, но парламентскому [строю]... — безответственность короны, ответственность министров перед собранием, палата народных представителей, собирающаяся на регулярные сессии». Можно подумать, что мы в эпохе г-на Гизо: именно это подсказывает нам анахроническая путаница.

Нельзя сбрасывать со счетов успех вульгаризации истории, вульгаризации направляемой и управляемой. Он свидетельствует об определенном изменении вкусов внутри читающей публики, и эта тенденция является важным социологическим фактом. Чему соответствует возникновение нового жанра? Почему он появляется в период между двумя мировыми войнами? Его появление говорит о том, что ненаучная история перестала быть уделом немногочисленных любителей: магистратов, отставных офицеров, собственников, располагавших досугом, — всех этих наследников просвещенной буржуазии XVIII столетия, — чтобы достичь образованной публики в целом. Все те, у кого была малейшая привычка к чтению, из любопытства взяли в руки хотя бы одну историческую книгу. Отнюдь не случайно, что это расширение аудитории происходит в XX веке. Уже романтизм испытывал влечение к особо красочным периодам прошлого: отсюда готический собор «Гения христианства». Но это в первую очередь было *laudatio temporis acti*²².

Сегодня мы живо ощущаем нечто иное: общий интерес к истории на всем ее протяжении (а не только к некоторым ярким эпохам) и, в особенности, стремление проникнуть в прошлое, даже рискуя его полностью демонтировать, наподобие механического устройства.

В этом увлечении исторической литературой проявляется отчетливая черта, в высшей степени свойственная XX веку: человек более не мыслит себя свободной, автономной личностью,

²² Восхваление былых времен (лат.).

независимой от мира, на который он способен повлиять, но не полностью его детерминировать. Он сознает, что пребывает в Истории, ощущает себя впаянным в цепь времен и не может представить себя вне череды предшествующих эпох. История интересует его как часть самого себя, как продолжение собственного бытия. Он с большей или меньшей степенью определенности ощущает, что не может быть ей чужд. На протяжении своего существования человечество никогда не знало подобного чувства. Всякое поколение или несколько поколений стремилось изгладить из памяти черты предшествующих эпох. Сегодня же все наши размышления, все наши решения с разной мерой осознанности соотносятся с историей. Ничто в наших обычаях не указывает на это с такой предельной четкостью и простотой, как важнейший факт увлечения старинной мебелью, увлечение которое возникло одновременно с широким распространением вульгаризированной истории. В какую еще эпоху, помимо пестрого Рима времен императора Адриана, так повсеместно коллекционировали древности, чтобы жить среди них со всей фамильярностью повседневного существования? И, несмотря на все усилия современных оформителей, новым веяниям никак не удастся изгнать из домашнего интерьера гостиные а-ля Людовик XV или столовые в стиле Директории. Это не преходящая мода, а глубинное изменение вкусов: прошлое приближается к настоящему, находя продолжение в повседневной обстановке.

Это чувство осознания себя в Истории — в том виде, в каком мы угадываем его по спонтанным, ребяческим проявлениям, — в XX веке лишено целостности. Из него проистекает два идейных направления, которые, несмотря на фундаментальные различия, имеют между собой немало общего, хотя этот примечательный факт пока не слишком удостаивается внимания. С одной стороны, это историзм в духе Бенвиля, с другой — исторический материализм Маркса. Такое сопоставление может показаться дурным парадоксом. Тем не менее оба явления свидетельствуют об однотипном сознании Истории и в равной мере являются следствием одинаково механистического понимания Истории.

Над этим двойным феноменом я и предлагаю поразмыслить. Мы уже объяснили, из чего возник бенвилевский исто-

ризм — это была попытка ухватить историческое измерение нашего мира после Первой мировой войны.

Но марксизм? Предложение рассматривать его как принадлежность XX века может сперва удивить. Маркс — достояние XIX столетия. Без сомнения, но если Маркс принадлежит XIX веку, веку Прогресса, то марксизм в его современной интерпретации — явление нашего века, века Истории. В 1880-е годы марксизм эволюционировал в сторону социал-демократии (наименование, которое возникло еще до него). Для его обновления — вернее, для повторного изобретения — понадобились новые элементы, вытолкнутые на поверхность первым общемировым конфликтом. Его новое рождение было обусловлено глубиной и охватом потрясений, которые постигли буржуазное общество, обнажив и оживив ранее робкое и смутное чувство солидарности с Историей, с последовательностью времен и протяженностью пространств. Марксизм откликнулся на этот призыв, но необходимо понять, каково было это эхо.

Следует признать, что в истоке марксизма лежал совершенно аутентичный опыт. Как все подлинные переживания, он был не всеобщим, но свойственным определенному обществу, определенной среде, я бы даже сказал, определенному *рождению*: это было историческое сознание отдельных людей, более не хранившее частную историю живой общины — их собственной; сознание тех, кто более не был частью исторической общности. Слово «община» здесь следует понимать в узком смысле, как минимальное объединение, которое человек может непосредственно представить и почувствовать, как первичную среду, накладывающую отпечаток на все его поведение.

Никакой исторической общины. Отметим, что речь не идет об обездоленных, отверженных, о пролетариате или даже о деклассированных элементах. Напротив, это часто представители высших слоев. Скажем проще: люди, оказавшиеся в непривычной обстановке, без твердой почвы под ногами. Например, те, кто вырос не в самых благополучных семьях, или интеллектуально и нравственно восстал против окружающей среды, или же, в результате мобилизаций, войн, перемещений и социального продвижения, оказался вне традиционного географи-

ческого контекста. Вне собственной локальной истории они почувствовали себя атомами, затерянными в массивном мире современной технократии, где каждый индивидуум смешан со всем человечеством, населяющим нашу планету. Они действительно оказались лицом к лицу с Историей во всей ее конкретике. Они ощутили таинственную, фундаментальную связь, которая соединяет ее существование со сменой поколений, происходящей во времени, и с тесным соседством людей, их братьев и недругов, имеющим место в пространстве. Современный человек начал подозревать, что по ту сторону вторичных явлений XIX века — национализма, войн, технократий, — даже в самом средоточии насилия и раздоров можно вновь обрести, казалось бы, уже уничтоженные условия существования человека. Он догадался, что конфликты, ненависть и войны, возможно, не являются сутью Истории; что *эти антагонизмы, если они существуют достаточное количество времени, становятся источником человеческого дружества*. И это был великий и совершенно реальный опыт. Как мне кажется, его можно найти в произведениях Мальро и Кестлера. Это было истинное причащение к Истории.

Однако это глобальное сознание истории утратило свою чистоту, и именно тут к нему примешался марксизм, который не столько удовлетворил, сколько задушил возникшую было потребность.

Люди без собственной истории чувствовали необходимость преодолеть антагонизмы, столкновение которых определяло внешний событийный ряд классической Истории. Марксизм предложил им истолкование Истории, которое выходило за рамки такого рода конфликтов, видя в них диалектику развития социальных классов и технического прогресса.

Так, подвергшись влиянию этих идей, целые категории людей были отвращены от подлинного поиска разрешения событийных конфликтов — поиска, который, не устраняя конфликтов, сделал бы их частью возникшего из вражды дружества, выросшей из различий солидарности.

Помимо этой потребности к преодолению конфликтов было еще два соблазна, которые подталкивали к марксизму людей, нагими брошенных в Историю: масса и фатализм.

Привычные способы исторических объяснений, ранее казавшиеся достаточными, теперь устарели из-за размаха экономических и социальных процессов и лучшего их понимания (обусловленного большим к ним интересом). В былые времена никто не смотрел далее намерений государственных мужей, их честолюбивых устремлений и личной психологии. Неопределенные категории классической морали легко переносились на национальные или социальные характеристики: честолюбие Наполеона I, эгоизм Англии, жадность Германии и т. д. Ими довольствовались, поскольку, по сути, все это не играло особой роли: История оставалась роскошью, а не необходимостью быть включенным в мир, в котором живешь. Сегодня эти традиционные объяснения не соответствуют масштабу событий и, в особенности, тому, что нам известно об этих событиях.

Марксизм же представлял Историю не как противостояние отдельных личностей, но как движение огромных, плотных и могущественных масс, которые уничтожают друг друга своим весом.

Он говорил на языке, более чем понятном для людей, испытывавших это давление масс, частью которых они вольно или невольно являлись. Это грубое и одновременно эпическое обобщение не могло не соблазнять тех, кто не имел личного, конкретного опыта соприкосновения с разнообразием социальных групп, с переплетением старых и новых сообществ и их взаимным развитием. Идея массы, класса производила впечатление на тех, кто, к примеру, не был знаком с более частным понятием среды.

Это незнание среды, единичных и разнообразных историй, естественно побуждало к принятию идеи детерминизма, неминуемого будущего, наступлению которого можно способствовать, но нельзя ни остановить, ни отклонить.

Гигантские сочленения современной Истории, где личные факторы и индивидуальная психология оказываются раздавлены феноменами общего порядка и нашим знанием о них, побуждают видеть мир какдвигающийся в одном, строго определенном направлении.

Вне защиты частных историй (тем, кто в них живут, хорошо известны их сложность, сила инерции, верность старинным

и далеко не исчезнувшим обычаям, а также неизбежные причуды) трудно понять, как, находясь лицом к лицу с гигантскими монолитами современного мира, избежать преклонения перед Фатумом: необходимо подчиниться ходу Истории. Этот ход направляется диалектическим материализмом, подобно тому как направление вектора определяется геометрией.

Желание выйти за пределы политических конфликтов, давление масс, ощущение целенаправленного движения Истории — таковы более или менее точки соприкосновения марксизма с настоящим и конкретным сознанием тотального характера Истории.

Теперь нам важно увидеть, в какой момент марксизм перестает сливаться с Историей, почему поворачивается к ней спиной. Когда в точности он перестает быть сознанием Истории и превращается в ее физику?

Изучение прошлого побудило Маркса свести Историю к основным законам, которые были как бы ключами к ее механизму, в точности повторяющему одни и те же действия на протяжении всей своей работы. Согласно марксизму, класс угнетаемых уничтожает класс угнетателей и лишает его власти. И этот скачок вызван не стремлением к власти или нравственной зрелостью, но состоянием экономико-технического развития. Буржуазия вытеснила дворянство благодаря тому, что на смену домениальному укладу пришел торговый капитализм. Пролетариат займет место буржуазии, когда индивидуальную собственность сменит общественная.

Таким образом, История сводится к взаимодействию двух факторов, одного постоянного, а другого — переменного. Постоянный фактор — механическая человеческая общность, всегда воспроизводящая одни и те же действия. Переменный — экономическое и техническое состояние мира. Однако и экономико-технические условия оперируют как научно организованные природные силы, отчасти напоминая постоянно меняющееся атмосферное давление. Переменный фактор лежит вне человека.

Иными словами, марксизму удастся изъять из Истории человеческие различия. Переменные факторы концентрируются вне человека. Стоит ли говорить, что это лишь перенос задачи,

а не ее разрешение, и что невозможно объяснить экономико-техническое развитие, не обращаясь к человеку, к его эволюции от *homo faber* до *homo sapiens*?²³ Но в наши цели не входит опровержение исторического материализма; мы лишь пытаемся определить его место на карте различных отношений к Истории.

С этой точки зрения надо признать, что марксизм, будучи производной от подлинного исторического сознания, обернувшись механистической физикой, весьма далекой от Истории: он разрушает инаковость Истории, ощущение различий — различий одновременно религиозных, технических, политических и экономических, которые существуют даже внутри человека как такового, — различий нравов.

Точно так же как мой брат не является мной, хотя мы с ним тесно связаны, так и прошлое, к которому я причастен, не равно моему настоящему. Желая подчеркнуть историчность нашей эпохи, философы утверждают, что настоящее принадлежит прошлому и понимается как таковое. В этом утверждении содержится доля правды, но оно разрушает общий опыт настоящего, необходимый для существования исторической любознательности, — а это вряд ли правильно. Мое прошлое представляется мне таковым только по отношению к моему настоящему. В июле 1940 года у меня было четкое ощущение, что III Республика теперь принадлежит прошлому: выражаясь попросту, она «стала Историей». Истории свойственно быть одновременно другой и близкой, но всегда отличной от настоящего.

А с точки зрения марксистского историка прошлое воспроизводит настоящее, только в других экономических и технических условиях. Он изучает Историю лишь для того, чтобы подчеркнуть ее повторы. Тут весьма показателен один из последних опытов в этом жанре. Стремясь подогнать революцию 1792—1797 годов под классическую марксистскую схему, Даниэль Герен посвятил этому два объемных тома «Классовой борьбы в Первой республике»²⁴. По его мнению, все известные революции развиваются по одному сценарию. Власть захватывает не пролетариат, но буржуазия, поскольку момент револю-

²³ То есть от «человека делающего» к «человеку разумному» (лат.).

²⁴ Вышла в 1946 г.

ции совпадает с необходимым этапом «объективного развития» экономики. По ходу освободительного движения вокруг таких фигур, как Эбер и Шометт, намечается народный подъем, который помогает развитому классу (буржуазии) избавиться от изжившего себя, но все еще цепляющегося за власть дворянства и, одновременно, намного превосходит этот развитый, хотя и непролетарский класс. Однако всякий раз это не удается осуществить до конца, поскольку уровень технического развития не позволяет продвигаться вперед, и поэтому народные массы снова впадают в инертное, безразличное состояние. Так, народные чаяния не были реализованы ни во Флоренции во время восстания чомпи, ни в Париже во время Коммуны, поскольку они шли в обгон экономического развития²⁵. А в 1917 году в России они успешно воплотились в жизнь, возможно, благодаря соответствующему уровню технического развития.

Усилия марксистских историков сфокусированы на том, чтобы подчеркнуть неизменность классового сознания, всегда равного самому себе, и связать успех того или иного класса с «объективным развитием» экономики.

Подтверждать или опровергать эту схему бесполезно. Потратив большое количество сил и руководствуясь исключительно добрыми намерениями, можно попытаться отделить истинную ее часть от ошибочной. Но какова эта истина? и каковы ошибки? Тщетные усилия, поскольку нельзя судить о том, чего нет, опираясь на то, чье существование лишит Историю ее ценности, судить о *законах*, то есть об *усредненных величинах*. Бог мой, конечно, есть уровень обобщения, на котором все происходит именно так. Все зависит от того, на каком уровне мы останавливаемся, берем ли чуть выше или чуть ниже.

Обращаясь к усредненным величинам, мы выходим за пределы конкретной человеческой жизни. Но, возможно, наш интеллектуальный инструментарий не позволяет нам постигать всю сложность необработанных феноменов? Не думаю: таким великим историкам, как Фюстель де Куланж и Марк Блок, это пре-

²⁵ Восстание чесальщиков шерсти (чомпи) произошло во Флоренции в 1378 г. Что касается Парижской Коммуны, то речь, конечно, идет о событиях 1871 г.

красно удавалось. Без сомнения, наши способы изъяснения склоняют нас к использованию усредненных данных. Но использование этих конвенций допустимо лишь при условии, что за среднестатистическими данными будет сохраняться живое своеобразие наблюдений. Марксистская концепция Истории основана на усредненных данных, без учета особенностей момента, если речь не идет об экономическом развитии. Это исключение важно, но не потому, что оно возвращает историческому человеку его уникальность — на самом деле оно выводит переменные факторы за пределы человеческого мира, — а потому, что такое обращение к техническому, дегуманизированному принципу позволило марксизму механизировать Историю. Действительно, обсуждение усредненных величин наиболее уместно применительно к индустриальным или экономическим технологиям. Так рассуждают о товарах, выпускаемых серийным способом, которые легко сгруппировать, классифицировать и посчитать. Тонна стали к еще одной тонне стали. Среднемесячное количество экспортируемого зерна лишено какой-либо двусмысленности. Но от статистического учета вещей марксизм переходит к человеческим структурам, тогда как между продуктом и производителем, работой и рабочим существует та же разница, что между необработанным материалом и жизнью. Напротив, работа в большей степени причастна к индивидуальности рабочего, чем сам он — к внеличностности технологии. Как многие ограниченные и нетерпимые политэкономии, марксизм распространяет на людей экономические категории, тогда как История склонна распространять на экономику бесконечное человеческое разнообразие.

Диалектический материализм — соблазн глобального сознания Истории. Но у человека и Истории есть и другие точки соприкосновения, не столь грубые и непосредственные, когда люди не сталкиваются напрямую с напором масс или с монументальными событиями. До того как вступить в мощную, неумолимую и анонимную Историю, они обладают своим маленьким, особым, им принадлежащим местом. Частные истории служат им укрытием от Истории. Это семейные сообщества, закрытые и неприветливые к внешнему миру, герметичные группы, сосредоточенные на собственном прошлом, поскольку оно

усиливает их своеобразие: иными словами, замкнутые кланы нашей буржуазии и крестьянства, тщательно культивирующие свои отличия, то есть традиции, воспоминания, легенды, которые принадлежат только им. Это не столько вопрос социального положения, сколько устойчивости внутри него и памяти о своем особом прошлом. Здесь мы соприкасаемся с важнейшей для понимания нашей эпохи и ее мнений границей расслоения.

Благодаря кадровым школам и центрам для юношества вишистского правительства у меня была возможность проверить глубину воспоминаний, сохранявшихся в небольших родственных или региональных сообществах. Молодых людей подробно опрашивали о том, что они знают о своих родителях и их предках. Одни, порой самого скромного происхождения, могли проследить свою генеалогию достаточно далеко. Они помнили места обитания родственников на протяжении многих поколений и анекдотические события из жизни их семейной группы. Некоторые углублялись вплоть до XVIII века. Многие начинали рассказ с 1830—1840-х годов. Сыновья земледельцев региона Сены-и-Уазы были прекрасно осведомлены об истории своих семей, не покидавших родных деревень с XVII века, и могли назвать даты на надгробных плитах. Эта память о семейном прошлом в высшей степени развита в общинах высокогорных долин Швейцарии и австрийского Тироля. В семействе канцлера Дольфуса сохранились генеалогии, позволяющие проследить его историю вплоть до XVI века: вот вам тирольское крестьянское семейство.

Другие молодые люди, напротив, не могли ответить на подобные вопросы, то ли действительно ничего не зная о своих ближайших родичах, то ли испытывая полное безразличие к этим воспоминаниям; они не могли понять смысла опроса, как будто он проводился на чужом для них языке.

Удивительно, с какой скоростью распадаются семейные воспоминания. Один принадлежащий к старому роду богатый и именитый житель Бордо однажды заметил у своего нотариуса документы о гражданском состоянии, выписанные на имя Л. Он удивился, поскольку это была фамилия его бабки. Нотариус ответил, что, без сомнения, это должен быть ее однофамилец, поскольку упомянутый Л. — бедный могильщик с городского кладбища.

Живо заинтересованный во всем, что касалось его семейства, почтенный бордосец отправился на кладбище и под каким-то предлогом завел разговор с Л. Он выяснил, что Л. действительно являлся его внучатым племянником, и изыскания в гражданском архиве подтвердили их родственную связь. Однако бедняга-могильщик не сохранил памяти о своем происхождении: за три поколения семейные воспоминания полностью испарились.

Это различие между теми, кто обладает прошлым, и теми, кто им не обладает, имеет существенный характер. Оно не обязательно совпадает с социальными водоразделами: есть старые буржуазные семейства, живущие в благополучии и достатке, где разлад между родственниками, заботы светской жизни, тирания комфорта сделали редкими обращения к семейной истории, притупили интерес к ней у детей, и в итоге она оказалась полностью забыта молодыми поколениями.

И это различие не ново. Оно существовало уже в XVI и в XVII веке, будучи тогда более резким, чем в конце XIX столетия. Многодетные семейства Старого порядка экспортировали человеческий излишек, и вдали от родного очага их отпрыски чаще всего полностью утрачивали память о своем происхождении.

Однако сегодня характер этого феномена изменился, ибо при Старом порядке историческое сознание едва существовало в зачатке, тогда как в нашу эпоху оно выступает в качестве общего знаменателя нашего мировосприятия. Два способа существования в Истории различаются, таким образом, по наличию или отсутствию собственного прошлого.

На одних — марксистов, о которых шла речь, — напропалую наступают массивные и грозные века; другие, напротив, соприкасаются с Историей лишь через собственное прошлое, населенное привычными фигурами и легендами, — прошлое, которое принадлежит только им и неизменно благожелательно.

Это сознание собственной истории — у тех, у кого оно сохранилось, — в наше время обострилось до предела, превратившись в линию обороны против исполинской и анонимной Истории. Случается даже, что не имевшие его от рождения испытывают потребность обустроить для себя вымышленный приют, в котором они могли бы укрыться. Эта тенденция очень

чувствуется в нынешнем культе предков, особенно если они приобретены на блошином рынке.

Тем не менее парадокс в том, что такая «малая история» живых воспоминаний осталась в тени домашних бесед, устных традиций, и никто не пытался включить это особое, отличное для каждой родственной группы сознание в общую коллективную историю. От такого внимания к личному, семейному прошлому остался только вкус к минувшему как таковому, так и не претворившийся и не распространившийся в качестве конкретного, живого причастия к человеческому бытию.

Между непосредственным опытом собственного прошлого, которым обладает каждый, и сухим, абстрактным представлением о мировой истории образовался разрыв. Ибо личной, по-настоящему близкой человеку истории уже недостаточно.

Этот разрыв идет в двух направлениях, в сторону региональной истории и в сторону того, что я обозначил выше как почтенную вульгаризацию, предназначенную для консервативной публики.

Переход к региональной истории вполне понятен: «край» — плотная и ограниченная географическая среда — служит естественным продолжением семейного сообщества и мало от него отличается. Переплетение детских воспоминаний, свойственных связей, генеалогий, семейных документов, устных традиций естественно распространяется от деревни к краю и охватывает всю провинцию. Но пролистайте публикации региональных ученых обществ, и вас поразит сухость изложения, отсутствие понимания документов, порой представляющих немалый интерес, и способности к их истолкованию. Этим провинциальным эрудитам удалось достичь невозможного: истощить самые богатые темы, иссушить самые увлекательные человеческие отношения — между человеком и землей, ремеслом, между людьми, — которые располагаются на нижней ступени Истории, то есть в том месте социальной конструкции, где они не подверглись процедуре усреднения и неизбежного обобщения, характерного для общественного и политического существования более высоких слоев²⁶. В ленном владении, на ферме, в лав-

²⁶ Как говорит Люсьен Февр («Бои за Историю»), История, увиденная снизу, а не сверху (*примеч. авт.*).

ке еще не существует различия между частной и публичной жизнью, между положением человека и общественным институтом.

Часто провинциальные эрудиты оказывались глухи к этому зову жизни. Их исследования сводились либо к не слишком систематическим каталогам, любопытным только наперекор своим авторам, или к живописным описаниям праздников, или же к отрывкам из общей Истории (тем событиям большой Истории, которые имели место в данном регионе). Все это потеряно если не для специалиста, который может подобрать отдельные детали, то для современного человека, стремящегося культивировать собственное понимание Истории.

Члены исторических, археологических, литературных обществ и провинциальных академий по большей части набираются из рядов той самой традиционалистской буржуазии, которая тщательно хранит свою собственную историю, пополняет новыми данными генеалогии, прилежно записывает для наследников свои семейные воспоминания: заполненные аккуратным почерком тетрадки с размытыми от времени черными чернилами обнаруживаются в ящиках секретеров, трогательные в силу исходящего от них аромата личного прошлого, но при этом остающиеся подлинными документами Истории; возможно, единственной Историей, достойной пробуждать и подпитывать чувство профессионального призвания. И эти же живые мемуаристы оборачиваются неинтересными и ограниченными эрудитами.

В больших городах, где стерты следы регионального прошлого и где события из сферы национальной или международной политики кажутся более близкими и значимыми, чувство Прошлого находит воплощение в политической, консервативной истории. Семьи с их особым прошлым, принадлежат они к роялистской или республиканской, авторитарной или либеральной, католической или протестантской традиции, хранят историческое наследие — свою собственную неповторимую историю, — стремясь оградить ее от забвения и контаминации и передать молодому поколению. В условиях современной жизни (по крайней мере в том, что касается влияния больших городов, различных техник отчуждения и единообразия — стандартного жилья, отдыха на море, уик энда) поддержание и пе-

редача этого наследия стали затруднены: появилось ощущение, что в нем больше нет смысла, пользы, ценности.

Нет смысла: семейные встречи сделались редки, дальние родственники превратились в незнакомцев. Нет пользы: на смену семейным связям, завязанным в прошлом, пришли новые деловые отношения. Тем не менее если новые поколения не знают подробностей (даже легендарных) собственного прошлого, они отнюдь не забывают о его существовании и стремятся сохранить свое социальное и политическое чувство. Это стремление выражается не в возврате к традициям отдельных сообществ, но в традиционалистской политической теории, которая опирается на довольно отвлеченную концепцию Истории: назовем ее консервативным историзмом. Именно такую форму принимает современное сознание Истории в кругах городской буржуазии: это своеобразный компромисс.

Ощущение угрозы, нависшей над историческим наследием (неважно, роялистским или якобинским), вызвало охранительную реакцию у тех, кто его испытывает, — реакцию, которую в наше время можно наблюдать и у сторонников левых партий, за исключением марксистов. Она естественно принимает форму ностальгии по старой доброй Франции: мы, правые, в ней открыто признаемся, они же допускают лишь с некоторой неловкостью. Реабилитация роялистского прошлого началась с группы историков, окрещенной Рене Груссе «капетингской школой XX века», вдохновителем которой выступил Бенвиль (более вдохновителем, нежели наставником, поскольку характер его таланта не подразумевал учеников и породил только подражателей, быстро отказавшихся от его сухой и резкой манеры ради более живописного и фальшивого стиля). Но огромный успех такой серии, как «Большие исторические исследования» издательства «Файар», быстро вышел за пределы роялистской аудитории и затронул более широкие слои, тем не менее оставаясь принадлежностью этой публики, сохраняющей свое оказавшееся под угрозой наследие. Мало-помалу неприязненное отношение к дореволюционной Франции сменилось симпатией, которая со временем распространилась даже на последователей левых. В 1946 г. я слышал выступление одного университетского историка, ученика Матьеза и сторонника Жореса, который

в целом не пытался скрыть свои более чем демократические убеждения²⁷. Даже широкополая шляпа у него на голове служила дополнительным штрихом к портрету левака. Выступление проходило в зале старинного особняка. Один из лучших специалистов по Французской революции, он коротко обрисовал ее начало. Поскольку аудитория состояла из непосвященных, он позволил себе импровизировать, настаивая на аристократическом, в духе Вашингтона, характере первой Революции, которую Матъез называл «дворянской революцией». И всячески подчеркивал ее провал: покамест ничего нового. Перемена тона произошла тогда, когда докладчик позволил себе выразить сожаление по поводу этого провала. «В свете той мрачной истории, которую мы только что пережили, — цитирую почти дословно, — трудно не сожалеть о жестоком и кровавом разрыве, прервавшем эволюционное развитие, которое в случае его продолжения привело бы нас приблизительно к тому, к чему пришли Соединенные Штаты». Этот старый якобинец в широкополой шляпе на развалинах Запада вновь обрел ощущение наследия, того передаваемого капитала, который не исчезает без регрессии человечества. Университетский историк безотчетно подпал под влияние ностальгии по прошлому — той самой, которая пребывает у роялистских истоков презируемого им исторического жанра.

Я привожу этот анекдот для того, чтобы еще раз подчеркнуть важность апологетического направления, подталкивающего к реабилитации старой доброй Франции и ностальгии по ней тех, кто стремится сохранить свою особую историю.

Теперь посмотрим (как только что постарались сделать по поводу революционного марксизма), к какому отношению к Истории приводит консервативное направление.

Как и марксизм, оно начинается с конкретного, жизненного опыта, но не перестает от него удаляться: точнее сказать, резко отходит от него, миновав промежуточные фазы. Переход от частной к общей истории отсутствует: его роль могла бы сыграть региональная история, как это произошло в Англии, где видное место занимают региональные биографии и монографии. Мы знаем, как обстояло дело во Франции. Консерва-

²⁷ Речь идет о Жорже Лефевре.

тивная публика больших городов не любит ни региональной истории, ни монографий, и знающие ее вкус издатели остерегаются этого жанра. Буржуа предпочитает событийную политическую историю и, если отвлечься от романтического и живописного аспекта, ищет в ней истолкование механики произошедшего, которая обретается им в «Истории Франции», «Истории двух народов» и «Наполеоне» Бенвиля.

Прежде всего это история политическая. Но могла бы быть экономической и остаться такой же. Составляющие ее данные — уже не единичные, конкретные факты, в них всегда присутствует значительная доля обобщения.

Возьмем один пример. У вас есть два способа исследовать историческое движение: скажем, коммунистическую партию. Можно было бы на основании ее архивов «составить историю» партии, описав сперва объединяющие ее принципы организации, которые обеспечивают ей политическое существование (т. е. институции), и решения, принимаемые этими институциями (т. е. политику). Так пишется институциональная и политическая история. Но можно с помощью свидетельств, которые намного трудней собрать и интерпретировать, попытаться определить, чем коммунист отличается от других активистов в плане восприимчивости, частного и общественного поведения. Так пишется история нравов.

В первом случае предметом Истории является некая архитектура, человеческие элементы, которые утратили свою индивидуальность. Во втором случае историка захватывают именно человеческие особенности. Стоит признать, что найти такую особость нелегко, она быстро утрачивает первоначальную свежесть. То, что в истоке уникально, не удерживается, и сохраняющиеся феномены укореняются в памяти и сознании людей, лишь утрачивая часть первоначальной оригинальности.

Консервативный историзм с полным безразличием отвергает уникальный характер нравов, чтобы заняться общим характером институтов и политики. Индивидуум сохраняется только в качестве образца, великого человека: Александр, Людовик XIV или Наполеон.

Это ограничение в выборе предмета — одно из первых условий жанра, воспринятых такими серьезными историками, как

Бенвиль, или такими посредственными вульгаризаторами, как Огюст Байи. И те и другие приносят в свои труды элемент живописности, анахронически отсылая к современному характеру описываемой эпохи; тем самым реализуется второе условие жанра: между временами нет никакой разницы.

Да и как можно было бы ее сохранить, учитывая уровень обобщения, на котором предпочитают находиться эти историки? Именно тут кроется причина их более или менее сознательного избавления от сюжетов, которые слишком ярко представляют человека определенной эпохи, не сводимый к «человеку вообще».

«Принято смеяться, — рассуждают они, — над классиками Великого века, которые облачали Хлодвига в парик Людовика XIV. Однако столь ли уж они были неправы? Непривычные костюмы, моды, нравы — не более чем внешние различия. Останавливаться на них несолидно, пустая потеря времени. Миссия историка состоит как раз в том, чтобы за этим поверхностным разнообразием увидеть человека как такового, всегда равного самому себе. Именно поэтому у Вольтера китайские мандарины рассуждают как философы. Основные человеческие чувства остаются неизменными: любовь, ненависть, честолюбие... Существование различных сообществ всегда демонстрирует одни и те же закономерности: монархия, тирания, аристократия, демократия, демагогия характеризуют политические режимы от Платона и Аристотеля до Гитлера и Сталина».

Чрезвычайно любопытно, что в наше время предпосылками историописания становятся взгляды, когда-то отвращавшие от Истории малочувствительных к разнице времен авторов. Так было в Средние века, когда эпохи наплывали одна на другую, когда Константин и Карл Великий, Вергилий и Данте казались современниками. И во времена Ренессанса, когда ход веков был нарушен стремлением сравниться с древними и все усилия были направлены на идентификацию современности с Античностью. Достаточно вспомнить причудливую историю галеры, археологическую реконструкцию которой гуманисты пытались осуществить на основе греческих и латинских текстов, проигнорировав технические достижения в сфере мореходства, осуществленные в эпоху Великих географических открытий. Славнейшие полко-

водцы вели тогда осады городов, сверяясь с древними авторами: так, сицилийский король Фердинанд захватил Неаполь, воспользовавшись военной хитростью византийского стратега Веллизария. Сосредоточенность на сходстве собственной эпохи с Античностью притупила у деятелей Ренессанса историческое ощущение разности времен и людей, которое существовало уже в конце средневековья, во времена флорентийских хронистов и Коммина²⁸. Диверсификация закончилась с триумфом классицистического представления о человеке, которое будет главенствовать вплоть до XVIII в. Попечение об Истории — пускай все еще с сильной примесью классического гуманизма — вновь появляется тогда, когда, благодаря путешественникам и исследователям далеких стран, равно как Монтескье и Вико, получает распространение идея человеческого разнообразия. Но пока это — не более чем тенденция, получившая настоящее развитие лишь позднее, в эпоху романтизма. Благородный дикарь и мудрый китайский мандарин — все еще люди на все времена и климаты.

Историки из рядов консервативной буржуазии выдвигали эту классицистическую идею человека в противовес идее прогресса, развития, которая уже тогда считалась левой. Точно так же как у Мишле движение народных масс противопоставлялось роли великих личностей, которую воспевал, скажем, Карлейль, а идея интеллектуального развития противопоставлялась идее идентичности или, порой, циклических повторов.

В основу исторического истолкования мира теперь легла классицистическая идея человека как такового, на несколько веков приостановив развитие исторического сознания. Сейчас как раз тот момент, когда на поприще Истории волей-неволей вступают наследники классических вкусов, питомцы иезуитов и гуманистов. Тяга к прошлому, испытываемая людьми XX века, оказалась столь сильна, что нельзя было не историзировать эту, по сути, глубоко антиисторическую концепцию. Такая историческая перепакровка классического гуманизма ни к чему

²⁸ Судя по этим указаниям, «конец средневековья» представляет для Арьеса период приблизительно с конца XII (время написания первых флорентийских хроник) до начала XVI вв., когда были созданы «Мемуары» Филиппа де Коммина.

не привела, помимо механизации таинственного и разнообразного существования человека.

Тогда История стала набором повторов, обретших статус законов.

Уровень обобщения консервативного историцизма заставляет его, как и марксизм, отталкиваться от среднестатистических данных, идет ли речь о коллективе или о психологии. Любовь и честолюбие, как их описывали моралисты древности от Плутарха или Тита Ливия, с точки зрения истории — не более чем усредненные величины, недостаточные для характеристики вот этой любви или именно такого честолюбия, которые в конкретный отрезок времени проявляются у конкретного персонажа. Точно так же институт и его деятельность, которую мы именуем политикой, — не более чем усреднение тех индивидуальных и коллективных элементов, из которых состоит его инфраструктура. Институт — это орган, позволяющий народу или группе закрепить свое единство и вести продуктивное существование. Однако напрямую он не характеризует ни образ, ни способ бытия. Напротив, это экран, необходимый для ведения дел, но отгораживающий историка от сложности реального существования. В процессе формирования институт неизбежно утрачивает связь с тем состоянием нравов, которое дало толчок к его рождению и позволило ему укрепиться (отсюда разрыв между ними, поскольку чаще всего институт существует дольше, чем нравы). По мере удаления от конкретного и личного истока институт приобретает ту степень отвлеченности, которая сближает его с другими, предшествующими или последующими, институтами. И именно эта отвлеченность питает консервативный историцизм.

В этом среднестатистическом плане главные действующие лица выступают уже не как непохожие друг на друга люди, а как государственные, партийные, революционные функционеры, как служащие того или иного института. Невольно задаешься вопросом, почему эти историки упорно продолжают следовать старой моралистической традиции и к персонажам, определяемым логикой института, применяют психологические категории, предполагавшиеся для частного человека: любовь, ненависть, честолюбие и т. д. Впрочем, из соображений методологической строгости Жак Бенвиль отказался от подобных обращений к ин-

дивидуальной психологии и ограничивался теми мотивами, которые актуальны для усредненного институционального мира.

Эти мотивы более не определяются спецификой конкретного времени и места, которые нельзя заменить никакими другими; феномены теперь подчинены законам, которые обусловлены принципом исторической повторяемости. Таким образом, История позволяет вычлениить из себя некие законы, что является необходимой предпосылкой к возникновению общественной философии и экспериментальной политики. Она превращается в физику, пускай основанную на иных постулатах, нежели исторический материализм, но не менее механистичную. Если одна стремится к революционному катаклизму, достигаемому путем экономико-технического развития, то другая тяготеет к консервации, сводя все факторы различия к усредненному и постоянному прототипу. Однако обеим равно неведомо настоящее попечение об истории, которое присутствовало у их истоков — соответственно, в глобальном/частном сознании прошлого.

Возникает вопрос: как те, у кого был конкретный, личный опыт собственной истории, могли придерживаться столь искаженного и абстрактного представления об Истории с большой буквы?

Без сомнения, у этого перехода от конкретного к общему есть несколько причин.

Прежде всего, внутри такого рода исторических писаний продолжает существовать живой, обиходный элемент, привносимый читателем: ностальгия по минувшему, потребность в общем национальном и политическом прошлом найти оправдание личному, особому прошлому каждой семьи. Тектонический сдвиг революции 1789 г. затруднил переход от частной к общей истории. По сути, в основе консервативного историцизма лежат два независимых друг от друга фактора: идущая от семейных преданий ностальгия и модный, стремящийся к выявлению закономерностей научный позитивизм. Ностальгия позволяет усваивать позитивизм.

Но есть и другая причина, связанная со структурой этих консервативных сообществ, их закрытостью перед лицом мира, который считается враждебным и часто таковым бывает.

Сознание историчности своего существования — ранее ими непосредственно проживаемого — пришло к ним под воздействием современных сил, грозящих уничтожить их своеобразие. Тогда своеобразие перестало быть поводом к открытости и превратилось в повод для сопротивления. Замкнувшись, как в крепости, внутри собственной истории, консервативные сообщества отrekliсь от дружества с Историей. Им не удалось понять, что их уникальные традиции не будут иметь ценности, если их не включить в общую коллективную историю и если их своеобразие не присоединится, в неискаженном виде, к другим почтенным или недавно рожденным традициям и ко всем видам отсутствия традиций, будь то авантюризм или различное историческое изгнаничество. Они отказались встретиться лицом к лицу с тем, что для них чуждо, и принять его.

Эта изоляция под покровом семейных воспоминаний и привычек представляет собой феномен викторианской эпохи, который следует сопоставить с делением различных социальных структур на все более непроницаемые и чуждые друг другу отсеки. Никогда на Западе различные классы не знали так мало друг о друге, как во второй половине XIX века, стремясь замкнуться в мирке собственного квартала, своих родственных связей, не вступая в соприкосновение с соседними мирками. Когда вселенское движение повлекло людей, вне зависимости от их положения в обществе, в адский водоворот войны и революции, эти консервативные сообщества были вынуждены устремить взгляд за собственные пределы, начать интересоваться жизнью народов и государств. Но они изъяли из Истории все новые элементы, чуждые их застывшему уровню представлений о прошлом.

Мировое движение образуется из конфликтов отдельных традиций, одни из которых умирают, другие продолжают существовать, третьи зарождаются. Все они в равной степени привлекательны, поскольку представляют собой поведение людей перед лицом собственной судьбы, в конкретных обстоятельствах и в конкретный момент времени. Равно привлекательны и, в силу тех же причин, сущностно различны, не сводимы к среднестатистическому результату. Консервативные сообщества, хранящие свои традиции и считающие их единственно ценными и даже единственно реальными, отказываются встре-

чатся лицом к лицу с чужими традициями. Историцизм позволяет им путешествовать по прошлому, обращая глухое ухо к зову разнообразия традиций, тревожному призыву к способной сохранять различия солидарности. При обесцвечивании Истории притупляется ее чувствительность. На смену традиции нравов, которую невозможно обобщить, приходит механика объективных сил, управляемых законами. Тогда можно объяснять мир, не выходя за пределы своего мирка. Это удобно и полезно, как рассказы о приключениях, которые читаешь, сидя в домашних тапочках у камелька.

Приходится констатировать, что зов Истории никогда ранее (в силу перечисленных или иных причин) не воспринимался так непосредственно и наивно. В XX веке шум публичных событий — войны, кризиса, революции — ворвался в жизнь обособленных групп. Этот шок не обязательно разрушил их привязанность к собственным традициям. Но пробудившийся было интерес к большим коллективным движениям не был основан на конкретном опыте общественной жизни, которым обладал каждый внутри своего мирка. Столкнувшись лицом к лицу с Историей, левые, как и правые, быстро сконструировали некий абстрактный механизм, чьи законы действия они якобы знали.

Между двумя живыми чувствами — ностальгией по прошлому и пассивным подчинением силам будущего — нет никакой непосредственной связи. Именно поэтому историописание остается либо поверхностным жанром, либо монополией специалистов, в любом случае маргинальным по отношению к современной жизни идей.

Именно поэтому исторические труды до сих пор считаются либо слишком поверхностными, либо чересчур специальными. Они не вызывают яростных столкновений мнений, к ним равнодушны интеллектуальные дебаты, хотя в них обсуждаются те же проблемы, которые обусловлены нашим нынешним положением во времени. Но историки не знают, как реагировать на эту тревогу, которая апеллирует скорее к философам, политикам и социологам.

Глава III

Современный человек вступает в историю

В нынешнее время можно утверждать, что не существует частной жизни, которая отделена от жизни общественной; частной морали, которая безразлична к вопросам совести, поднимаемым политической моралью. По всей Европе, включая Советский Союз, насчитываются десятки миллионов «перемещенных лиц», вырванных из привычных мест обитания и депортированных в трудовые, концентрационные лагеря, в лагеря смерти. «Перемещенные лица» — новое выражение нашего международного воляпюка, «пэ-эл», как говорят англосаксы; десятки миллионов — число, сравнимое с населением Франции. Представьте, какие последствия имело такое переселение десятков тысяч людей: для тех, кто остался на месте, для тех, рядом с кем они были размещены. 1940 год закрыл триумфальную эру, начавшуюся приблизительно в 1850-е годы с распространением железных дорог; это была уникальная для Истории эпоха, когда люди забыли страх голода. Теперь голод вернулся, в других формах, нежели во времена хлебных бунтов, и тем более остро и мучительно, поскольку его сопровождают технический прогресс и ностальгия.

Но самое главное, окончательно завершилась политизация частной жизни, и это факт первостепенной важности.

На протяжении долгого времени частная жизнь существовала вне давления коллектива. Отнюдь не на протяжении всей древности: и в ранние исторические эпохи историки обнаруживают возрастные и половые структуры, которые отодвигают се-

мью на второй план. Но с того момента, когда семья стала простейшей и важнейшей ячейкой общества, частная жизнь проходит на обочине Истории. Отныне большинство сделалось чуждым коллективным мифам: значительная часть масс — в силу неграмотности и отсутствия политической зрелости, как это было практически со всеми рабочими до формирования в конце XIX века профсоюзного движения; прочие — в силу обладания своей особой, защищавшей их историей: историей семьи, родственной группы, социального класса. Какой-нибудь служащий банка мог жить без определенных политических взглядов, не участвуя в общественной жизни, если только угроза войны не приводила к вспышке патриотизма, или же жертв требовала сама война. Но каждый теперь по опыту знает, что ни подчинение самой суровой военной дисциплине, ни даже самые героические боевые подвиги не означают автоматической и полной вовлеченности убеждений и чувств: солдат куда менее пламенен, нежели активист!

Конечно, на протяжении XIX столетия были события — провозвестники такого положения вещей: скажем, дело Дрейфуса, когда политические предпочтения проникли внутрь семейного круга. Я хочу сказать, что там, где в качестве параметров самоопределения выступали темперамент, привязанности, нравственные привычки, теперь возникла принадлежность к тому или иному политическому направлению. Дрейфусары и антидрейфусары. В более близкие времена, в таких семьях, как моя, — «Аксьон франсез» и «Сийон»²⁹. Но эта политизация частной нравственности пока оставалась поверхностной и ограниченной, не выходя за пределы достаточно узких кругов.

После 1940 года выбор встал перед всеми без исключения; надо было выбирать или делать вид, что выбираешь, а с точки зрения нравоописания это одно и то же. Надо было быть за Маршала или за де Голля, за или против коллаборационизма, за партизанское подполье или за Жиро, за Лондон, или за Ви-

²⁹ Об «Аксьон франсез» см. сноску 1 к главе 1. «Сийон» (Le Sillon) — политическое движение, основанное Марком Саннье во второй половине 1890-х гг., целью которого было примирение католических и республиканских идей.

ши, или Алжир³⁰. Потом наступил момент, когда политический выбор заставляло сделать физическое принуждение, куда более мощное, нежели давление общественного мнения. Перед лицом трудовой повинности надо было либо отправляться работать в Германию, либо уходить в подполье, либо прятаться на какой-то привилегированной должности: каждый образ действий более или менее соответствовал трем политическим направлениям.

После Освобождения обвинения, разоблачения и расправы насчитывались сотнями тысяч. Эти цифры говорят о неведомом ранее Истории количестве политических страстей: наша великая Революция кажется карликовой по сравнению этим мощным движением страстей и интересов. Никто не остался безучастным, доходя вплоть до тюремного заключения и казни.

Теперь отношения внутри каждой семьи стали не только частными: в них вторглась политика со своими конфликтами. Конечно, конфликты можно успешно преодолевать, но это требует усилий; перед нами уже не прежний, достаточно отвлеченный либерализм, для которого политика, по сути, не играла особенной роли, поскольку ни к чему не обязывала³¹. Теперь речь не о политике в классическом смысле слова, а о чудовищном вторжении Истории в человека.

В последние годы мы стали свидетелями развития этого феномена во Франции. Но есть страны, где политизация нравов достигла большего размаха и интенсивности.

В недавно вышедшей в Соединенных Штатах небольшой книге автор — Перл Бак — дает слово обосновавшейся в Нью-Йорке немецкой беженке, интервью которой легли в основу

³⁰ После капитуляции Франции в 1940 г. маршал Петен был избран главой нового правительства, чьей резиденцией стал город Виши. В то время как генерал де Голль бежал из оккупированной Франции в Англию, где возглавил силы Сопротивления. Что касается генерала Жиро, то в 1940 г. он был захвачен в плен немецкими войсками, но в 1942 г. ему удалось бежать сперва в Виши, затем в Лондон.

³¹ Во многих семьях XIX в. мужчины были антиклерикалистами, республиканцами, даже социалистами, а женщины оставались практикующими католичками и роялистками (*примеч. авт.*).

текста³². До 1914 года семейство фон Пуштау жило в обстановке семейных раздоров и морального единства: я хочу сказать, что столкновение характеров и темпераментов происходило вне политических традиций. Отцовский либерализм образца 1848 года худо-бедно сосуществовал с «викторианским» консерватизмом матери. Но после поражения и начала инфляции семья раскалывается, и этот раскол соответствует новой расстановке политических сил. Несмотря на прежние расхождения, родители примыкают к нацистам. Одна дочь — наша повествовательница — выходит замуж за теоретика социалистического движения. Другая симпатизирует феодальному консерватизму юнкеров. Среди хлопот повседневной жизни на первое место выходит политическая ангажированность. Из-за нее становится невозможным совместное существование, усиливается враждебность, тогда как прежде семейное единство все-таки сохранялось несмотря на несовместимость темпераментов.

Сегодня есть фашисты и социалисты или социал-демократы, точно так же как есть блондины и брюнеты, толстые и тонкие, тихони и забияки, весельчаки и ипохондрики. Политический характер стал частью нашей конституции.

Как уже было сказано в предшествующей главе, в эпоху 1914 года и в период между войнами, когда впервые стал явственен зов Истории, во Франции на свет появился особый литературный жанр — консервативный историцизм. Теперь же, когда История окончательно вошла в нашу жизнь, это вторжение породило новый жанр — свидетельство. Ненадолго остановимся на нем, поскольку появление свидетельства указывает на нашу вовлеченность в Историю.

Что в точности мы называем «свидетельством»? Пойдем методом исключения.

Свидетельство не является воспоминанием. Можно сказать, что воспоминания — свидетельства своего времени, которые не устанавливают прямых и насущных связей между частной личностью и Историей.

³² «Как это происходит: беседа о немецком народе 1914–1933 с Эрной фон Пуштау» (1947).

Воспоминания — жанр, который воспринимается как старомодный и переживший себя. Один молодой писатель, прочитав своему почтенному и известному собрату несколько страниц, в которых звучали автобиографические нотки, услышал: «Вы слишком молоды, чтобы писать воспоминания». Сегодня мемуары пишут только государственные мужи и постаревшие актеры. Кайо, Пуанкаре, Палеолог — люди другой эпохи. Напротив, Поль Рейно не решается назвать «Воспоминаниями» труд, уже получивший это наименование двадцать лет тому назад.

Мемуары государственных мужей, конечно, существовали и раньше: это речи в свою защиту перед «судилищем Истории», как тогда было принято выражаться. Но как много людей, хотя бы слегка привычных к перу, в старости принималось за воспоминания, мемуары, будь то для потомства или для публики.

Даже сейчас к специализирующимся на этом жанре издателям приходят рукописи, тщательно каллиграфированные по старинной моде: воспоминания, передаваемые из поколения в поколение на протяжении полутора веков, которые наследники вдруг решили попытаться опубликовать.

Порой эти мемуары касаются истории отдельной семьи: они писались в качестве наставления молодому поколению.

Но чаще такого рода тексты рассказывают о разных аспектах политической жизни, увиденных глазами мемуариста, к которым он был причастен как свидетель или как действующее лицо: войнах, революциях, жизни вельмож, двора и т. д. В действительности это записки о путешествии в страну властителей, государственных мужей, в зоны общественной жизни.

Таким образом, мемуары — непосредственные наблюдения за частной или общественной жизнью, но отнюдь не за их взаимными отношениями. Человек былых времен (для уточнения скажем: человек эпохи Старого порядка или XIX столетия) обладал независимыми друг от друга частным и общественным существованием. Сегодняшний человек — нет.

Свидетельство — это отнюдь не рассказ очевидца или участника, рассказ, который претендует на точность, полноту и объективность. Не всякая документальная фиксация, современная событию, есть свидетельство.

Изложение может быть четким, ясным и даже красочным; оно не содержит свидетельства, если не позиционирует себя как показательный, особый случай человеческого существования в определенный момент Истории, и только в этот момент.

Точно так же не содержат в себе свидетельства классический репортаж или традиционный рассказ о путешествиях. Его нельзя отнести к красочным описаниям, призванным доставить удовольствие, как это свойственно удачным репортажам. А традиционная формула литературы о путешествиях предполагает прогулку автора среди непривычных обычаев и экзотических пейзажей. Писатель стремится перенести читателя в чужую страну и одновременно способствовать его просвещению. В этом было нечто и от поэзии, и от этнологии. Но модель «путешествия» оставляла в стороне все то, что мы считаем самым важным: включение в большую Историю — в нашу Историю — не экзотических сообществ, а нашего существования во всем его своеобразии, которое следует назвать и разворачивать на манер романа. «Путешествие» — хладнокровное перечисление конкретных наблюдений. Свидетельство же представляет особенности только одной жизни, не столько наблюдаемые извне, сколько совместно переживаемые в силу симпатии.

Надеюсь, что этот негативный комментарий позволяет почувствовать, что именно мы подразумеваем под «свидетельством». Теперь приведем несколько примеров.

Во франкоязычной литературе мы ими небогаты. Возможно, к родоначальникам жанра стоит причислить «Беспочвенников» Барреса?³³ Нашему гению созвучна традиция классицистического универсализма и литературной прециозности (то есть салонной литературы, предназначенной для светских или досужих людей, находящихся вне тяжелых боев Истории), которая обращена к внутреннему миру и от сложного универсума человеческих отношений уводит к внутренним переживаниям, будь то «Принцесса Клевская» или «Большой Мольн». Буржуазный городской читатель уже давно и упорно требует

³³ Книга вышла в 1897 г.

от литературы не только осознания человеческого положения в Истории³⁴.

Среди продукции, которая сопровождала наши кризисы и войны вплоть до 1939 года, я не вижу ничего сопоставимого с «Вне закона» Эрнста фон Саломона³⁵. Это мастерское произведение, оказавшее большое влияние на поколение, которому в 1940 году было от двадцать пяти до тридцати пяти лет, кажется мне ранним прототипом свидетельства, поскольку оно связано с приходом нацистов к власти, а нацизм вместе с коммунизмом стали первыми яркими проявлениями той политики человека, которой характеризуется наше время. Все помнят сюжет «Вне закона»: это история молодых немцев, отправившихся воевать, но слишком быстро разоруженных поражением 1918 года; ностальгия и отчаяние приводят их в добровольческие отряды, за пределами страны сражающиеся с Советами, а внутри — с коммунистами, и, наконец, к бунту, жестокости и убийству Ратенау. Это трагическое свидетельство предвестника фашизма: в нем нет ни изложения мотивов, ни оправдания, ни аналитического объяснения политической или общественной деятельности. Нет: вот каков я и вот как я живу. Оправдание содержится в моем бытии и моей жизни, поскольку я существую и живу в этой Истории, которая и есть моя драма, в ней я люблю, страдаю, убиваю и умираю.

«Вне закона» переведена с немецкого, и влияние этой книги показывает, сколь притягательно это личное осознание Истории для новых поколений французов. Влиятельная традиция — консервативный историцизм — удерживала их в узде. В строго ортодоксальных кругах «Аксьон франсез»

³⁴ По правде говоря, эта черта нашей Истории — одна из характеристик классицизма, и, несмотря на всю сегодня подчеркиваемую важность периодов абстракционизма, реализма, барокко, романтизма, трудно не признать в классицизме одну из французских констант (*при-меч. авт.*).

³⁵ Этот автобиографический роман Эрнста фон Саломона вышел в свет в 1930 г.; в нем, в частности, рассказывается о его участии в убийстве Вальтера Ратенау, основателя Германской демократической партии, который в то время был министром иностранных дел.

к книге фон Саломона относились с опаской, вполне справедливо ощущая в ней дух фашизма³⁶. Это действовало даже на тех, кто не собирался покорствоваться. В высшей степени трогательный дневник Роберта Бразийака, который он вел в тюрьме, ожидая заранее ему известного приговора, не имеет тональности свидетельства перед лицом Истории. Это драма нежной, ностальгической юности, а не свидетельство французского фашиста. Скорее, это все еще исповедь, интимный дневник.

Напротив, в недавних произведениях Давида Руссе «Концентрационный мир» и «Дни нашей смерти», мы оказываемся лицом к лицу с самым подлинным свидетельством. (Отметим, что, за некоторыми исключениями, свидетель современного мира — почти всегда если не бунтарь, то герой без прошлого, отрезанный от древних культурных традиций и чувствительности западного христианства. Этот разрыв оставляет после себя некоторую долю тревоги и горечи. Тот, кто по-прежнему живет внутри своей особой истории, даже ощущая пульсацию большой Истории, чувствует себя защищенным и сохраняет спокойствие; он не непобедим, но не знает тревоги; страх не заставляет его выкрикивать свое свидетельство как вызов.)

Произведение Давида Руссе — это не репортаж и даже не объективное описание концентрационных лагерей, сколь бы велика ни была его добросовестность. Кто-то может заметить, что картина неполна, в ней, в частности, отсутствует религиозная жизнь хотя бы в виде духовного беспокойства или жертвенности.

Но именно частичный, отрывочный характер и придает этим произведениям черты свидетельства: я не описываю увиденное в качестве наблюдателя, пусть даже внутреннего наблюдателя; из всего увиденного важно то, что моя жизнь в этом мире — даже в своем самом обычном повседневном виде — свидетельствует о некоем участии, о некой манере существования

³⁶ Можно задаться вопросом: почему фашизм не получил большего развития во Франции 1930-х годов? Именно потому, что в националистических кругах, где он уже начал вызревать, его встретило сопротивление «Аксьон франсез», задушившее его в зародыше (*примеч. авт.*).

в Истории. И эта манера существования определяет чувствительность и мораль, которые схематизируются до уровня карикатуры, но тем не менее оказываются действенными в условиях концентрационного мира. Ибо, по сути, концентрационная вселенная является апокалипсическим прообразом завтрашнего мира, и обязанность жить, даже на грани существования, дает мне понимание моей собственной судьбы как человека в сегодняшней Истории. Даже отсутствие и, тем более, полное безразличие к религиозным нуждам, к исходно религиозным переживаниям, которые, безусловно, существовали, указывает на некое ужесточение совести перед лицом этого откровения нового мира. Вся старая мораль, более или менее унаследованная от христианства и основанная на идее личного спасения и мистического приобщения, исчезла перед лицом внутренней логики, которая целиком политизирует чувствительность и нравы. Чтобы выжить и позволить выжить этому миру, необходимо избавиться от старых личностных реакций, таких как жалость, нежность.

Врач в «ревьере»³⁷ занимается не спасением туберкулезного больного: он обеспечивает выживание товарища — не друга, но товарища по партии, по нации, потому что его существование полезно для их общей партии или нации, без которых сам врач не уцелеет среди других партий, других наций или немецких солдат и СС.

Отдаем ли мы себе отчет в том осуждении, которое вызвали бы подобные суждения в другое время? Их даже нельзя было бы изложить на бумаге.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы эта новая мораль воспринималась как бесспорная. Некоторые бывшие узники протестовали и выдвигали обвинения: это потому, что, по сути, они не принадлежали концентрационному миру; они пережили его как заключенные, но не как те старые немецкие политические эки, которые настолько в него вжились, что почти испытывали страх при мысли о возвращении в мир свободных людей. Давид Руссе свидетельствует за этих людей, единственных подлинных концентрационных жителей, и показательно, что рож-

³⁷ Лагерный ревьер (сокр. от нем. *Krankenrevier*) — барак для больных.

денная в заключении мораль уже практически не шокирует свободных людей.

Итак, десятки, сотни, тысячи людей создали в самом сердце Запада свою специфическую социологию. Отделенные от других живущих, заключенные заново начали Историю, без какой-либо точки отсчета.

В произвольных условиях концентрационного лагеря узник должен был расстаться, как с ненужной ветошью, со старыми привычками индивидуального сознания и частной морали: он должен был полностью историзировать свое состояние.

Следовательно, концентрационный мир — царство утопии, но реально пережитой и предстающей как образ Истории.

И Давид Руссе свидетельствует о подлинном, но лишенном рыцарства и чести героизме этих строителей мира, этих образчиков современного, преданного Истории героя.

Свидетельство культивируется в первую очередь в англоязычной литературе, где оно является важным многотиражным жанром. Тому есть целый ряд причин.

Прежде всего надо представить, сколько людей на нашей планете говорят или читают по-английски; помимо англосаксонских групп, насчитывающих более 200 миллионов людей, это весь Дальний Восток. Выбирая английский язык, автор обеспечивает себе самую широкую аудиторию в мире.

Но это также язык стран, служащих убежищем. На протяжении XIX века изгнанники и жертвы политических пертурбаций находили приют в Париже. Сегодня гораздо более мощный поток беженцев минует Париж, где пребывание уже не кажется безопасным, и направляется в Новый Свет. Важнейшие свидетельства, посвященные европейским изменениям, выходили в американских издательствах, порой огромными тиражами. А значит, американская публика проявляет особый интерес к этому литературному жанру: важный признак того, что она открывается Истории. Пришел черед американцу открывать мир, и, по своей непосредственности, он сразу обращается к самому подлинному, что только есть, — не столько к всеохватным геополитическим исследованиям, сколько к живым свидетельствам.

Рассмотрим некоторые из этих свидетельств. Для наших целей несущественно, что среди них имеются — американские — продукты неудобоваримого сотрудничества автора и журналиста. На самом деле журналистские приемы лишь подчеркивают те черты, на которых я хотел бы сосредоточить внимание.

Книга Кравченко «Я выбрал свободу» переведена на французский: это типичный образчик своего жанра³⁸. Кравченко начинает рассказ о своей жизни с раннего детства, когда он жил у отца, революционного рабочего, или деда, богобоязненного и верноподданного унтер-офицера в отставке. Затем отъезд из России в качестве советского чиновника высокого ранга, члена закупочной комиссии, и бегство от агента НКВД, преследовавшего его по американским гостиницам. Вот как «я» стал коммунистом, членом партии, инженером и чиновником советского режима и как от него отдалился вплоть до полного, хотя и тайного разрыва. «Моя» жизнь, даже в самых ничтожных подробностях, свидетельствует о характере жизни в советской России, о повседневных событиях частного и публичного существования.

Как уже было отмечено по поводу книги Перл Бак и Эрны фон Пуштау, в России, подобно фашистской Германии, нет различия между частной и общественной жизнью. Полная политизация частной жизни. Это важное условие ценности и подлинности свидетельства: моя повседневная жизнь, мои приязни и неприязни свидетельствуют об определенной связи человека с местом его существования. Я мог бы на манер традиционных историков описывать функционирование институтов моего сообщества. Но тогда у меня было бы ощущение, что я описываю нечто иное, нежели конкретных персонажей и конкретные происшествия, которые определили мой собственный

³⁸ Статья Арьеса написана до знаменитого процесса 1949 г., проходившего в Париже, когда Виктор Кравченко был обвинен в клевете на Советский Союз. Предшествующее замечание о неудобоваримом сотрудничестве автора и журналиста также относится к «Я выбрал свободу» (1946), в создании которой принимали участие журналист Юджин Лайонс и переводчица Элизабет Хэпгуд.

выбор призвания, друзей, возлюбленных, судьбы. Напротив, я просто расскажу вам об этих персонажах и происшествиях и их связи с моим личным опытом; не для того, чтобы научить вас чему-то, как это делает учебник, но чтобы поставить вас лицом к лицу с бытийной реальностью, чтобы сквозь вас прошел тот поток жизни, который увлекал и до сих пор увлекает меня, чтобы вы приобщились к моей судьбе, ибо это не просто судьба какого-то отдельного человека, замкнувшегося в своей частной жизни. Вы не можете оставаться к ней безразличны. Моя судьба — это способ поведения в Истории, который может и должен стать вашим.

Именно поэтому свидетельство никогда не бывает объективным.

Для Соединенных Штатов книга Кравченко отнюдь не уникальна. Прежде всего на ум приходит прекрасная автобиография Яна Вальтина «Вырваться из ночи»³⁹. Ян Вальтин — моряк из Гамбурга, который, когда ему было четырнадцать, стал свидетелем бунта на немецких кораблях; это человек моря и Коминтерна, чьим важнейшим агентом он был «на морском фронте», то есть в области международного мореходства. У него много раз была возможность отказаться и от мореплавания, и от партийной деятельности. К этому его подталкивала жена, чье происхождение было более буржуазным, а взгляды склонялись к анархизму. Но он не мог представить свою судьбу без бунтов, стачек, товарищества, которые были ему жизненно необходимы. Вместо этого его жене пришлось отказаться от свободы, от независимости, вступить в партию и, без внутреннего убеждения, начать исполнять опасные миссии.

Но наступает момент, когда Ян Вальтин вступает в конфликт с партией; его арестовывает гестапо и, после ужасных пыток, выпускает под обещание, что он будет шпионить за своими прежними товарищами. Он соглашается, но договаривается с перебравшейся в Копенгаген партийной верхушкой о передаче в гестапо ложных сведений, способных сбить с толку

³⁹ Позднее она была переведена на французский Жан-Клодом Анрио под названием «Без родины и без границ» (*примеч. авт.*).

немецкую полицию. Однако гестапо удерживает в качестве заложницы его жену. Ян Вальтин хотел, чтобы товарищи по партии вывезли ее за пределы Германии в безопасное место. Но партия воспротивилась, поскольку это провалило бы миссию Вальтина и привело бы к потере полезного контакта.

Тогда Вальтин взбунтовался и был лишен свободы уже ГПУ: советский торговый корабль должен был доставить его в СССР. Ему удалось, устроив пожар, бежать из заключения и добраться до Америки. Его жена была казнена в Германии, а ребенок пропал.

История Яна Вальтина симметрична истории Эрнста фон Саломона: он тоже вне закона. Его родные, все потомственные моряки, придерживались смутно социалистических убеждений, но это не играло особой роли. Прежде всего они были людьми морской профессии, отцами многодетных семейств, посетителями многочисленных портовых борделей.

Поражение, разрушение традиционных социальных границ привело к уничтожению тех защитных сооружений, которые отделяли от Истории каждую отдельно взятую судьбу. 1918 год застал Эрнста фон Саломона в кадетском училище, а Яна Вальтина — посреди взбунтовавшейся команды. Далее они пошли прямо противоположными путями. Но, безусловно, оба из замкнутых семейных и профессиональных миров вступили в Историю. В отличие от отцов, их жизнь, их интимное существование состояло уже не в том, чтобы производить детей и исполнять профессиональные обязанности, но в том, чтобы воздействовать на Историю. Их судьба неотделима от того импульса, который они сообщали миру.

Теперь их внутренний конфликт более не относится к классической сфере чувств, привычной нам после многих веков существования литературы, литературы укрытых от Истории людей. В их политизированной психологии все драмы становятся историческими. Их душевные движения связаны с государствами, партиями, революциями. Отсюда ценность их свидетельств.

Ян Вальтин свидетельствует о драме этих людей вне закона, быстро пришедших в столкновение с арматурой партии, которая из первоначального объединения бунтарей превратилась

в администрацию, охранительную структуру, ортодоксию. В каком-то смысле он пережил тот же переход от общего сознания Истории к определенной, находящейся вне жизни системе, организации, о котором мы говорили в предшествующей главе. Его голос — голос истинного революционера, прижатого к стене арматурой партии, которая уже перестала быть революционной.

В начале русской революции Александров был еще ребенком. Сын санкт-петербургского адвоката, он потерялся и почти год провел с беспризорниками, лавируя между казаками и красногвардейцами, живя подачками, грабежами, обворовывая убитых солдат.

Позднее ему удалось найти свою семью в Финляндии, но он ей уже не принадлежал. Время, проведенное с беспризорниками, раз и навсегда вырвало его из семейной среды, лишило своего особого места. Добравшись до Финляндии, вернувшись к комфорту и достатку, он испытывает ностальгию по холоду, голоду и своим товарищам и пытается снова вернуться в Россию, увлекая за собой сына садовника своего отца, двадцатилетнего парня, которого ловят на границе и расстреливают солдаты генерала Маннергейма.

Это был бесповоротный разрыв, наложивший отпечаток на всю его жизнь, на все «Путешествие сквозь хаос» — чередование удивительных приключений, опубликованное им в Америке.

Как в случае Эрнста фон Саломона и Яна Вальтина, травматический опыт оборвал связи Александрова с малым сообществом, с его нравами, с его автономией и бросил в широкое коллективное движение.

Вплоть до 1938 года Александров жил в изгнании и вел трудное существование авантюриста, даже не пытаясь укрыться в интимности частной жизни. Он проводит дни бок о бок с товарищами по учебе в лицее Фонтенбло, оставаясь им чужим, и проваливает экзамены. До этого он сбегает из немецкой школы, имея при себе греческий паспорт. Ничто не способно его удержать, за недолгим исключением антифашистской деятельности в Греции, но он не примыкает к коммунизму, извест-

ному ему еще по фашистской Германии и ночам длинных ножей. Порой ради выживания он прибегает к коммунизму, то к фашизму, словно подписываясь на пособие по безработице. Но его сферой остается более смутная и свободная деятельность. Тем не менее он никогда не пытается уйти в аполитичность. Его жизнь проникнута движением Истории. Так, в Барселоне он под бомбами торгует оружием, доверенным ему бежавшим в Париж евреем. Там же он знакомится с американским журналистом, с которым в 1938 году отправляется в Соединенные Штаты: без родины, без партии, тем не менее паразитируя на политике и политической деятельности.

И вот последний типаж, более сложный и более трогательный. До сих пор нашими примерами были либо крайне левые — коммунисты, антифашисты, либо крайне правые, предшественники фашизма, каким был Эрнст фон Саломон, но всегда люди вне закона, сбегавшие во всеобщую Историю от краха своих частных историй.

Оставшиеся внутри частных историй в меньшей степени ощутили трагизм времени, с которым были не столь изначально и тесно связаны. Их драмы не обладают такой же способностью к исторической коммуникабельности, как свидетельства, поскольку это личные драмы, малочувствительные к внешнему воздействию. Однако случается, что необходимость сохранить собственную идентичность вдруг заставляет их противостоять давлению Истории. Тогда им приходится расстаться с традиционным способом существования и, не оглядываясь назад на свое личное прошлое, без сожалений и воспоминаний вступить в Историю, как в чужой, грубый край. Или же они сопротивляются и пытаются спасти свое наследие — весь мир только им принадлежащих представлений, воспоминаний и обычаев, — вписав его в контекст большой Истории: вместо того чтобы историзировать свою особую историю, они детализируют большую Историю, возвращая ей ту свежесть и многообразие, которых не хватает этому монолитному монстру.

Один великолепный пример позволит лучше уловить это важнейшее различие: военный дневник Хью Дормера, опубликованный посмертно в Англии в 1947 году.

Воспитанник школы бенедиктинского монастыря в Эмпельфорте, куда он, уже нося форму, любил приходить со своими солдатами на молитву, Хью Дормер был таким же молодым офицером, каких у нас воспитывал Сен-Сир: будучи прочно укоренен в своем религиозном, семейном и национальном прошлом, он идентифицировал себя с военной традицией, с традицией своего — Второго Ирландского гвардейского — полка. Армия — отнюдь не политическое призвание или возможность играть со смертью и даже не спорт. Это способ существования без уловок, с чувством исполненного долга, согласно старинным привычкам Запада. Армия была для него как бы последним рубежом сопротивления в рушащемся мире — его мире. Об этом кратко говорится в одной из дневниковых записей, сделанных для матери, поскольку он с самого начала знал, что не вернется домой: «Неколебимые идеи и принципы впервые оказываются поставлены под сомнение наукой. Армейские традиции, классовое взаимопонимание и уважение к высшим по рангу, религиозные ценности и даже священный характер семьи осквернены и сделались предметом осмеяния». Армейские традиции: похоже, что в момент всеобщего разрушения Хью Дормер держится именно за них. При этом он нетерпелив, у него есть вкус к приключениям, к полезной деятельности. Когда он возвращается из Дюнкерка, то долгие месяцы подготовки среди «мирных холмов» Англии усиливают его желание действовать. Он вызывается участвовать в миссии особого назначения во Франции. Поневоле возникает вопрос (английский издатель с чисто британской корректностью ничего не сообщает о происхождении его семьи, которая, по-видимому, принадлежит к древнему роду), не было ли чего-то личного в этом тяготении к французским берегам, где когда-то проходили подготовку иезуиты-миссионеры, призванные вернуть утраченную веру. Мне хотелось бы, чтобы французский читатель мог познакомиться с рассказом о двух осуществленных им экспедициях: сперва подрыв завода по производству бензина недалеко от Ле Крезе, затем парашютный десант, проведение операции, бегство от немецких полицейских собак, переход через Пиренеи, странствие по Испании, затем

путь до Лиссабона⁴⁰. Там проявляются его деловые качества, умение владеть собой, но также приветливость, чувство юмора и способность видеть смешную сторону событий.

По возвращении в Англию — он был одним из немногих оставшихся в живых — ему была предложена более обширная миссия. Теперь речь шла не о конкретной операции, как уничтожение завода или стратегического пункта, но о командовании силами французского подполья на западе страны, чтобы подготовить их к планируемой высадке союзников.

Это сражение за Францию, о котором молодой офицер мечтал со времен Дюнкерка: должен ли он участвовать в нем тайно, как партизан, или, как диктуют древние военные обычаи, в британской военной форме, в согласии со славным прошлым, вместе с гвардейцами, боевыми товарищами (он говорит «гвардейцы» точно так же, как наши старые офицеры говорят «стрелки»). Он отказывается стать руководителем подполья, чтобы занять свое место в рядах Ирландского гвардейского полка, в своем батальоне, где он передыхал между экспедициями во Францию. Этот выбор осуществляется не без внутренних колебаний. Как он пишет, это самый «важный перекресток» в его жизни. Но сперва он соглашается.

«Поскольку все эти миссии [во Францию] были сугубо добровольными, мне снова предложили возможность оставить эту [подпольную] деятельность и вернуться в свой батальон, и в третий раз я решил возвратиться туда [во Францию], на сей раз окончательно. Тем не менее всякий раз мое личное предпочтение было на стороне Ирландского гвардейского полка, особенно теперь, когда близок час битвы.

Я помнил, как в апреле прошлого года (после первой парашютной высадки) тосковал по боевым товарищам, по батальону, в который я всегда возвращался как домой».

Он был проникнут важностью своей миссии, этим посланием надежды, которое следовало доставить за «непроницаемую стену, столь же таинственную и далекую, как другая планета». Кроме того, Хью Дормер мог быть чувствителен к зову

⁴⁰ Отрывки из этого дневника были опубликованы в нескольких выпусках «Темуаньяж кретьен» (*примеч. авт.*).

Истории, только если к нему примешивались горячие личные переживания: «В глубине моей души, как романтическая повесть о пленении Ричарда I, была мысль, что в Европе мне может встретиться Майкл Маркс, если он еще жив» [Майкл Маркс был его товарищем по Оксфорду, который пропал без вести после очередного воздушного налета. — Ф. А.]. <...>

Когда я в одиночку очутился среди искателей приключений и одержимых, людей из Иностранного легиона, коммунистов и пр., мне казалось важным показать, что наш класс также не лишен храбрости и необходимой выносливости. Одни участвовали в гражданской войне в Испании, другие были приговорены немцами к смерти в Северной Африке; это была странная компания для гвардейского отряда» [речь идет о тайном переходе через границу между Францией и Испанией. — Ф. А.].

Он знал, что эта война не будет войной красных мундиров королевской гвардии Георга, способом занять солдат, но станет исторической драмой, что это в большей мере крестовый поход, нежели сами крестовые походы. «Мы будем сражаться против сознательных и расчетливых анархистов, которые нападают на нашу национальную цивилизацию и религию».

Итак, его первое побуждение — вернуться во Францию. Однако оно неокончательное.

«Перед тем как в третий раз пересечь Ла-Манш, я решил пересмотреть доводы в пользу подполья и ровно в тот момент, когда оно могло привести меня к подвигам и славе, снова надел мундир Ирландского гвардейского полка».

Почему? Прежде всего, французами должны командовать сами французы. Но самое важное: «Мой долг и в качестве солдата, и в качестве офицера велит мне оставаться с моим народом».

Я убежден, во время битвы, несмотря на всю тяжесть службы и физические ужасы войны, солдат в своем полку ведет более высокое и трудное существование, нежели безответственный искатель приключений. Мне было очевидно, что среди моих бывших товарищей по подполью не все отличались неукоснительной верностью; некоторые уже участвовали в таких же переделках в Южной Америке, в Иностранном легионе, в Испа-

нии [т. е. люди, похожие на Александрова. — Ф. А.]. И по сути это в высшей степени эгоистическое существование, в большей степени провоцирующее ненависть в врагам, нежели любовь к родине. Организация, предполагающая использовать эту ненависть во имя своих политических целей, с нравственной точки зрения встает на опасный путь. Партизанская война часто приводит к появлению профессиональных наемников, которые любят войну и могут существовать лишь в атмосфере насилия, беспорядка и разрушения.

Еще одной причиной, побудившей меня вернуться в полк, стал страх, что от меня потребуют поступков, на которые я не смогу согласиться. Руководить отрядами изголодавшихся и отчаявшихся людей, которые во время высадки должны действовать в тылу врага, когда каждый движим духом мести по отношению к своим политическим противникам и, очевидно, не слушал бы мои команды, было для меня кошмаром, всегда преследовавшим бы меня в будущем. До сих пор я брался за четко сформулированные задания, полностью для меня приемлемые. Но нести ответственность за более обширную миссию, не имеющую определенной цели, — совсем другое дело. Любая личная инициатива могла заставить ее участников принимать экстраординарные решения, в соответствии с коварными принципами тотальной войны и целей, оправдывающих средства».

Этот отважный и хорошо тренированный молодой человек любил опасность и в лесных зарослях и на пиренейских тропах делил существование с революционными головорезами современного мира. Он имел дело с людьми, похожими на Кравченко, Яна Вальтина, Александрова, Эрнста фон Саломона. Он испытал соблазн посвятить свою жизнь той исторической драме, которая разыгрывалась в Испании, Южной Америке, на русском фронте и на западном побережье.

Если бы он в третий раз ответил на зов континента, где вызревали таинственные мировые силы, то окончательно пришел бы к существованию без личного прошлого, управляемому лишь ритмом большой коллективной истории.

Но он устоял. Вернувшись в свой батальон и погибнув в мундире Ирландского гвардейского полка — мундире, символизировавшем строгость правил, древность традиций, военную

дисциплину, а отнюдь не насилие, — он стремился спасти свою особость.

Именно к этому собственному миру, миру предков, он обращается, когда принятое решение заставляет его вспомнить фамильный девиз: «Господня воля — моя воля», который он приводит по-итальянски: «Cio che Dio vuole, io voglio», и это итальянское выражение, наперекор корректности британского издателя, возвращает нас в Англию эпохи Ренессанса, к семейной традиции, к той частной истории, которую Хью Дормер сохраняет во время боевой схватки в классическом виде, под традиционным мундиром.

Меж тем он знал, что условия ведения войны утратили свой прежний рыцарский характер. «Я стою перед лицом неизвестности, — с трезвой уверенностью писал он на берегах Нормандии накануне смерти, — зная и умом и сердцем, что современная бронетанковая война — ад, чистый ад и ничего более; лишенная красоты и благородства и сопровождаемая лишь унижительным страхом».

Судьба сняла оппозицию между его частной историей и Историей с большой буквы. Своим участием в битве, сознательным выбором способа этого участия, отсылающего к традиционным родовым обычаям, он лишил Историю ее массового характера. Он ее деполитизировал, пронизав, с одной стороны, своеобразием своего личного прошлого, своих нравственных установок, а с другой — ощущением сакрального. Когда читаешь его дневник, то за пределами конфликта между устремлением Истории в будущее и инерцией уникальной жизни начинаешь ощущать намек на некую таинственную целостность и единство.

Свидетельство Хью Дормера очень важно, поскольку он свидетельствует о преодолении Истории, происходящем в рамках самой Истории, о способе существования, целиком находящемся в массовом настоящем, но сохраняющем связь с разнообразием прошлого и тем самым спасающем свое бытие от политизации современного мира. Кроме того, оно весьма характерно для того типа дебатов, который приобретают сегодня вопросы совести даже в тех случаях, когда внутренний мир сопротивляется исторической редукции.

Приведенные примеры достаточно конкретизируют, что именно мы понимаем под «свидетельством», и избавляют нас от необходимости повторяться. В заключение скажем, что свидетельство представляет собой индивидуальное существование, тесно связанное с основным потоком Истории, и, *одновременно*, момент Истории, увиденный в его соотношении с конкретным бытием. Сегодня вовлеченность человека в Истории такова, что он лишен самостоятельности и даже не может себе ее представить, но ему свойственно весьма четкое ощущение совпадения или несовпадения своей личной судьбы и развития эпохи.

Именно поэтому свидетельство — отнюдь не объективный рассказ наблюдателя, перебирающего увиденное, и не анализ ученого, но коммуникация, страстная попытка передать другим собственное чувство Истории. Сравним его с откровенностью человека, охваченного страшным горем или великой радостью или терзаемого заботой.

Эта коммуникация с другими предполагает не отвлеченную демонстрацию, но реальную трансляцию моего существования в ваше собственное, его преломление в вашей жизни; и это касается не только моих догматических представлений об обществе, или государстве, или Боге, но самого способа существования и переживания, сформировавшегося внутри данной цивилизации.

Именно поэтому свидетельствование есть сугубо историческое действие. Оно не знает холодной объективности ученого, занимающегося подсчетами и разъяснениями. Оно располагается в точке пересечения индивидуального внутреннего существования, которое не подлежит усреднению и сопротивляется обобщениям, и коллективных движений социума.

Глава IV

Отношение к истории: Средние века

Рожденные в XIX столетии науки были крещены либо учеными (биология, физиология, энтомология), либо традиционными, но утратившими свой первоначальный смысл именами (физика, химия). Лишь два древних наименования сохранили свои значения и в современном словоупотреблении; они обозначают самую конкретную и самую отвлеченную область знания: это История и Математика.

Для Математики такая устойчивость является сама собой разумеющейся. Но как же История? Ее истинное рождение со всеми причитающимися методами и принципами датируется XIX веком, когда она стала чужда «историям» прошлого, теперь расценивающимся как литературные тексты (то есть произведения искусства) или как исходные материалы (то есть документальные источники). Историк ощущал больше родства с биологом, нежели с Мезере! Это был человек нового типа, тем не менее сохранивший прежнее имя со всей его неистребимой двусмысленностью. До сих пор мы называем Историей и современную науку, и почтенный литературный жанр. Почему?

Потому что желание сохранить память об именах и событиях — слишком важная черта нашей западной цивилизации, чтобы это слово вышло из употребления. Возможно, что, не имея параметров для сравнения, мы не до конца отдаем себе отчет в самобытности нашего исторического чувства. Но вспомним гигантский универсум Индии, чья цивилизация вплоть до

английской колонизации развивалась вне Истории. Только с приходом европейцев были сделаны попытки реконструировать «историю» индийцев. Европейец XIX столетия не мог допустить существования внеисторического пространства: везде, где пролегал его путь, он становился творцом Истории. Но я хотел бы подчеркнуть другое: ту хронологическую путаницу, с которой борются современные индологи. В мире этой высокоразвитой культуры особую трудность представляет многовековое отсутствие попечения об истории. Если бы наши западные общества отличались сходным равнодушием, то нынешним историкам пришлось бы иметь дело с теми же проблемами, что ориенталистам; сегодняшняя историческая наука напрямую зависит от огромного запаса документов, накопленного благодаря любознательности наших предков. Нелепой, легковерной, простодушной любознательности... но сам факт ее существования является достаточным условием, тем более что столь высокая ее степень отнюдь не относится к общим чертам рода человеческого. Каков ее исток? Это огромная тема, которую мы здесь можем лишь наскоро очертить.

Как уже было отмечено, существуют народы без истории — не имеющие письма, как весь доисторический период, и уже обладающие письменностью, как древние обитатели долины Инда и Ганга.

Но можно сделать и другое, менее очевидное наблюдение. Внутри вселенных Истории, на нашем Западе рассказчиков и анналистов, многие народы вели если не внеисторическое существование, то, по крайней мере, находились далеко от Истории: таково было положение сельских сообществ вплоть до середины XIX века. Их бытие оставалось фольклорным, то есть основанным на неизменности и повторях: неизменности одних и тех же мифов и легенд, передававшихся из поколения в поколение без (по крайней мере, сознательных) изменений; повторях одних и тех же обрядов годового цикла. Не будем выносить скоропалительных суждений, но допустим, что фольклорные сообщества были преемниками доисторических: они безразличны к событиям, чуждым их мифам; если же такого рода события приходится признать, то их быстро включают в уже имеющуюся легендарную ткань. Эти сообщества отказывают-

ся от Истории, поскольку для них она предстает в виде непредвиденных, неожиданных и более не повторяющихся людей и событий. Таким образом, История противостоит Обычаю. И мир обычаев долгое время продолжал существовать на обочине Истории.

Итак, по мере отделения от вневременных мифов История сформировалась как предмет властителей и писцов в тот момент, когда над управляемыми обычаями сельскими общинами начали возникать государства.

Эти государства выкристаллизовывались вокруг государя — военного предводителя и писца, который все излагал в письменном виде. Существование древнейших империй состоит из экстраординарных, в своем роде уникальных событий: выигранных сражений, побед над врагом, возведенных городов, храмов и дворцов, — всего того, о чем следует сохранить память, поскольку это единовременные происшествия, которые, не возобновляясь, будут вскоре забыты, меж тем как память о них обеспечивает славу государю и империи. Поэтому на вечном камне, или на папирусе, или на табличках следует начертать, что именно Рамзес и именно в такой-то (а не какой-либо другой) год своего царствования пересек такое-то море, разбил такого-то врага и вернулся с такими-то пленниками. И все эти подвиги должны быть вечно памятны и прославляемы.

Иными словами, История по отношению к политическим сообществам — то же, что миф по отношению к сельским общинам: как излагают мифы, так же и рассказывают историю, за счет слова обеспечивая существование вещей. Но если миф воспроизводится, то История всего лишь припоминается. Этим объясняется политическая ангажированность Истории и почему она так долго, на протяжении тысячелетий, оставалась привязанной к политическим материям, различным вариантам военных действий и завоеваний, — начиная от эпохи фараонов и вплоть до XIX века.

Невозможно не удивляться тому, что только с приходом прошлого века История проникла за оболочку внешних событий и начала следовать за человеком, его нравами и институтами повседневного существования.

По ту сторону государства с его «революциями» в старом значении этого слова⁴¹ располагалась плотная структура родственных общин, как сельских, так и городских. По ту сторону Истории государства — череды необычайных, трудно запоминаемых событий — лежал массивный пласт поговорок, сказок, легенд, обрядовых действий. С некоторой степенью упрощения можно сказать, что под Историей располагался фольклор.

Примечательно, что История перестала быть исключительно политической и по-настоящему погрузилась в наши дела и заботы примерно тогда, когда фольклор начинает исчезать под напором новых технологий. История встала на место Сказки, чтобы, по сути, сделаться мифом современного мира.

На самом деле вполне очевидно, что противопоставление Истории и Сказки не является абсолютным, поскольку одни и те же люди живут то в первой, то во второй. Это справедливо по отношению к эпическому средневековью, к которому мы еще вернемся. Это справедливо и по отношению к классической Греции, от которой, помимо прочего, мы унаследовали черты, до сих пор остающиеся характеристиками Истории как литературного жанра: романтные качества и мораль.

Возьмем в качестве примера египетское путешествие Геродота. Это прекрасное свидетельство той самой любознательности западного человека, человека греко-латинской культуры, постоянно активного любопытства путешественника, обращенного одновременно к истории и к географии, чья добыча представляет собой богатейший источник материалов для современных ученых.

Геродот — прежде всего турист, часто торопливый, в равной мере пересказывающий рассказы своих проводников и собственные наблюдения, но он способен на ходу замечать вещи, которые его удивляют, которые составляют разницу между образом жизни тех краев, которые он посещает, и привычек его собственного народа. Он дивится тому, что в Египте мужчины

⁴¹ На языке XVII—XVIII вв. астрономический термин «революция» (период обращения планеты) также обозначал «превратность, резкую перемену фортуны, мирских дел» (Словарь Академии, 1694).

мочатся, присев на корточки, а женщины — стоя. Иначе говоря, он обладает ощущением своеобразия, которое, по сути, и является современным чувством Истории, в отличие от повествовательной политико-литературной манеры классицистической традиции. Но не будем делать поспешных выводов. У Геродота это своеобразие поражает нас потому, что, с одной стороны, редко встречается в древних текстах, а с другой — мы, люди новейшей эпохи, тщательно выслеживаем его как самую желанную добычу. Но оно отнюдь не существенно для произведения в целом. Достаточно того, что оно присутствует, и присутствует постоянно. То здесь, то там проявляется вкус к наблюдениям и к характерным подробностям, облегчая работу современным историкам, которые отнюдь не всегда располагают подобными ресурсами при изучении несредиземноморских цивилизаций, когда письменные тексты либо ничего не дают, либо сводятся к отрывочным урокам по археологии.

Таким образом, здесь необходима оговорка, поскольку затем мы увидим, что древние и, в особенности, классицистические авторы отворачиваются от всего особенного, своеобразного. Они исключают этот элемент из своих повествований, но не могут до конца от него избавиться.

Они его исключают. У Геродота это своеобразие находит пристанище в анекдотических, случайных подробностях, в сфере несущественного. Когда же речь заходит о сути человеческого бытия, то исторический интерес к его особенностям сразу исчезает. Напротив, писатель стремится смягчить различия, эллинизировать Египет. Он не допускает возможности существования двух фундаментально разных типов человеческого развития. Он прекрасно замечает диковинки, но не видит важнейших цивилизационных различий как в пространстве, так и во времени. Нильская религия утрачивает свое своеобразие и облекается в греческие одежды. Изис и Осирис приравнены к Деметре и Дионису. Предполагается, что жрецы в Мемфисе подолгу рассуждают о похищении Елены. Тысячелетия египетской истории решительно сведены вместе: нет никакой разницы между Хеопсом и Хефреном, между фараонами Древнего царства и Амазисом, правившим в VI в. до н. э. История вступает на классицистический путь универсальности и неизменности чело-

веческих типов, она становится развлечением и поучением. Геродот все еще очень близок к Сказке. Он находится на грани Истории и письменной Сказки, поскольку устная Сказка продолжит циркулировать вплоть до XIX века. Но было бы ошибкой полагать, что он лишен способности к критическому суждению. Он часто отдает себе отчет в том, что рассказывает вздор — «мне это кажется невероятным», — но продолжает делать то же самое, поскольку рассказы его забавляют. К примеру, сказка о крылатых змеях — столь же греческая, что и египетская, но речь идет о чудесном, и этого вполне достаточно. История превращается живописное собрание примечательных, лишенных местного колорита, но развлекательных анекдотов.

Не только примечательных анекдотов, но и нравственных уроков. Среди различных хронологических периодов Геродот отмечает лишь разницу между благополучием, служащим наградой добрым, и нищетой, становящейся уделом злых. История превращается в собрание моральных рассказов и более не предстает как постоянное движение существования. Из безвестности, из небытия всплывают исключительные факты и герои, без каких-либо указаний на время и место. Это вырванные из времени образцовые случаи. Они имеют отношение лишь к Человеку, поскольку иллюстрируют неизменность человеческой природы: гордость в несчастье, излишество в успехе, губительное воздействие страстей и пр. В таком случае История приближается к большим литературным жанрам классицистического периода. Или же эти факты и герои становятся предлогом для еще более плоского морализаторства, и, как это часто происходит у Геродота, История соскальзывает в вымысел, и мы возвращаемся в сферу романа.

Если История и устояла перед двойным соблазном морализма и романного интереса, то благодаря тому, что, несмотря на стремление к универсальному гуманизму, в ней сохранялся вкус к наблюдениям над прошлым и настоящим, более привычный для классического Средиземноморья, нежели для цивилизаций Индии.

Св. Августин, как и св. Иероним, был одним из наиболее почитаемых наставников Средневековья, к которому безусловно прислушивались с XI по XIV век, в основном благодаря его

труду «О граде Божьем»: в европейских библиотеках находится более 500 рукописных списков этого текста, который также попал в число первопечатных изданий. Нет сомнения, что это сочинение во многом сформировало средневековую мысль и восприимчивость. Кроме того, речь идет о первой продуманной и изложенной на письме *философии Истории*. Это имеет огромное значение: Средневековье открывается попыткой истолковать развитие человечества в целом и навсегда останется отмеченным этим историческим видением мира, неведомым античному полису.

Но если «О граде Божьем», безусловно, представляет одну из основных вех в истории Истории и в истории философии Истории, следует ли видеть в этой книге предвестницу открытого противостояния средневекового христианства и римского язычества?

Поверхностное наблюдение легко приводит к выводу о том, что христианство сразу же располагается в Истории, тогда как Античность целиком и полностью находится вне ее. Греческая историческая литература присваивает себе приемы поэтического преувеличения, политических доказательств, морального наставления. Ей неведомо чувство Длительности: яркий тому пример — безразличие Геродота к огромной египетской хронологии. Напротив, св. Августин охватывает все развитие рода человеческого, чтобы истолковать его при помощи нескольких общих соображений о воздействии на мир Провидения. От св. Августина до Боссюэ — расстояние не столь велико⁴².

И тем не менее историческое чувство св. Августина, сколько бы оно ни казалось новым и революционным по отношению к античной мысли, все еще погружено в римскую традицию.

Нет ничего случайного в том, что первый опыт создания философии истории увидел свет в начале V века, в латинском мире, который только что был потрясен новым разграблением Рима Аларихом. Неизвестно, не пробудилось ли в этот момент в традиционном язычестве (или, по крайней мере, в язычестве

⁴² Подразумевается: от «О граде Божьем» (427) св. Августина до «Речи о всеобщей истории» (1680) Боссюэ, в которой также представлена провиденциальная модель истории.

римского толка) чувство (в уже августиновском его понимании) Истории.

«О граде Божьем» представляет для нас огромный интерес, поскольку позволяет сравнить две истории, одну обращенную в прошлое (римский миф), другую — в будущее (Божественное откровение миру). Конечно, эти Истории отличаются друг от друга. Но они противоположны в меньшей степени, чем стремился доказать св. Августин, поскольку обе являются Историей.

Хотя «О граде Божьем» — первая в ряду провиденциальных философий Истории, это также одно из последних размышлений о сроках существования Рима и его империи.

Мы знаем, не в последнюю очередь благодаря небольшому труду Жана Юбо «Великие мифы Рима»⁴³, что Рим всегда был одержим идеей предела собственного существования, причем подобная одержимость и тревога были неизвестны греческим полисам. Согласно Юбо, центральным мифом были именно жизненные сроки Рима, из которых происходили все прочие. В своей книге он рассматривает различные ответы, которые римляне — от Энния и первых анналистов вплоть до св. Августина — давали на грозный вопрос: сколько времени, точнее, сколько лет отвели боги Риму? И какой сейчас момент этого точно отмеренного срока? В зависимости от эпохи, ответы варьировались от краткого летоисчисления, где счет шел на год годов, к среднему, где счет шел на год веков, и к долгому, который, в случае Цицерона, оперировал астрономическим годом. Однако даже наиболее оптимистические интерпретации — скажем, принадлежавшие придворным поэтам Августа, — не могли полностью снять угрозу конца Рима: не метафизического упадка (который, согласно греческим моралистам, циклически сменял периоды благоденствия), а конца, который можно было определить путем хронологических подсчетов, предреченный предел римской истории. Любопытно, что тот же Август, который устами Сивиллы обещал потомкам Энея *imperium sine fine*⁴⁴, велел конфисковать две тысячи экземпляров своего рода подпольных сочинений (скорее всего, иудейского происхожде-

⁴³ Hubeaux J. Les grands mythes de Rome. Paris: PUF, 1945.

⁴⁴ Бесконечную империю (*лат.*). См.: «Энеида» (I, 278; VI, 781).

ния), спекулировавших на тему конца Рима. Три века спустя, во времена св. Августина, военачальник, оборонявший Рим от Алариха, повторил этот жест — с той разницей, что теперь речь шла уже не о подпольной литературе: Стилихон повелел предать огню официальные Сивиллины книги, со времен Республики благоговейно хранившиеся на Капитолии: он опасался, что в тот момент, когда город достигнет критического возраста в 1200 лет, то есть первого векового года, из них извлекут предсказания о конце Рима.

Разграбление Рима Аларихом еще более усилило эти тревожные миллениаристские ожидания. Св. Августин взялся за «О граде Божьем», чтобы отвести от христианства подозрение, что именно оно является орудием падения Рима, и опровергнуть идею, что конец Рима станет концом мира и, соответственно, Церкви Христовой. К тому же христиане пытались применить к себе привычные для римской истории подсчеты, начиная с чудесного явления Ромулу двенадцати коршунов, возвещавших продолжительность предназначенного Риму года. Но какого именно года? Св. Августин изобличает существовавшее в языческом окружении Юлиана Отступника поверие, согласно которому св. Петр использовал некие магические практики, чтобы обеспечить поклонение имени Христову на протяжении 367 лет, после чего этот культ быстро исчезнет! Христианство продлится год годов, критический срок, которого Рим в первый раз достиг с Камиллом, вторым Ромулом, и во второй раз с Августом, третьим Ромулом, отсюда Секулярные (Столетние) игры, прославлявшие чудесное обновление (*renovatio*) возраста Рима. Любопытно, что Церкви предоставлялся тот же срок, который по краткому летоисчислению предназначался Риму. Это причудливое мнение обладало определенным весом. Св. Августину пришлось потрудиться, доказывая, что 365 лет уже прошли, а Церковь продолжает существовать и даже умножать свои ряды за счет колеблющихся, которых, по его словам, «удерживал страх узреть свершение этого мнимого предсказания и которые приняли христианскую веру, когда увидели, что число 365 уже пройдено».

Важное значение, которое придается этим хронологическим спекуляциям, и их устойчивость более чем показательны. Они свидетельствуют о существовании живого сознания римской

истории, имевшей свое начало, продолжение и, впоследствии, свой конец, который необходимо предвидеть, поскольку это в высшей степени важно для всего мира. *О конце Рима надо говорить так же, как потом заговорят о конце света. И невозможно таким же образом обсуждать конец Афин, или Спарты, или Коринфа, тем более Греции.* Это замечание кажется мне существенным для наших размышлений об отношении к времени. Поскольку членение современного (исторического) мира и мира античного, чуждого Истории, пролегает не между Римом и Средними веками, а между Римом и Грецией, даже Грецией эпохи эллинизма. «О граде Божьем» Августина — сочинение и вдохновляемого Библией христианина, и римлянина, привыкшего существовать в непрерывном времени, над которым нависает угроза конечной катастрофы.

Конечно, такой анализ требует углубления, для которого, однако, здесь нет места. Ограничимся тем, что добавим к этому сравнению конца Рима и конца света противопоставление религиозной чувствительности западного и восточного христианства. Всего пара кратких замечаний.

Прежде всего, Запад имеет тенденцию аннексировать античный Рим в пользу христианской традиции: предсказания Сивиллы, роль Вергилия в «Божественной комедии». Напротив, в Константинополе, несмотря на высокую гуманистическую культуру духовенства, греческие мифы не смешивались с православием. Более того, последнее под влиянием монашества постепенно усвоило аскетический ригоризм, усиливающий противопоставление Бога и мира. Православие в большей степени удалено от предшествовавших ему греческих или восточных мифов, нежели католицизм от античных пережитков.

Второе замечание. Ошибочно говорить о неподвижности православия, чье существование на самом деле сложно и разнообразно. Однако за неловкой формулировкой о «неподвижности» смутно ощущается и подразумевается то, что для православия понятие Истории не обладает такой же субстанциональностью, как для католицизма. Православие проживает свою эмпирическую историю, не имеющую для него особой ценности. Напротив, История — фундаментальный элемент духовного существования римско-католической церкви. Среди

огромного корпуса патристической литературы есть множество греческих трактатов по Истории, однако первая философия Истории принадлежит латинянину, св. Августину.

Так, несмотря на сходство веры и догматики, католицизм и православие пошли разными путями, прежде всего разделенные чувством историзма, концепцией Церкви, продолжающей в Истории дело Христово.

Как тут устоять перед искушением перенести это различие в ощущении времени за пределы христианства, вплоть до противостояния перед лицом Истории Рима и эллинизма?

Как справедливо считается, классическая Античность не испытывала экзистенциальных терзаний Истории. Она не знала непрерывного исторического существования, от истоков и вплоть до настоящего дня. Внутри длительности она различала привилегированные области, знание которых было полезно: священные мифы о первых временах или эпизоды, дающие повод для моральных размышлений или для политических споров о наилучшем способе правления. За пределами этих привилегированных, разрозненных областей все оставалось покрыто неким абстрактным мраком, как будто в промежутках между ними ничего не происходило или случались лишь незначительные события. Классическая Античность — за исключением Рима в той ограниченной мере, в какой он избежал влияния эллинизма, — не испытывала необходимости в ощущении непрерывности, связывающем человека в настоящем с чередой эпох, идущих от начала времен.

Идея тесной взаимосвязи человека и Истории: таков, в сущности, вклад христианства. При желании мы всегда можем среди запаса античной премудрости найти христианские истины, существовавшие до прихода христианства. Но там нет идеи исторического развития сакрального во времени, начиная с истоков (прежде пребывавших в состоянии разрозненных, вневременных мифов) и вплоть до рождения Христа в определенный день правления цезаря Августа, когда Ирод был тетрархом Галилеи. В прожекторах Истории жизнь Христа стала центральным эпизодом христианского чуда: Искупления, появления обновленного человечества, среди которого Церковь хра-

нит присутствие Духа Святого. Каждый миг существования христианина связан с этой грандиозной историей.

В этом смысле показательны попытки современных сторонников исторической критики выявить под поверхностью первоначального христианства следы более древних мифов: всякий раз им приходится лишать христианские символы их исторического характера. Не исключено, что и христианство порождает мифы, но это историзированные мифы.

Еще в большей степени историзация сказывается в эпоху Средневековья, в латинском христианстве. В дальнейшем ее несколько затемняют догматизм и морализм. Эволюция в сторону догматизма проходит два решающих этапа: первый — появление в XIII веке томизма; второй, гораздо более важный, связан с Тридентским собором⁴⁵. Даже сегодня проповеди посредственных проповедников, с их устаревшими темами, зачастую являют нам образ буржуазного благочестия конца XIX столетия: догматика, нравственность, практики. Аббаты-демократы сдабривают их еще и весьма смелым социальным анализом! Но почти никогда речь не идет о конкретной истории. История взяла дьявольский реванш, отправив христианскую демократию в погоню за утраченным — на сей раз бесповоротно — временем! Христианская демократия думает обнаружить Историю под ложной маской Прогресса. Но в Средние века катехистическая теология еще не затемнила взгляд верующих на историческую перспективу, на деяния Господа и Его Церкви на всем протяжении времени. Тенденция к символическим истолкованиям вела, скорее, к дублированию истории естественных событий историей подразумеваемых мистических знаков.

Эта историко-теологическая перспектива по-прежнему существует, но, поскольку она позабита верующими, ее следует реконструировать, прибегнув к помощи археологов, чтобы расшифровать каменные изображения и витражи наших храмов XII—XIV веков. Там мы с волнением обнаруживаем чудесную историю Мира, в которую были тогда погружены христиане. Иконографический катехизис связывал их настоящее существо-

⁴⁵ Проходил в 1545–1563 гг.

вание с цепью времен; непрерывная череда шла от последнего епископа, от святого, чьи мощи почитались в этом месте, вплоть до первого человека, проходя через представленные на стенах и витражах деяния Церкви и оба Завета. Ибо — таков урок готической иконографии — священная История не заканчивалась ни на Пятидесятнице, ни на первых апостолах; эта История, бесперебойно продолжавшаяся от сотворения мира, сменялась неизменно открытой Историей Церкви. Епископы, апостолы, патриархи — эта связь постоянно подкрепляется такими иконографическими параллелями, как Христос и ветхий Адам, Церковь и Синагога... На витражах хора и апсиды Реймского собора апостолы несут на своих плечах патриархов, тогда как ниже и сбоку за ними следуют епископы со своими церквями, короли с мечами и коронами. Стены храмов позволяют нам почувствовать природу средневекового благочестия в большей степени, нежели ученая теология или даже популярная литература, обращенная к слишком локальным практикам. И это благочестие прежде всего являет собой благоговейное почитание Истории. К фольклорной сфере чудесного, к сезонным мифам земледельческого язычества христианская набожность добавляет чувство священного в Истории: *in illo tempore*⁴⁶.

И вся средневековая жизнь, разве не была она основана на историческом прецеденте, на памяти о прошлом? Ценилось лишь то, что уже было; отклонение от старинного обычая считалось опасным новшеством. Ни одно человеческое общество никогда до такой меры не связывало свое нынешнее состояние с собственным представлением о Прошлом. И тем не менее этот обращенный вспять мир не знал литературной Истории на манер Фукидида или Тацита, как это было с эллинизмом, чья повседневная жизнь не имела достаточно глубоких исторических корней. Здесь мы, конечно, снова возвращаемся к двусмысленности слова «История», которое одновременно обозначает и позитивное знание, и экзистенциальное ощущение Прошлого.

Позитивное знание: таков случай античных историков-моралистов и научной истории конца XIX и XX века. Подобные исторические реконструкции могут быть настолько точными,

⁴⁶ «Во время оно» (лат.).

насколько им это позволяет их технический инструментарий, но им недостает «духа времени».

Экзистенциальное ощущение прошлого: таков случай Средних веков, придававших сущностное значение воспоминанию — впрочем, тотчас же искажаемому. Сюда же относится повседневное, естественное существование небольших простейших сообществ, когда удастся застать их до того, как они войдут в более сложные и абстрактные структуры. Эти сообщества сами обозначают свое место во Времени, но во Времени, немедленно подвергаемом искажению. Порой мы на собственном опыте сталкиваемся с этим чувством в наших семьях, в их сознании собственной истории. Конечно, существует семейная генеалогия, которая связана с областью позитивного знания. Но это почти научный документ, который появляется лишь в те достаточно редкие моменты, когда к нему обращаются. Рядом с генеалогией существует традиция, устно, по крупицам передаваемая от старых к малым, от старших к младшим, урывками, по воле случая, по ассоциации мыслей, пробудившихся воспоминаний. Это собрание анекдотов, портретов, рассказов, приблизительно датируемых тем или иным поколением или привязкой к крупному историческому событию, скажем к Революции или к 1870 году. Тем не менее это отнюдь не бесформенная груда: хотя их невозможно собрать в нечто целое, между ними существует глубокое единство, обеспечиваемое проживаемым настоящим. Ибо такая семейная История не отличается от семейного существования. Никто не думает о ней как об Истории в том смысле, который вкладывается в выражение «История Франции». Именно поэтому так редко бывает, чтобы кто-то брался за ее создание. Тем не менее она является органической частью жизни семьи. Не существует семейной жизни без ежесекундного соскальзывания в воспоминания.

Однако это благоговейное отношение к минувшему никогда не имеет характера объективной реконструкции. Сколько бы ни было близким прошлое, память о нем всегда окрашена легендой, и известные своей правдивостью превосходные особы первыми начинают предлагать, не отдавая себе в том отчета, мелкие исторические подтасовки, приводящие факты в соответствие с духом легенды. Но именно так поступали и почтен-

ные фальсификаторы, авторы Константинова дара или псевдо-декреталий!⁴⁷

Действительно, каждое семейство спонтанно конструирует собственную Историю, чему мы можем быть свидетелями и сегодня, тем самым являя собой модель коллективной памяти, близкой к средневековому пониманию Времени: для нее так же характерны эмоциональность, неточность и иллюзия.

Безусловно, отсылки к легендарному прошлому всегда присутствовали в регулярных семьях. Но это были скорее апелляции к мифическому происхождению, а не к непрерывной традиции; к давно минувшему, а не к тому, что произошло вчера или позавчера. Необходимо признать, что Средние века принесли с собой новый способ переживания Времени, который затем перекочевал в более сложные общественные структуры, но при этом остался одним из условий семейного существования. Традиция, обычай, привычка... выражения неточные и двусмысленные в силу тех юридических и догматических значений, которые позже были к ним добавлены, и, тем не менее, они имеют особый обертон, неизвестный до средневековой эпохи.

Сделаем здесь короткую паузу и посмотрим, во что в Средние века превратилась История, на сей раз в узком смысле этого слова. Точнее, задумаемся о том, как стал возможен замысел, из которого потом вышла История Франции. Это означает исследовать истоки традиционного разделения на царствования, остававшегося классическим вплоть до конца XIX века. Современная наука приложила немало усилий для того, чтобы искоренить эту систему, прорастающую как сорняк и столь привычную, что она по-прежнему сохраняется в названиях художественных стилей. Разграничение хронологических периодов играет чрезвычайно важную для истории роль, не только с точки зрения методологии, но и ее общего духа, философии. Вольно или невольно, но именно так выражается отношение ко

⁴⁷ Константинов дар — подделка VIII в., разоблаченная Лоренцо Валлой в 1440 г.; псевдодекреталии или ложные декреталии — фальсификация IX в., ложно приписываемая Исидору Севильскому, изобличена Давидом Блонделем в 1628 г.

времени. Новые, более широкие и общие, рамки современной историографии свидетельствуют об определенном видении мира, равно как и об определенном состоянии знания. Именно поэтому будет полезно вернуться к разделению на царствования и к его средневековым истокам.

Ни эллинистический, ни даже латинский мир не имел концепции всеобщей истории, связывающей воедино все времена и земли. При соприкосновении с иудейской традицией христианизированный Рим открыл для себя, что род человеческий обладает совместной, всеобщей историей: важнейший момент, в котором угадывается начало современного понимания Истории; он датируется III в. н. э. Иудейские и христианские священные книги не сводились к прорицаниям, заповедям, мифологическим повествованиям, тем более к метафизическим размышлениям. Прежде всего это были книги по Истории. Они использовали некоторое количество хронологических событий, из которых одни были мифологическими, другие в большей степени историческими, но и те и другие в равной степени наделялись священным смыслом. Ни одна другая религия, ни на Западе, ни на Востоке, не определяла себя по своим базовым текстам как Историю.

Выискивая в анналах иудейского народа указания на приход Христа и миссию Церкви, патристическое толкование Ветхого Завета еще более усилило этот аспект: Господь не открывает все тайнства сразу и сполна. Он сообщает их понемногу по ходу Времени, которое становится центральным элементом Откровения. Несмотря на революционную новизну этот тип религиозной мысли вместе с Библией был воспринят средиземноморским миром. Прошлое перестало быть предметом обычного любопытства, поскольку теперь в событиях начали видеть способ, с помощью которого Бог являет себя Человеку. Но, признавая за Историей религиозную значимость, христиане-гуманисты распространили ее за пределы Израиля, на свою собственную классицистическую традицию, на все римское и эллинистическое прошлое. Именно это побудило их собрать все частичные истории и объединить их в одну целостную Историю. Мы сегодня плохо себе представляем, до какой степени это был грандиозный и опасный проект. Трудности про-

истекали и из его оригинальности, и из неточности хронологий. Никогда ранее История не мыслилась как *единство*, значительная же часть документов содержала лишь фрагментарные данные, которые не поддавались не только синтезу, но и самому общему хронологическому сопоставлению. Как свести вместе эти тексты при отсутствии общей системы датировки? В них упоминалась эпоха основания Рима, фигурировали отсылки к Олимпиадам, годы консулатов или архонтатов, перечни царей Египта, Ассирии и Вавилона. В результате получалась чудовищная путаница, никто не пытался все расставить по порядку, поскольку ни у кого еще не было идеи глубинного родства между отдельными историями.

Итак, всеобщие истории III века представляют собой синхронизацию летоисчисления. Они свидетельствуют о трогательном желании синхронизировать обрывочные хронологии, чтобы привести их в согласие друг с другом и с изложенной в Библии Священной Историей. Когда проглядываешь эти сводные таблицы истории Израиля со времен Авраама, Ассирии и Египта или же Израиля, Олимпиад, правлений македонских царей и римской хроники, то становится очевидным их желание заставить весь свет существовать в ритме Божественного Откровения: это своего рода регрессивная апостольская миссия, евангелизирующая Историю задним числом.

Многочисленные тексты IV и V веков свидетельствуют о силе и упорстве таких попыток синхронизировать Библию и прошлое неиудейских народов. Прежде всего это относится к греческой «Хронике» Евсевия Кесарийского, в которой излагается история мира с его сотворения до 324 года н. э.; св. Иероним перевел ее на латинский язык и продолжил вплоть до 290-й Олимпиады, 381 года Христова, тринадцатого года правления Валентиниана и Валента. Но труд Евсевия Кесарийского и св. Иеронима существовал не в вакууме. Моммзен в «*Monumenta Germaniae Historica*»⁴⁸ опубликовал ряд кратких

⁴⁸ Собрание материалов по средневековой истории Германии, сперва (до 1875 г.) издававшееся Обществом для изучения древнейшей немецкой историографии, затем выходившее под эгидой Прусской академии.

документов, свидетельствующих о том же желании: это консульские фасты, где годы, отсчитываемые от основания Рима, и имена консулов согласуются с датами, заимствованными из христианской истории (754 год от основания Рима, первый год Воплощения), и списками пап. Вслед за каталогом городских префектов идут «*Depositiones episcoporum romanorum*»⁴⁹; а перечень знаков зодиака с их атрибутами и благоприятными днями предваряет календарь праздников римской церкви: на восьмой день январских календ «*natus christus in Betleem*»⁵⁰. В этой альманашной куче, среди имен императоров, кратких заметок о римских провинциях, кварталах и тех монументах, которые там можно видеть, таблиц мер и весов, присутствуют и *cursus paschalis*⁵¹, фрагменты всеобщей Истории, своеобразные хронологические памятки: от Адама, первого человека, до потопа, который произошел при Ное, — столько-то лет. От потопа до Нина, бывшего первым ассирийским царем, — 898 лет. Далее компилятор дает списки правителей Ассирии и Лациума, тщательно сверяясь со св. Иеронимом, который был авторитетом в этом вопросе. Далее он перечисляет римских царей и консулов, и тут св. Иеронима сменяет Тит Ливий. *Ab urbe condita*⁵² он доходит вплоть до 753 года, а затем, после Рождества Христова, до 519 года, на котором и заканчивает.

Другой автор аналогичной памятки-эпитомы («*Epitoma chronicon*»⁵³) писал: «*Romulus regnavit anno XXXVIII. Ejusdem autem regni achaz...*»⁵⁴ Снова эта потребность в синхронизации, синхронизации и универсализме, о чем свидетельствует вели-

⁴⁹ «Кончины римских епископов» (лат.), покрывает период с 255 по 352 гг. Описываемая Арьесом рукопись обычно именуется Хронографом 354 г.

⁵⁰ «Рождение Христа в Вифлееме» (лат.).

⁵¹ Пасхальный круг (лат.).

⁵² «От основания города» (лат.), каковое, согласно вычислениям Варрона, приходилось на 753 г. до н. э.

⁵³ «Краткая хроника» (лат.), труд Проспера Аквитанского, описывающая события до 455 г.

⁵⁴ «Правлению Ромула XXXVIII лет. В его же правление Ахаз...» (лат.)

колепное заглавие (также из собрания Моммзена): «*Liber generationis mundi*»⁵⁵.

Раннее Средневековье знало Историю лишь в виде такой литературы о хронологических соответствиях. На протяжении долгого времени хронисты считали вполне достаточным продолжать труд св. Иеронима. В отличие от античных прецедентов, для них не существовало отдельных историй. Себя они воспринимали как компиляторов и продолжателей. Возьмем, к примеру, Григория Турского, который в конце VI века принялся за свой труд, чтобы во времена, когда «изучение благородных наук... пришло в упадок», «память о прошлом достигла разума потомков». Можно было бы счесть, что он ограничится изложением того, чему сам был свидетелем или о чем слышал в своем окружении, то есть нигде ранее не приводившихся фактов. Но нет, на протяжении всей первой книги он пересказывает св. Иеронима, начиная от создания Адама и Евы и вплоть до вавилонского пленения, до появления пророков и христианства. И тут он делает паузу: «Но чтобы не казалось, что мы имеем представление только об этом племени, народе евреев, мы вспомним [*memoramus*] об остальных царствах, какие они были и в какое время истории израильтян они существовали [*vel quail Israelitorum fuerint tempore*]»⁵⁶.

И далее идут фразы такого рода: «Во времена же царствования Амона в Иудее, когда евреи были уведены пленниками в Вавилон, у македонян царствовал Аргей, у лидийцев — Гигес, у египтян — Вафр, в Вавилонии — Навуходоносор, уведший евреев в плен; у римлян — Сервий, шестой по счету» (I:17).

Еще раз он останавливается, чтобы пояснить: «Доселе пишет Иероним, а с этого времени и дальше — пресвитер Орозий» (I:41). И заканчивает общим подсчетом лет: «Кончается первая книга, где описано 5596 лет, от сотворения мира до кончины святого епископа Мартина» (I:48). Попутно отметим, что если

⁵⁵ «Родословие мира» (лат.).

⁵⁶ Первое предисловие Григория. Здесь и далее все цитаты из Григория Турского даются по переводу В. Д. Савуковой: *Турский Г. История франков. Historia Francorum*. М.: Наука, 1987. Римской цифрой обозначается книга, арабской — глава.

пересмотреть эти подсчеты, пользуясь цифрами самого Григория Турского, то окажется, что он надбавил почти тысячу лишних лет!

Еще в XII веке — приблизительно в 1140 году — нормандский историк Ордерик Виталий начинает свою «Церковную историю» кратким пересказом святого Иеронима и Орозия; к своим источникам он также добавляет Библию, Трога Помпея, Беду Достопочтенного и Павла Диакона: «Их рассказы — наша отрада». Сперва он излагает Священную историю вплоть до Пятидесятницы; затем римскую от Тиберия до Зенона. Далее переходит к византийским императорам и к Меровингам. Можно привести множество других примеров, что тогда не существует ощущения изолированности отдельных историй, повествователь постоянно погружен во временную длительность.

Однако этот тип восприимчивости к Истории не привел к появлению собственно исторического мышления. Виной тому два обстоятельства, прекрасно очерченные Марком Блоком в его «Феодальном обществе».

Первое — избыток солидарности между прошлым и настоящим. Как это ярко сформулировал сам Марк Блок: «...общность между прошлым и настоящим скрывала контрасты и даже избавляла от необходимости их замечать»⁵⁷. Отсюда эффект своеобразного «сплющивания» Истории. Человек XIII века представляет себе Карла Великого, Константина, Александра внешне и психологически похожими на современных ему рыцарей. У скульптора, художника по витражам или по гобеленам в мыслях не было показывать различия в костюмах. Это отнюдь не всегда объяснялось невежеством: посещение Девой Марией св. Елизаветы с западного портала Реймского собора свидетельствует о том, что временами они вполне умели реконструировать прошлое и одевать персонажей по античной моде. При желании художники находили способы индивидуализировать своих героев: так, они выделяли Христа и апостолов, облачая их в условные одеяния, которые, по-видимому, являлись производными от античного костюма. Если же они не прибега-

⁵⁷ Блок М. Феодальное общество // Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. Пер. Е. М. Лысенко. М.: Наука, 1986. С. 153.

ли к индивидуализации, то потому, что не испытывали в том потребности. Им более ощутима общность времен, нежели их различие: таков их способ существования перед лицом Истории. Для нас он тем более интересен, поскольку прямо противоположен широко распространенной современной позиции. Отметим, что нынешнее царство исторического разнообразия порождает такие инстинктивные и весьма показательные реакции, как отказ от местного колорита в религиозной живописи Мориса Дени и решение изображать евангельские сцены в современных костюмах⁵⁸.

Таков первый плод наследия св. Иеронима, благоговейно сохраняемого и культивируемого в Средние века: небывало интенсивное ощущение взаимосвязи эпох. С этой точки зрения речь идет о чрезвычайно важном открытии, хотя собственно в историографии оно не дало результатов. Второе последствие оказалось куда менее плодотворно. Патристическая концепция всеобщей Истории, принимает ли она форму хронологии, как в случае св. Иеронима, или философии, как в случае св. Августина, всегда приводит к провиденциалистским истолкованиям. События и их последствия интересны не столько сами по себе, сколько в качестве мистических знаков, в силу того морального назначения, которое им отведено в Божественном плане! «О Божьем правлении» — таково название трактата Сальвиана, написанного около 450 года. Мы уже говорили о важном значении «О граде Божьем» св. Августина в историческом устройстве Запада вплоть до Боссюэ, до таких апологетиков начала XIX столетия, как дон Геранже. История едина, и в ней заложен один — теологический — смысл, совершенно очевидный в случае Священной истории, с большим трудом поддающийся обнаружению, когда речь идет о событиях, источником которых не было вдохновение (но разве История не является неизбежно вдохновенной?); одно моральное значение. За внешней видимостью историку следует искать заключенный в том или ином событии урок, определить его место в Божественном устройстве

⁵⁸ Морис Дени был не только практиком, но и теоретиком религиозного искусства. В 1922 г. он опубликовал труд «Новые теории современного и сакрального искусства».

мира. Ибо все выглядит так, как будто Господь одарил историков-провиденциалистов особым знанием Его намерений. Мы уже приводили в пример «О граде Божьем». В качестве дополнительного аргумента процитируем весьма близкий к нему случай Сальвиана, который видел в победе варваров орудие Божьего гнева, карающего позабывшее о своем долге римское общество, как когда-то Он карал Израиль: «Отчего Господь наш отдал во власть самых презренных из наших врагов гигантские богатства Республики и самые процветающие народы из носящих имя римлян? Отчего, ежели не затем, чтобы мы явственно познали, что эти завоевания есть плод скорее добродетелей, нежели силы; затем, чтобы повергнуть нас и покарать, предав нас в руки презренных [Сальвиан отнюдь не является почитателем варваров и не признает за ними этнического превосходства. — Ф. А.]; затем, чтобы явить руку Божью, поставив над нами господами не самых отважных, а самых трусливых из наших врагов» [Я цитирую по переводу 1834 года... — Ф. А.].

Стремление вычленить смысл Истории просуществует довольно долго: оно живо и сейчас. Жозеф де Местр дал ему новую жизнь, применив к Французской революции, этому оружию Божьей мести. Он во многом способствовал политизации Истории, которая в широких теоретических дебатах стала играть роль арсенала доводов «за» и «против». В конце концов, моральные преувеличения, к которым сводилась эта философия Истории, слишком хорошо подходили для ораторских упражнений. Поэтому каждый «ренессанс» сопровождается обесцвечиванием Истории, утратой ощущения существования во времени. Средневековые люди бывали хорошими наблюдателями вещей и нравов. Это прекрасно видно на примере календарных скульптур, работ иллюстраторов-миниатюристов или эпических поэтов. Но эта жизнь эпохи отсутствует в собственно исторических текстах, чьи авторы ставили себе целью преподнести моральный урок или идти по стопам классических авторов. Нет никакой нужды ждать XVII века: «Жизнь Карла Великого» Эгинхарда датируется IX веком. При поверхностном прочтении она может показаться почтительной и точной в своих описаниях. Однако последний из ее издателей, Луи Альфан, доказал, что Эгинхард взял за образец жизнеописание

Августа Светония и, вместо того чтобы просто рассказать обо всем виденном и слышанном, перенес ее на свой материал⁵⁹.

Все это не отменяет того, что в своем истоке Средневековые обладало чувством всеобщего характера Истории в этом упорядоченном Господом мире и взаимной близости эпох. Это должно послужить отправной точкой для дальнейших наблюдений за изменением отношения ко Времени.

Вторая важная точка отсчета: дата празднования Пасхи, последний календарный пережиток среди общего краха позитивных цивилизационных ценностей, имевшего место в VI—VIII века.

Чаще всего идея упадка плохо поддается историческому анализу. При пристальном рассмотрении возникает впечатление, что это не более чем «глухое окно», существующее только ради столь необходимой для классицистической истории архитектурной симметрии. Классицисты видели в течении времени чередование периодов «величия» и «упадка». Даже сегодня мы с большим трудом избавляемся от такого взгляда на вещи, источника многочисленных ошибок и искажений. Так называемые эпохи упадка представляют собой, по выражению Даниэля Алеви, периоды исторического ускорения, когда множатся признаки перехода от одной цивилизации к другой, когда невооруженному глазу заметно противостояние двух структур⁶⁰. Эпохами упадка также именуют те моменты развития общества, когда оно отклоняется от классицистических канонов, определенных эллинизмом... или тем или иным представлением об эллинизме. Это слово должно быть исключено из нашего терминологического словаря.

Однако среди исторических эпох существует один-единственный период, когда это смутное понятие «упадка» обретает вполне конкретное и весьма драматическое значение: это два или три века раннего Средневековья между нашествием варваров и каролингским ренессансом. Тогда действительно было ощущение, что сокровища веков и даже тысячелетий находят-

⁵⁹ Луи Альфан опубликовал свое издание труда Эгинхарда в 1947 г.

⁶⁰ Свое «Эссе об историческом ускорении» Даниэль Алеви выпустил в свет как раз в 1948 г.

ся под угрозой исчезновения. Валери заметил, что цивилизации смертны⁶¹. Но из их руин, из их плоти рождаются новые: никогда не существует окончательного разрыва, черной дыры, полной неспособности помнить, писать, передавать. Никогда: за исключением раннего Средневековья, когда практически исчезло даже то, что нас здесь интересует, — подсчет времени. Может ли сохраниться идея Истории, когда утрачено понимание временного деления? Примечательно, что, задумывая всеобщую историю, Евсевий Кесарийский и св. Иероним прежде всего хотели заняться подсчетами. Эти подсчеты могли быть ошибочными, но тут важно само намерение, которого было достаточно, чтобы осознать размеры того, что находится позади, чтобы появилось ощущение глубины, которого не существует при отсутствии хронологических данных. Таков случай черной Африки, когда ислам не внедряет заботу о хронологии, систему датировки, календарь Хиджры: иначе надо говорить не о чрезмерном сближении эпох, сглаживающем элементы различия, но об испарившемся Прошлом, которое полностью уходит из сознания людей и поглощается вневременным фольклором (как мне кажется, вневременное качество свойственно любому фольклору).

Раннее варварское Средневековье не достигает этого предела. В общем хаосе ему удастся сохранить подсчет времени, поскольку литургическая необходимость с точностью определять дату Пасхи поддерживает различные техники астрономических вычислений, которые иначе были бы утрачены. Для той эпохи было первостепенно важно, чтобы Пасха отмечалась в правильное время, иначе нарушался весь литургический цикл, и нет ни малейшего сомнения, что в этот момент истории Церкви литургия — все еще близкая к своим живым истокам — была основной формой религиозного благочестия; тут даже мог проявляться определенный формализм, который, с точки зрения современного мышления, кажется чистым суеверием. Важное значение, придаваемое литургии и ее смысловому наполнению — тогда она была единственным катехизисом, — объясняет, почему определение сроков празднования Пасхи вызывало та-

⁶¹ «Мы, цивилизации, — мы знаем теперь, что мы смертны» — фраза из эссе Поля Валерии «Кризис духа» (1919).

кой интерес и служило источником оживленных споров. Люди того времени считали, что если в назначение этой важнейшей даты вкрадется ошибка, то их религия окажется под угрозой.

Однако настоящую сложность представляло соотнесение Пасхи — иудейского праздника по своему происхождению, который определялся по еврейскому лунному календарю, — и используемого на Западе юлианского календаря. Необходимо было либо всякий раз прибегать к помощи специалистов, либо решить эту проблему раз и навсегда, на много веков вперед составив сводные таблицы. Каждая страница такой таблицы вмещала девять лет, так что через двадцать восемь страниц можно было видеть совпадение иудейского лунного и римского солнечного цикла.

Пасхальные таблицы хранились в религиозных общинах, особенно в аббатствах, будучи совершенно необходимы для бесперебойной литургической и в целом религиозной жизни. Благодаря им концепция времени не исчезла вместе с крахом цивилизационных ценностей. Ибо, наперекор распространенным представлениям, та пелена забвения, которая окутала наследие Прошлого, затронула и аббатства — по крайней мере, в Галлии. Когда при Карле Великом была проведена реформа системы письма и школ, то толчком к ней послужил страх, что дурной почерк переписчиков и их незнание латыни сделает невозможной точную передачу священных текстов, на аутентичность которых уже нельзя будет полагаться. Та же проблема с подсчетом Времени. Без регулярных пасхальных праздников, без подлинной Библии мир впадет в ничтожество и Бог его покинет. В обществе VII и VIII веков пасхальные таблицы играли ту же роль, что консульские фасты в Риме. Даты правления варварских королей могли следовать прямо за императорскими, которые в свой черед нередко смешивались с консульскими. Но достаточно пролистать Григория Турского или Псевдо-Фредегара и его ранних продолжателей, чтобы отдать себе отчет в практическом неудобстве такого учета: «Третий год короля Хильдеберта, каковой был семнадцатым годом Хильперика и Гонтрана...»

Псевдо-Фредегар считает годы Хильдеберта с момента его воцарения в Бургундии, не заботясь о том, что тот также правил Австразией: «Четвертый год Хильдеберта в Бургундии...»

Хроникер находился тогда в Бургундии. Напротив, когда его продолжатель перебирается в Австразию, то отказывается от бургундского летоисчисления, чтобы следовать австразийскому. После смерти Дагоберта он ведет счет по годам короля Австрии Сигиберта, тогда как Хлодвиг⁶² правил Невстрией и Бургундией. Такое летоисчисление становилось все более сложным и запутанным для непривычного к цифровым абстракциям мышления людей, которые буквально не умели считать. Поэтому они отказываются от системы точного обозначения сроков правления даже тогда, когда воцарение Пипина Короткого несколько проясняет политическую ситуацию. Посвященная Пипину часть хроники Псевдо-Фредегара располагает события во времени без особой точности и с пробелами. И более не отсчитывает годы правления, в этом смысле делая шаг назад даже по сравнению с Григорием Турским. Он указывает: «на следующий год», или «в то самое время», или «когда это происходило». Или вдруг уточняет: «на следующий год, то есть на одиннадцатом году его правления», но далее формула «на следующий год» повторяется вплоть до смерти Пипина. В момент подведения итогов хрониста вновь озабочивают хронологические подсчеты в духе св. Иеронима: «правил он двадцать пять лет», что на самом деле неверно (только шестнадцать, а если добавить к этому те годы, когда он был майордомом, то получится двадцать семь, а не двадцать пять). Разобраться решительно невозможно. Но это вовсе не смущает хрониста, который не чувствует потребности заменить ненадежный и запутанный подсчет царствований более простой системой исчисления времени. Правда, компиляция Псевдо-Фредегара была создана в целях каролингской пропаганды, далеко выходящих за рамки простого желания сохранить память о минувших временах: с последним импульсом мы вновь столкнемся на некотором удалении от этой столь отличной от нашей современной позиции. Отметим только, что Пипинид VIII века мог собрать прославлявшие его предков хроники, совершенно не заботясь о хронологических указаниях, не задаваясь вопросом, сможет ли читатель без труда понять последовательность людей и со-

⁶² Хлодвиг II.

бытий. Для него все это было несущественно: такая задача просто не ставилась.

Итак, эти хроники свидетельствуют об огромной хронологической путанице, которая по-прежнему сохранялась в конце VIII века. Но, если можно так выразиться, это были светские сочинения, то есть, несмотря на огромное количество чудес и хотя их авторами были клирики, они зарождались не в аббатствах и не были связаны с заботами монастырской жизни.

Следовательно, мне кажется, что их безразличие к хронологии свидетельствует в пользу высказанной гипотезы, что именно пасхальные расчеты сберегли идею временных измерений.

Продолжатели всеобщих историй V века, каковым хотел быть Григорий Турский (чей труд продолжает Псевдо-Фредегар), утратили ощущение размеренного течения Времени. Эти хронисты — отнюдь не анналисты.

Первые анналы были монастырскими, и эрудиты дружно приписывают их происхождение сводным пасхальным таблицам. В посвященном Каролингам томе «Источников по истории Франции» Огюст Молинье пишет: «Неизвестные авторы первых монастырских анналов заботливо отмечали в своих пасхальных таблицах победы, походы и кончины новых властителей»⁶³.

Можно представить, как это все происходило. Монастыри бережно хранили календари, позволявшие определить дату Пасхи. В них четко различались годы, что препятствовало возникновению путаницы: согласно религиозному и литургическому чину они следовали друг за другом от Рождества Христова.

Для нас важно подчеркнуть этот элемент различия. Именно он стал залогом формирования нового состояния умов, неизвестного ни Григорию Турскому, ни, тем более, Псевдо-Фредегару. Вскоре монахи просто захотели усилить это различие за счет более конкретных упоминаний своего повседневного опыта. Год, уже индивидуализированный благодаря литургическому циклу, начал характеризоваться и примечательными событиями: суровой зимой, сверхъестественным чудом, кончиной

⁶³ *Molinier A.* Les sources de l'histoire de France: depuis les origines jusqu'en 1815 par A. Molinier, H. Hauser, E. Bourgeois. Première partie, Des origines aux guerres d'Italie (1494). Paris: A. Picard et fils, 1901–1906.

важной персоны и, все чаще и чаще, политическими происшествиями — войнами.

Некоторые из этих трогательных своим простодушием анналов собраны в «*Monumenta Germaniae Historica*»⁶⁴. Их надо читать в оригинале, на их ужасающей латыни, дающей яркое представление об интеллектуальном уровне монахов. Однако глубина культурного падения еще раз подчеркивает важность этого анналистического модуса, позволившего сохранить представление о времени.

Вверху слева написано: «*Anni ab incarnatione Domini*»⁶⁵, а ниже идут цифры: 764, 765... Напротив каждой из них — пара строчек комментариев. Например: «764 — *Niems grandis et durus — Habuit rex Pippinus conventum magnum cum Francis ad Charisago*»⁶⁶. Неблагоприятное климатическое явление столь же важно, как и собрание франков. Чувствуется, что монах поражен суровостью холодов: это главное событие года.

И далее:

«787 — *Eclipsis solis facta est hora secunda 16 kal. Octobres die dominico. Et in eodem anno dominus rex Carlus venit per Alamaniam usque ad terminos Paioariarum cum exercitu*»⁶⁷.

Затмение в той же мере заслуживает упоминания, что и военный поход Карла Великого. Причем с какой совершенно современной точностью, неведомой политическим хронистам вроде Псевдо-Фредегара: оно произошло в воскресенье, в 16-й день октябрьских календ, около двух часов. Эта точность подразумевает привычку иметь дело с календарем.

«849 — *Terrae motus. Walachfredus obiit*»⁶⁸. Смерть аббата и землетрясение — вот и весь год. Другие события большой истории оставлены без внимания.

⁶⁴ См. выше сноску 48.

⁶⁵ «Годы от воплощения Господа» (лат.).

⁶⁶ «764 — Великий и тяжкий холод. Король Пипин держал большое собрание франков в Шаризее» (лат.).

⁶⁷ «787 — Во второй час 16-го дня октябрьских календ было затмение. В тот же год господин король Карл прошел через Алеманию до границ баварцев с войском» (лат.).

⁶⁸ «849 — Землетрясение. Скончался Валахфредий» (лат.).

Временами сухие и лаконичные записи окрашиваются эмоциями.

«841 — *Bellum trium fratrum, ad Fontanos*». Таков факт в чистом виде; но писец взволнован, поэтому добавляет: «*bellum crudelissimum inter fratres Hlottaricum*»⁶⁹.

Важность метеорологических фактов, затмений, землетрясений не является специфической особенностью кратких записей монастырских анналов, но в целом характерна для литературы того времени. Что тут следует особо выделить — и что мне кажется действительно новым, — так это анналистический модус и подразумеваемая им забота о хронологии. В эпоху Карла Великого (и это, безусловно, является частью «каролингского ренессанса») анналистический модус будет усвоен составителями официальной истории, *annales regii*⁷⁰, которые продолжат хронику Псевдо-Фредегара.

Всеобщая История и свойственное ей историческое истолкование мира, его созревания, сохранили для Средних веков идею истории рода человеческого. Необходимость вести счет дням, месяцам, годам, причем руководствуясь практичной системой, заставила вновь вернуться к представлению о течении времени, хотя это представление и отличалось от ранее существовавшего.

В больших всеобщих историях Евсевия Кесарийского, его подражателей и продолжателей для летоисчисления используется система классификации и референций по эпохам правления: македонские цари, римские цезари... Эта хронологическая единица — правление — не была принята Средними веками, вернее, привычка к ее использованию быстро изжила себя. А экклезиастический календарь, ведущий счет от Воплощения Христова, позволял измерять время, не прибегая к путаным датам правления Меровингов. Кроме того, могущество светских властителей не так поражало воображение, как власть епископов и аббатов, живую память о которых окутывали ле-

⁶⁹ «Сражение трех братьев при Фонтенуа: жесточайшая битва между братьями Лотаря» (*лат.*).

⁷⁰ Королевские хроники (*лат.*).

генды, если только это не происходило еще во время их земного существования. Чье воображение? Конечно, тех, кто только и может нам быть известен, — тех, кто умел писать, кто знал единственный язык — латынь, — на котором можно было писать, то есть воображение клириков.

Но во времена Григория Турского и, возможно, вплоть до грегорианской эпохи XI—XII веков клирики не составляли отдельного мира. Суровый целибат еще не отделил их повседневное существование от жизни других людей. Доказательство тому — один из анекдотов Григория Турского о распутном аббате, который был убит обманутым мужем: «Да послужит этот случай для клириков предостережением, чтобы они, вопреки канонам, не вступали в общение с чужими женами, за исключением тех женщин, на которых не может падать подозрение в прелюбодеянии [*praeter has feminas de quibus crimen non potest aestimari*], ибо это запрещают и собственно церковный закон, и все священные писания» (VIII:19). Эта многочисленная, не имевшая четких границ масса должна была внушать свои мнения толпам верующих, посещавшим гробницы святых и их мощи. Как бы там ни было, во всех раннесредневековых текстах вплоть до великих произведений каролингской историографии в качестве важнейших персонажей выступали епископы и аббаты. Именно о них пишут, ими интересуются. Чтобы в этом убедиться, достаточно в первом томе Молинье («Источники по истории Франции». Т. I. Ч. 1), посвященном ранней истории вплоть до Каролингов, подсчитать ссылки на источники. Всего их там 630, из них 507 (то есть 80%) — отсылки к житиям святых. Неважно, что эти жития имеют легендарный характер и чаще всего написаны по единому образцу, с одними и теми же чудесами и предзнаменованиями. 80% исторических текстов — биографии епископов и аббатов, поскольку практически все святые того времени были епископами и аббатами. Напротив, сегодня, в современной церкви, канонизированные святые редко принадлежат к верхушке иерархии черного и уж тем более белого духовенства...

Когда повествование Григория Турского перестает быть всеобщей историей, то превращается в равной мере в историю епископов и историю франков. Главными поворотными

пунктами Истории для него являются: сотворение мира, потоп, переход через Черное море, Воскресение Христово и смерть св. Мартина. Последний в его глазах куда более важен, чем Константин, не говоря уже о Хлодвиге, не слишком достойном инструменте Божественного провидения. В то время как св. Мартин — «наше солнце» и Галлия освещена «новыми лучами сего светильника» (I:39). История, которую мы бы назвали Новой, начинается со св. Мартина. До него идут св. Дионисий, св. Сатурнин, св. Урсен, проповедники Евангелия и первомученики, принадлежащие к Истории достопамятных времен, известных по давним воспоминаниям. Вслед за кратким очерком всеобщей истории (книга I), книга II начинается с прямых восприемников св. Мартина на епископской кафедре Тура. О франках речь заходит лишь между прочим, и приходится признать, что известно о них не так много. После исторической справки о франках и их приходе в Галлию начинается параллельный рассказ о первых известных франкских королях и история турских и клермонских епископов. С книги III, где представлено царствование Хлодвига, повествование становится тем более плотным, чем ближе мы к современным Григорию событиям. Но предпочтение всегда отдается церковным материям: смещению или назначению епископов, синодам, тем более что церковная жизнь была тесным образом переплетена с жизнью королей: перед нами своеобразный цезаропапизм.

Тем не менее в книге X Григорий Турский вновь делает паузу и возвращается к систематическому, последовательному изложению истории Турского архиепископства от первого епископа Гатиана, затем св. Мартина, который был третьим, и, наконец, «девятнадцатым епископом был я, недостойный Григорий» (X:31). В книге I, где дан общий хронологический очерк мировой истории, он уже четко обозначил момент написания «истории франков»: «В двадцать первый год нашего епископата, седьмой год Григория, папы римского, тридцать первый год короля Гонтрана, девятнадцатый Хильдеберта». История с VI по VIII век прежде всего предстает как перечень деяний епископов и аббатов. Это важная модификация исторического чувства. Начиная с Евсевия Кесарийского История не переставала быть *священной*. Однако она обращала мало внимания на

биографические аспекты и в основном стремилась вписать языческую Историю в провиденциальный план. Священная История перестала быть исключительно историей иудеев, чтобы стать историей мира.

Но дух больших хронологических систем был постепенно утрачен. Усилия по их сохранению, предпринятые в VIII веке англосаксами в лице Беды Достопочтенного или итальянцами в лице Павла Диакона, оказались тщетными. И если предисловия к историческим повествованиям по-прежнему отсылали к истокам, то это была скорее стилистическая конвенция. Упадок резко усилился в X столетии и продолжался вплоть до XII века: Франция утратила чувство всеобщего характера Истории. Это было следствие сужения географического кругозора, а также отсутствия попыток увидеть за переплетением событий руку Провидения. Ткань светской Истории перестала быть интересна даже с точки зрения провиденциалистских истолкований.

С этого момента История перестает быть Священной, чтобы стать Житием святых, что отнюдь не одно и то же. Речь теперь идет не о сакральном во времени, но о сакральном вне мира. Рассказывая о чудесах и предзнаменованиях — свидетельствах святости героя, биограф-агиограф вынужден прежде всего выделять трансисторический аспект этих сверхъестественных явлений: еще один признак размыwania исторического чувства, о котором мы говорили в связи с монастырскими «бортовыми журналами». Поэтому с точки зрения нашего предмета каролингский ренессанс интересен не столько своими (обреченными на неудачу) попытками вернуться к всеобщей Истории, сколько реабилитацией светских исторических материй. Через голову агиографии, провиденциалистских истолкований и даже классического морализма Каролинги возрождают древнейшую, лежащую у истоков письменной Истории традицию фиксации деяний военных предводителей. Вместе с ними возрождается стремление древних империй сохранить память о замечательных событиях, ставших основой их славы.

Начало этому предпринятию положил Хильдебранд, брат Карла Мартелла. Благодаря ему были собраны и продолжены локальные бургундские и австразийские хроники, с XVI века

именуемые хрониками Фредегара, в которых, как мы уже отмечали, отсутствовало понимание хронологии. Действительно, речь шла не о сохранении последовательности времен, а о фиксации королевской традиции, первой утвердившейся на развалинах Римской империи. Итак, Псевдо-Фредегар состоит из ряда хроник, расположенных стык в стык для создания эффекта исторической непрерывности. Среди них специалисты различают:

1. Краткий пересказ Григория Турского, служащий им своеобразным вступлением.

2. Бургундскую хронику, охватывающую период с 585 по 642 год и принадлежащую по крайней мере трем разным авторам. Вот образчик этого повествования: «На восьмой год правления [в Бургундии] у Теодориха от наложницы родился сын, нареченный Хильдебертом. Синод собрался в Шалоне и поменял епископа Вьеннского. В этот год солнце было скрыто. В то же время франк Бертоальд был майордомом Теодориха. Это был человек добрых нравов, мудрый, осторожный, отважный в бою и верный данной клятве».

3. В VII веке хроника перемещается в Австразию под эгиду Пипинидов. Стараниями Хильдебранда, брата Карла Мартелла, ее переписывают, сохраняют и продолжают вплоть до 752 года, когда на престол всходит Пипин Короткий: «До сего места славный граф Хильдебранд, дядя короля Пипина, повелел с величайшим тщанием записать историю деяний франков».

Сюда же относится жизнеописание Пипина Короткого, написанное Нибелунгом, сыном Хильдебранда и кузеном короля: «Последующее написано по повелению славного воина Нибелунга, сына Хильдебранда». Как будто эта младшая ветвь королевского дома специализировалась на семейной истории.

Таким образом, собрание Фредегара состоит из древних хроник (всех, какие можно было отыскать) и официальной историографии.

Труд Хильдебранда и Нибелунга с большей долей последовательности продолжают начатые по повелению Карла Великого «Королевские анналы», на протяжении долгого времени ошибочно приписывавшиеся Эгинхарду. Как утверждает Луи Альфан, нет смысла выделять в них те или иные произвольные сегменты, хотя некоторые специалисты это делают. Запомним

только, что время отсчитывается от Воплощения и повествование придерживается строго анналистического модуса: «анно 741». В этом хронологическом кадре — неизвестном Фредегару и, без сомнения, под влиянием англосаксов заимствованном из монастырских анналов — хронисты разрабатывают историю королевских войн. Их рассказ посвящен прославлению героев, чьи подвиги важно было сохранить. Эта официальная и светская история (светская несмотря на то, что пишут ее клирики и она наполнена христианскими представлениями о чудесном) имеет два существенных аспекта, один династический, а другой военный: великие свершения предков подобает закреплять на бумаге. В этой потребности проявляется, как мне кажется, новое отношение ко времени, которое внесет свой вклад в формирование ментальности, остававшейся типичной для всего Старого порядка и даже, отчасти, для наших дней — в той мере, в какой современная ментальность является восприимчивой той, которая существовала двести лет тому назад. Имя ей традиция. Начиная с IX века, одновременно с формированием феодального порядка, в текстах все чаще и чаще встречаются упоминания предков и их доблести. Чтобы добиться общественного признания, человек должен был иметь предков, причем предков, отличавшихся легендарной отвагой. Это представление проходит сквозь века и, несмотря на различие между эпохами, придает Старому порядку свойственную ему окраску: Монтескье назовет его Честью.

В феодальные времена такое почитание прошлого входило в ценностную систему семей, связанных отношениями оммажа. Но его исток, по-видимому, связан с практикой существования в Австразии майордомов, когда они еще не были восприимчивыми цезарей: к исполнению королевских обязанностей их предназначала в большей степени военная доблесть, нежели королевское помазание. Традиция всегда имеет династический и военный, но прежде всего королевский характер. Официальная историография Каролингов основала королевскую традицию там, где потерпели неудачу наследники Хлодвига.

Однако эта трансляция королевских свершений прерывается, по крайней мере в виде ученого повествования на пергаменте. «Королевские анналы» не имеют продолжателей.

Так первая попытка упорядочить Историю по королям и их войнам не получает развития.

Мы имеем привычку сводить Историю к циклическому чередованию подъемов и падений, которые соответствуют политическим превратностям, поэтому нас не слишком удивляет исчезновение большой королевской хроники: мы склонны объяснять его упадком Каролингов и наступлением новой эпохи варварства, симметричной той, что имела место в VI и VII веках. Однако в IX и X веках практика историописания не прерывалась, и в текстах этой эпохи трудно обнаружить что-то похожее на примитивный язык и варварское невежество монастырских анналов, из которых мы выше привели несколько цитат. Напротив, упоминания классической Античности свидетельствуют о знании литературных текстов, вновь обретенном при Карле Великом и уже более не утрачиваемом. В «Истории в четырех книгах» Рихера, написанной между 883 и 995 годом, современного читателя смущает не столько варварство, сколько риторика и отделка под античность.

Здесь было бы неуместно ссылаться на слишком простую идею упадка и ослабления каролингской династии. Почему этот довод должен обладать большим весом в случае истории, писанной на латыни, чем в случае эпоса на народном языке, в которой немалую роль играют события IX—X веков? Ответ надо искать в другом месте.

Каковы основные исторические тексты IX—XI веков, предшествовавшие первым историям крестовых походов, если оставить в стороне нормандские хроники?

Вот «Деяния Дагоберта», но это не история Дагоберта-короля, а панегирик Дагоберту-основателю аббатства Сен-Дени, приблизительно в 832 году сочиненный одним из его монахов, который использовал известные тексты Фредегара и жития святых. Главный интерес тут представляют подробности, извлеченные из грамот и хартий аббатства, это обращение к важным историческим источникам для сохранения привилегий общины.

Флодоард был автором «Истории Реймской церкви», заканчивающейся 948 годом (умер он в 966 году), и каноником той самой церкви, чья история им написана. Он начинает так: «Не имея другого намерения, как написать историю утвержде-

ния нашей веры и рассказать о жизни отцов нашей церкви, я не считаю необходимым искать создателей или основателей нашего города, ибо они ничего не сделали для нашего вечного спасения, напротив, оставили нам запечатленными в камне следы их заблуждений», — интересный способ разом разделаться с языческой Античностью и со светской историей. Он излагает житие св. Ремигия, как это делали и биографы предшествующего столетия, затем следует череда епископов с особым упором на Хинкмара, и пересказ епископальных посланий. Другое сочинение того же Флодоарда, написанное в теперь уже традиционной форме анналов, включает в себя наиболее примечательные факты местной хроники и, время от времени, более отдаленных областей. В Реймсе прошел град величиной с куриное яйцо. В этот год не было вина. Норманны разграбили Бретань, Венгрию, Италию и часть Франции. В 943 году в окрестностях Парижа была сильная гроза и поднялся такой ураган, что не устояли стены старого дома, который обрушился на своего хозяина. Черти под видом всадников разрушили соседнюю церковь и посбивали свечи. Как кажется, в текстах этой эпохи значительно чаще, чем ранее, фигурируют черти, принадлежащие к фольклорным представлениям о чудесном.

Хельгод был монахом аббатства Флери-сюр-Луар, сегодня Сен-Бенуа-сюр-Луар. Он составил жизнеописание благодетеля аббатства короля Роберта, которое в той же мере панегирик св. Бенедикту, что «Деяния Дагоберта» — панегирик св. Дионисию. Ни слова о событиях, но множество поучительных фактов, чудес, милостей.

Когда Аббон рассказывает об осаде Парижа норманнами (885—887), то его заботит не столько этот факт светской или королевской истории, сколько его влияние на аббатство Сен-Жермен. Это один из эпизодов истории св. Жермена.

Рауль Глабер (985—1047) более амбициозен. Он хочет пополнить всеобщие истории, прервавшиеся на Беде Достопочтенном и Павле Диаконе. Ему известно, что история является источником моральных поучений: «Для каждого человека — превосходные уроки благоразумия и осмотрительности». «Мы предполагаем припомнить тут всех великих людей, которых мы могли знать сами или по надежным сведениям и которые, начи-

ная с года 900 от Воплощения всесотворяющего и всеживящего Слова и вплоть до наших дней, отличились своей преданностью католической вере и законам справедливости». На самом деле из всего мира ему известна лишь Бургундия, он несведущ в хронологии и в периодизации по эпохам правления и любит давать длинные списки чудес и предзнаменований. Никакого сравнения с каролингскими анналами.

Еще в середине XII века история аббатства Везеле следует предшествующей модели монастырской, местной хроники.

Монастырские анналы, истории церквей, соборов и аббатств, биографии епископов или аббатов, панегирики основателям: История вновь сделалась безразлична к королевской конструкции, без сомнения, это один из аспектов географического деления, которое, если использовать выражение Марка Блока, характеризует этот «первый феодальный период». Опять-таки, это отнюдь не невежество. Эти тексты зачастую более увлекательны для современного читателя, нежели более ранние или более поздние повествования, поскольку их авторы безразличны к общей Истории, к событиям большой политики и открыты наблюдениям за современными им нравами. А это столь редкостный феномен для историков нашей нации! У них мы находим богатый урожай любопытных представлений о сверхъестественном, фольклорных черт, свидетельством чему поразительный рассказ Гальберта из Брюгге об убийстве графа Фландрского в 1127 году. Это — предвестие знаменитых хроник, таких как хроника Жуанвиля, которые единственные завоевали себе место в литературной истории и представляют собой свидетельства эпохи, выполненные смелыми наблюдателями.

Тем не менее это не «королевская» и даже не «феодальная» историография. Она не интересуется деяниями вельмож, если только они не принимают участие в жизни церквей и аббатств. В ней мы видим закат идеи семейной традиции. Закат неполный: в тот момент, когда латиноязычная история оставляет без внимания семейные и королевские традиции, они начинают питать новый литературный жанр — эпические песни.

Мы не будем здесь погружаться в лабиринт дебатов, разросшийся вокруг проблемы происхождения эпических песен. Со-

временные специалисты сделали по этому поводу ряд ценных наблюдений. Они в целом пришли к согласию, что создание первых эпоей следует отнести к XI и X столетиям, хотя самые ранние их записи датируются серединой XII века. Отказавшись от слишком категорических суждений Бедье⁷¹ или несколько смягчив некоторые его идеи, медиевисты, по-видимому, склонны теперь признавать, что шансон де жест имеют единый источник, причем не монастырский, а светский — народный или сеньюральный. На ум приходят те самые баллады на народном языке, о чьем существовании (но не о содержании) известно по весьма скудным указаниям: так, например, один Орлеанский епископ в IX веке запрещал своим клирикам исполнять «простонародные песни». Без сомнения, именно эти баллады, а не латиноязычные анналы сообщили эпическим песням наиболее древние исторические черты, особенно те, которые касаются истории Карла Великого и его восприемников IX века.

С другой стороны, тот факт, что в качестве резиденции двора обозначен Лаон, позволил Фердинанду Ло отнести фиксацию этих сюжетов к X веку, когда окрестности Лаона стали приютом последних из каролингских королей. События X века внесли изменения в предшествующие традиции: к примеру, Рене Луи, автор ученого труда о Жераре Руссильонском, признает, что у истоков сюжета находился некий Жерар, граф Вьеннский, который около 871 года взбунтовался против Карла Лысого⁷². Но в X веке поверх этого прототипа последовательно накладываются два других персонажа: сперва герой, отстаивающий независимость Бургундии на манер Бозона, затем легендарный граф Руссильонский, — и все ради прославления одного из исторических графов Руссильонских, жившего приблизительно в 980—990 годы.

⁷¹ Подразумевается полемика, вызванная трудом Жозефа Бедье «Эпические сказания. О происхождении шансон де жест» (1908—1913), в котором он предлагал рассматривать эти тексты как продукты индивидуального творчества.

⁷² *Louis R. Girart, comte de Vienne, dans les chansons de geste: Girart de Vienne, Girart de Fraite, Girart de Roussillon. Auxerre: aux bureaux de «l'Imprimerie moderne», 1947.*

Таким образом, первые редакции или окончательные фиксированные варианты относятся к XI веку, но зачастую мы располагаем только их более поздними версиями, как правило, несущими в себе следы изменений и замен.

Как бы то ни было, с самого начала героические песни подпитываются королевской и сеньюральной традицией и противостоят современной им историографии, в особенности церковной и монастырской. Эпохи их формирования отсылают к (неважно, историческим или легендарным) эпизодам из жизни образцовых воинов, как правило в династических целях. Или в них воспеваются подвиги королей, более или менее сливающихся с фигурой Карла Великого, как это происходит в «Песне о Роланде»; порой в них отражается привязанность к каролингскому роду, который был предан вероломными баронами. Или же они прославляют враждебных королям вельмож, таких как Жерар Руссильонский или Вильгельм Коротконосый, и высмеивают монарха, как в «Коронации Людовика». Похоже, что династические и героические традиции, чье присутствие в официальных каролингских анналах мы отмечали выше, уходят из латиноязычной историографии, чтобы найти приют в народных и рыцарских балладах, в вернакулярных песнях жонглеров и, наконец, в фиксированных сюжетах героических песен.

Итак, при посредстве эпических песен История становится частью литературы на разговорном языке; и именно под этим легендарным обликом она превращается во всеобщее достояние. Точнее говоря, в случае Франции она является порождением каролингского легитимизма и способом передачи памяти о предках: героической и династической традицией. Идея семейной традиции, на время исчезнувшая из латиноязычной ученой истории, продолжает существовать в форме эпической песни.

И это в высшей степени примечательно, поскольку возникает вопрос: если бы эпическая песня не сохранила и не пронесла сквозь время эти династические и героические сюжеты, то не обладали бы XII и XIII века совершенно иным сознанием Истории? Марк Блок подчеркнул эту средневековую путаницу между Историей и героической песней. Еще в XIII веке, в эпоху Генриха II Плантагенета, шансон де жест считались

аутентичными документами. И долгое время, вплоть до XV века, многие знатные семьи и даже аббатства пытались связать свою родословную с одной из известных героических песен. Так, бургундский дом использовал в пропагандистских целях вариант песни о Жераре Руссильонском XIV века, написанный александрийским стихом, который один монах из Пуатье напичкал бургундскими именами. Затем по приказу Филиппа Доброго она была переложена прозой и распространялась в сокращенном виде. В XVI веке (и после, в 1632 и 1783 гг.) выходят печатные издания песни о Жераре.

Тем не менее среди ученых латиноязычных исторических сочинений X—XI веков существует одно исключение: в нем нет слишком узкой локализации, свойственной текстам того времени, и оно имеет отношение скорее к династическому и героическому модусу шансон де жест. Это труд Дудо из Сен-Квентина «О нравах и деяниях первых герцогов Нормандии», созданный где-то между 960 и 1043 годами, который послужил основой для последующих историков Нормандии. Действительно, в истории средневековой историографии Нормандия занимает важное место: по-видимому, возрождение исторического жанра в XII веке было обусловлено теми первыми шагами, которые предприняли нормандские историки, равно как и расширением горизонтов, произошедшим во время крестовых походов. Влияние крестовых походов на Историю хорошо известно, и настаивать на этом факте бесполезно. Вместо этого мы хотели бы более подробно рассмотреть феномен нормандской историографии. Был ли он всецело обусловлен успехами герцогства в сфере политической и экономической организации? В таком случае почему способом выражения этой цивилизации стало появление исторического сознания, тогда как в рамках других, порой самых ярких цивилизаций, как те, что существовали на юге Франции, расцветало право, медицина, лирическая поэзия, но не было ни истории, ни теологии? На историографической карте XI—XII веков к югу от Луары нет никаких отметок, тогда как ими изобилует северо-восток (область контактов с Германией, где История, в том числе и всеобщая, никогда не была полностью забыта) и запад, то есть Нормандия.

Если сравнивать Дудо с текстами той же эпохи, происходившими из Шампани, Бургундии и пр., то нельзя не ощутить всей оригинальности нормандских сочинений. Это история народа, сохранившего память о своих истоках, перемещениях, обычаях, который, несмотря на уже давнюю ассимиляцию во франкский мир, не утратил чувства своего почтенного своеобразия. Это весьма редкое явление для раннего Средневековья, когда этнические различия недолго удерживались в коллективной памяти. Так, у Григория Турского нет ни малейших следов противостояния германцев и галло-римлян: он говорит о племенных качествах как о банальных личных характеристиках. С начала XI века — или, точнее, еще и в эту эпоху — норманны знали, что у них есть собственная, отличная от франкской история, которую они при случае довольно патетически воспевали. Дудо перемежает прозу поэтическими фрагментами. В одном из них, обратившем на себя внимание публикатора Жюля Лэра, он взывает к франкам: «О, Франкия, некогда кичившаяся победой над столькими поверженными народами; ты предавалась святому и благородному труду... И вот ныне ты распростерта на земле, сидишь на своих доспехах удивленная и растерянная... Возьмись за оружие, устремись скорее в бой, ищи, что спасет тебя и твоих. Терзайся стыдом и раскаянием, сожалением и ужасом перед лицом своего преступления. Внемли велению Господа твоего. *Вот другой народ грядет к тебе из Дании, и его неутомимые весла быстро рассекают волны.* Долго в многочисленных боях будет он осыпать тебя своими грозными стрелами. Неистовый, он повергнет во прах тысячи франков. Наконец заключен союз: наступает мирная тишина. Тогда этот народ вознесет к небесам твое имя и твою власть. Его меч поразит, покорит и разобьет не желавшие покоряться тебе гордые народы. О счастливая Франкия! трижды, четырежды счастливая! приветствуй его, трепеща от радости, приветствуй его, о вечная»⁷³.

⁷³ Арьес цитирует французский перевод Жюля Лэра, который, в свой черед, приводит этот отрывок в предисловии к своему изданию Дудо (*Dudone Sancti Quintini. De moribus et actis primorum Normanniæ ducum. Nouvelle édition pub. par Jules Lair. Caen, 1865. P. 102; курсив Арьеса*).

Таким образом, клирик X—XI веков прекрасно видел масштаб такого исторического события, как приход норманнов в западную Невстрию. Он не принижал его до уровня одного из многих эпизодов и не романтизировал в качестве занимательного приключения. Он различает и противопоставляет племена (*progenies*) норманнов и франков.

Дудо начинает свой рассказ не с первых герцогов, чьим официальным историографом он выступает. Он берет раньше: норманны происходят не из Невстрии. У них куда более древняя история, восходящая к баснословным временам, когда они обитали на берегах Северного моря, в труднодоступных краях: это даны, которых автор, стараясь не отступать от классической географии, идентифицирует с даками. Речь идет о традиции, передававшейся изустно вплоть до ее фиксации Дудо. Попутно ее расцвечивают образованные клирики: происхождение норманнов, как и франков, должно быть связано с Энеем и его потомками. У франков — Франсион, у норманнов — Антенор. Но рассказ о первых временах тщательно сохраняет приметы баснословного языческого прошлого, периодические исходы молодых, полигамию, человеческие жертвоприношения, большие морские походы. Тут нет всеобщей истории на манер Евсевия и Иеронима, которую, впрочем, позже подхватят такие норманнские историки, как, скажем, Ордерик Виталий. Сперва перед нами странное племя мореходов с непривычными обычаями. После ряда приключений, которые хронист описывает с явным удовольствием, оно обосновалось во Франкском королевстве. Так, переходя от одного эпизода к другому, повествование добирается до современных ему норманнов и их герцогов, которым предуготовано славное будущее. Но мы еще не дошли до английских завоеваний Вильгельма.

Любопытно, что эта сага, благоговейно хранимая устной традицией, не породила своего эпического цикла. Возможно, именно потому что в Нормандии устная традиция оказалась вскоре закреплена в ученой истории герцогства? Героические и династические сюжеты прошлого были раз и навсегда зафиксированы и слишком скоро и широко стали известны, чтобы поэты могли переделывать их по своему разумению. Кроме того, в середине XII века — эпоху окончательной редакции шан-

сон де жест, если судить по датировке манускриптов, — нормандский поэт довольствовался тем, что изложил французскими стихами и эпическим стилем те традиции, которые уже зафиксировал Дудо: это «Роман о Роллоне» Васа, первая история семьи и народа, написанная не на латыни. Ее появление обусловлено и устной стихией, и желанием правителя остаться в памяти потомков. Хотя она менее баснословна, нежели эпические сказания, и больше заботится о точности, ее конечная цель — прославить определенную традицию, обеспечить ее выживание и силу воздействия. При всем том это уже не строго династическая традиция каролингских королевских анналов. История, как и шансон де жест, испытала на себе влияние культивируемых в рыцарском сообществе эмоциональных ценностей; верность и честь стали важнейшими элементами морального кодекса, придавшего той эпохе ее неповторимую окраску. История сделалась еще одним способом выражения и поддержания преданности, в свой черед ставших устойчивой чертой общего чувства Истории. Даже сегодня она часто предстает как ностальгия по минувшему, как подтверждение преданности. Эта преданность может иметь форму легитимизма как такового или выражаться в более смутном чувстве благоговения. В этом случае История естественным образом наследует утраченные приверженности и сохраняет их в том мире, в котором они практически утратили свой смысл.

Вплоть до XIII века хроники имеют исключительно местный или региональный характер. В XIII веке Историю ожидало новое приключение. Святой Людовик и его непосредственные предшественники обращаются к ней для прославления национального и королевского мифа, который, согласно заранее обдуманному плану, был воплощен и на пергаменте, и в камне.

Впервые после Евсевия и Иеронима оказалась вновь востребованной тема связи времен, теперь организованная согласно общему плану и вокруг одной центральной темы — французского королевского дома и обряда коронации. В эту же эпоху, после многовекового равнодушия, возвращается интерес ко всеобщей истории, которая, благодаря поддержке схоластического энциклопедизма, обретает большую строгость

и методичность. Королевская история связана с этим возрождением всеобщей истории. Вновь обретенная связь времен будет иметь два центра притяжения, сперва, благодаря патристике, Библию и Церковь, а затем королевский миф — новую тему, выходящую за рамки обычной династической преданности.

Об этом возвращении к большой Истории свидетельствуют три произведения второй половины XIII века: «Большие французские хроники», надгробные изваяния в Сен-Дени и иконография Реймского собора.

Реймский собор посвящен коронационной литургии; его иконография поделена на два уровня, один Бога, другой Кесаря, хотя сделано это исключительно ради ясности изложения, поскольку подразумевается, что мирская власть тоже имеет религиозную природу. Это членение прекрасно демонстрирует связь между священной и королевской историей: короли Франции приходят на смену иудейским царям и занимают свое место в западной галерее.

Итак, главная тема — церемония коронации, которая повторяется дважды. Сперва снаружи, на западном фасаде: монументальная композиция, призванная издали привлекать внимание паломников, представляет крещение Хлодвига, то есть коронацию первого короля. С этого момента перечень королей будет начинаться с того, кто первым принял христианство и был миропомазан: различие, неизвестное Григорию Турскому, как и более поздняя путаница между крещением и коронацией. Уже не столь важно вспоминать тех, кто был до Хлодвига, вплоть до троянских предков франков, истинным истоком становится первая коронация, чудо сосуда с миром, о котором Григорий Турский не упоминает и которое появляется в более поздних текстах.

Таким образом, паломников встречает изображение первой исторической коронации. Внутри, на витражах трифория, он видит церемонию в том виде, в каком она повторялась из поколения в поколение после Хлодвига: король в усыпанных королевскими лилиями одеяниях, с мечом и скипетром, окруженный пэрами Франции. Литургия возобновляет молитвенный жест первого короля и обновляет чудо голубки с сосудом с миром.

От этого парного изображения в камне и на стекле идет длинная процессия королей (внутри — на витражах, снаружи —

в виде статуарной галереи), которая опоясывает собор вплоть до трансепта. Из их анонимной череды выделяются две фигуры, также исполняющие функции святых покровителей Франции: над северным порталом — Людовик Святой, над южным — Карл Великий: герой шансон де жест оказывается востребован новой королевской мифологией. Эта череда каменных и витражных величеств подчеркивает идею королевской преемственности, начиная от Хлодвига, через Карла Великого и вплоть до Людовика Святого.

Эта же идея вдохновляла Людовика Святого в Сен-Дени. До него короли, как и могущественные бароны, выбирали себе место последнего упокоения, руководствуясь личным благочестием, обычно предпочитая облагодетельствованные ими аббатства: к примеру, Сен-Жермен-де-Пре, Сент-Женевьев, Сен-Бенуа-сюр-Луар и в особенности — но не исключительно — Сен-Дени. Они следовали обычаям своего времени и в этом вопросе ничем не отличались от своих современников. Людовик Святой модифицировал эту часть традиции и придал королевским усыпальницам новое значение, сделав их наглядной иллюстрацией монархического мифа. Задуманный им грандиозный проект предполагал объединение в одном монументальном ансамбле разрозненных могил французских королей. Тем самым, с точки зрения королевской литургии, аббатство Сен-Дени приобрело особое назначение, симметричное функции Реймского собора. Последний выступал в качестве места коронаций, а первое — в качестве королевского некрополя.

Это объединение королевских гробниц не было продиктовано семейной гордостью, которая могла быть свойственна члену любого знатного рода. Речь шла о гораздо более важном религиозно-политическом замысле. Действительно, Людовик Святой не ограничился кровными предками; более того, даже оставил Филиппа I в Сен-Бенуа-сюр-Луар. И точка отсчета для него отнюдь не Гуго Капет: он аннексировал королей всех трех династий — говоря словами больших хроник, тех, кто из *родословной* Меровея, *рода* Пипина и *рода* Гуго Капета, — всех без различия покрыв голубой мантией с королевскими лилиями. Как и в Реймсе, он начал с первого помазанного короля, Хлодвиг, считающегося истинным прародителем, чья гробница, це-

ликом перенесенная в Сен-Дени, уже в эпоху Филиппа Августа была украшена его скульптурным изображением: такого рода реставрация свидетельствует о том, что с конца XII века существует настоящий культ королевских персон, причем именно в их королевской функции: это предвестие великого замысла Людовика Святого.

Но восстановление королевских гробниц в стиле эпохи — скорее исключение. Так, в мастерских Пьера де Монтрея, подрядчика Людовика Святого, было изготовлено шестнадцать статуй королей, правивших после Хлодвиги (с несколькими пропусками); предполагалось, что эту серию продолжат изображения королевских детей, перенесенные из аббатства Руаймон, любимого аббатства Людовика Святого, в котором он — до того как поменял обычай — похоронил своих сыновей. По мнению археологов, статуи Пьера де Монтрея должны были стоять вдоль колонн, образуя королевскую галерею, аналогичную той, что идет по внешней стороне Реймского собора (или, если взять более поздний пример, имеется в королевском дворце на о. Ситэ). Но в итоге они были уложены на пол; это усиливало ощущение преемственности, которую не могла прервать даже смерть, причем ни гибель отдельного человека, ни угасание династии. Действительно, смерть короля стала толчком к созданию отдельной литургии, симметричной коронационной, чей чин, по-видимому, также закрепился в эту эпоху.

Как бы то ни было, для нас важно, что, вступая в трансепт собора Сен-Дени, паломник проходил мимо этого каменного урока истории, будущей истории Франции, кратко представленной в череде королей и построенной по тому же педагогическому принципу, что Священная История, которой учили стены и витражи церквей... С этого момента к большой провиденциальной Истории добавляется еще один символический ракурс, история французских королей.

В ту же эпоху монахи Сен-Дени создают еще одну версию этой упрощенной до каменных и витражных формул истории, на сей раз не иконографическую, но литературную — «Большие французские хроники», первую Историю, последовательно разворачивающуюся в национальной плоскости, *первую Историю Франции*.

Часть «Хроник» от истоков вплоть до Филиппа Августа была по повелению Людовика Святого составлена (целиком на французском языке) монахом монастыря Сен-Дени по имени Примат; завершается она царствованием Филиппа Смелого, которому и посвящена.

На самом деле идея большой истории монархии была не чужда предшественникам Людовика Святого: по всей видимости, она созревала постепенно. Переделка гробниц Хлодвиг и Хильперика, затем перенесение их в Сен-Дени заставляют подозревать, что особый интерес к прошлому монархии существовал уже во второй половине XII века. Можно пойти еще дальше: не следует ли искать истоки королевского мифа Людовика Святого в деятельности аббата Сугерия, восстановителя Сен-Дени и одного из главных советников короны?

Сугерий — прежде всего автор жизнеописаний двух королей, Людовика VI и Людовика VII: оба, конечно, панегирики и написаны на латыни, но это первые средневековые исторические сочинения, которые не рискуют озадачить современного читателя-неспециалиста. Далее, согласно традиции XIV века, именно ему принадлежала идея свести вместе древние тексты, которые, будучи расставлены по порядку, составляют полную латиноязычную историю французской монархии. Эта компиляция хранится в библиотеке Мазарини, и рукопись может быть датирована приблизительно 1120—1130 годами. Это уже своего рода французская хроника, но еще составленная на латыни и лишенная систематического плана.

С другой стороны, благодаря Эмилю Малу мы знаем о личном влиянии Сугерия на средневековую иконографию. Оно было весьма значительным. Именно ему Маль приписывает «возрождение античной символики», то есть возврат к давно забытым иконографическим символам. А также изобретение таких новых иконографических тем, как древо Иессеево и коронование Девы Марии. Преданный слуга королевского семейства, сумевший вернуть утраченные религиозные символы и придумать новые, вполне мог стать создателем монархического мифа, который закрепляла как его собственная литературная деятельность, так и предписания, адресованные литературным мастерским аббатства. Постепенно Сен-Дени превратилось

в центр исторических исследований монархии. И после Сугерия там продолжали работать над официальными биографиями королей, составлявшимися по образцу его жизнеописания Людовика VI. Так, сперва Ригор, потом Гильом из Нанжи создают жизнеописания Филиппа Августа и Людовика Святого.

Тем не менее, если «Большие французские хроники» вдохновлялись старинными компиляциями и королевскими биографиями, которые они чаще всего просто перелагали с латыни на французский, их стиль и в особенности манера презентации были вполне новыми. В них настойчиво проводится та же идея, что в королевской иконографии Реймса и Сен-Дени: как в каменных или витражных композициях, они стремятся подчеркнуть непрерывный характер королевской власти и сделать это на народном, понятном всем языке.

Уже в первых строках хроники монах Примат прямо объявляет о своих намерениях: «Поскольку многие люди не ведают генеалогии королей Франции, от каких предков и родов они произошли, предпринял он сей труд по повелению человека, которому неможно и не должно отказать». Примат имеет в виду Людовика Святого: иначе говоря, это сочинение создано во имя утверждения легитимности французского королевского дома.

Поэтому состоит оно из череды царствований. Впервые в Истории Франции используется разбивка на эпохи правления, которая просуществует на протяжении более пяти веков и до сих пор не вполне исчезла из современных привычек и ходовых выражений. Очевидным образом, эта разбивка на царствования отвечает поставленной цели: перед нами «Роман о королях». Это справедливо как для Жуанвиля, так и для Примата:

*Philippe, roi de France, qui a tant est renomés,
Je te rens le roman qui des roys est romés*⁷⁴.

Во вступительном слове Примат объясняет свой план: «И поскольку было три династии французских королей с того времени, как они появились, то сия история поделена на три основные книги; в первой речь пойдет о родословной Меровея,

⁷⁴ «Филипп, преславный король Франции, / Тебе вручаю роман, который по-французски описывает королей» (франц.).

во второй — о роде Пипина, в третьей — о роде Гуго Капета. И каждая из этих книг будет поделена на различные книги в соответствии с жизнью и деяниями различных королей». В главе, посвященной основателю дома Капетингов, Примат вновь настаивает на преемственности и династической легитимности: «Тут оборвался род Карла Великого и королевство перешло к наследникам Гуго Великого, называемого Капетом... Но затем [этот род] был восстановлен во времена доброго короля Филиппа Богоданного [Августа], ибо он, дабы восстановить линию Карла Великого [отметим, что хронист постоянно настаивает на намерении Филиппа Августа путем брака утвердить законность своей династии. — Ф. А.], благоразумно взял в жены королеву Изабель, дочь графа Бодуэна де Эно», потомка Карла Простоватого, «посему со всей уверенностью можно сказать, что отважный король Людовик, сын Филиппа, был из рода Карла Великого, *который тем самым был восстановлен*. И его сыновья тоже, и святой человек Людовик, который умер во время осады Туниса, и ныне правящий король Филипп, и все его потомки, и роду этому не пресечься, свидетели тому Господь и господа из Сен-Дени».

Время от времени Примат отклоняется от своего плана, но это происходит от нехватки материалов, как в случае последних Каролингов и вплоть до прихода к власти Капетингов. Как известно, историография того времени — за исключением Нормандии — сводилась к локальным хроникам. Поэтому тут он прерывает выстраиваемую им последовательность, предлагая в качестве вставного эпизода перевод из нормандских историков: «Тут начинается история Роллона, которого затем именовали Робертом, и герцогов Нормандских, его потомков».

Среди королей Примат — так же как трудившиеся в Сен-Дени, Шартре и Реймсе каменотесы и витражисты или как создатели шансон де жест — отдает предпочтение Карлу Великому. «Здесь начинается жизнь и благородные деяния славного государя Карла Великого, записанные и частично исполненные рукой Эгинхарта, его капеллана, частично же школой Турпина, архиепископа Реймского, которые присутствовали при всех его деяниях». Примат равно ценит труд историка Эгинхарда, ценность которого безусловно признается современными спе-

циалистами, и авторов фантастического путешествия Карла Великого в Иерусалим. В целом монахам Сен-Дени было свойственно похвальное стремление отбирать достоверные источники и ограничивать средневековый вкус ко всему чудесному. Но Карл Великий оказался вне исторической критики, потому что его жизнь — жизнь праведника — принадлежала к сфере чудесного: то же самое позднее произошло с Людовиком Святым, который в XVII веке сделался святым покровителем королевской Франции.

Подчеркнем: королевской Франции, а не королевской семьи. Как в Реймсе или в Сен-Дени, речь в «Хрониках» идет не только о династическом, но о национальном и религиозном проекте. «И столь великую любовь и столь великое почитание получила христианская вера, что с того момента, как преклонилась она [Франция] перед своим Спасителем [крещение Хлодвига], возжелала она умножения веры более, нежели расширения земных владений». В провиденциальном плане у Франции и ее королевского дома есть свое призвание, поэтому Господь наш дал ей «преимущество и предпочтение над всеми прочими землями и над всеми прочими народами». «И ежели какой-либо народ причиняет Святой Церкви насилие и обиду, к Франции идет она со своими жалобами, во Франции ищет убежище и поддержку; из Франции на ее отмщение вздымаются мечи и шпаги, Франция, как преданная дочь, поддерживает мать свою во всех нуждах, и престол воздвигнут, дабы помогать ей и ее поддерживать». На Францию перенесена провиденциальная миссия Священной Империи: «Духовенство и рыцарство всегда пребывают в таком согласии, что одно не может без другого; всегда держатся вместе и, слава Богу, ни в чем не расходятся. В трех областях в разные времена бывало такое сожительство: сперва в Греции, ибо город Афины был кладезем философии, и во всей Греции процветало рыцарство. Из Греции оно перешло потом в Рим. А из Рима пришло во Францию».

Так разворачивается популярная королевская история, или, как именует ее одно издание XVI века, «море историй и французских хроник» («Хроники» сразу подверглись испытанию новой печатной техникой, и издание 1476 года — первая французская печатная книга).

С этого момента закрепляется определенный тип национальной и династической истории. Начиная с середины XIII века у нее появляется обратная (сеньориальная, антимонархическая) сторона, точно так же как в эпических поэмах доброму императору Карлу противопоставляется никчемный и вероломный король. И в том и в другом аспекте история продолжает эпическую традицию. Это хорошо видно по рассказам Реймского менестреля, которыми около 1260 года какой-то бродячий сказитель потешал «французское баронство» — еще одному типу исторического повествования, который тогда ассоциировался с эпическими поэмами. Рассказы выдаются за подлинную историю, но на самом деле это собрание красочных побасенок, в которых с неправдоподобной виртуозностью искажаются совсем недавние события. Так, Людовик VII изображен как узурпатор, помешавший своей супруге Элеоноре бежать с Саладином, который, в свой черед, превратился в благородного и рыцарственного героя. Людовик VII — «дурной король», поэтому он вынужден терпеть презрение Элеоноры: «Вы не стоите и гнилого яблока», — говорит она ему. Даже Людовик Святой не избегает панибратства. Этому романическому, анекдотическому жанру предстояла долгая жизнь, однако антироялистическая тема отступила перед растущим престижем французской монархии, вдохновлявшем и продолжение «Хроник».

Действительно, редакция Примата (1274) завершается концом правления Филиппа Августа. Вплоть до Иоанна Доброго ее официально пополняли монахи Сен-Дени. Ими двигало то же попечение о преемственности, благодаря которому в соборе Сен-Дени продолжали — если не вплоть до Революции, то до Бурбонов — возводить королевские гробницы, а во дворце на о. Ситэ скульптурное изображение правящего короля занимало свое место на одной из колонн зала, в общем ряду предшественников.

После Иоанна Доброго за составление «Хроник» в Сен-Дени отвечают уже не монахи; «Хроники» обмирщаются, тон их изменяется, и задуманная Людовиком Святым священная королевская история превращается в разновидность официального бюллетеня, оформление которого становится все более объективным и рассудительным. Государи XIV века начинают

смотреть на историю холодным, отстраненным взглядом, взглядом профессионалов. Мы знакомы с их — уже почти научным — образом мыслей благодаря письму короля Арагона от 8 августа 1375 года. Он рекомендует своему историографу обратиться к источникам, проводить разыскания в архивах и — новое попечение о полноте — все записывать *подробно*, до самых тривиальных деталей, не пропуская ни единого факта или имени. Это иная манера познания истории, характерная для Коммина и флорентийских хронистов, предвестников Макиавелли. К концу Средневековья история утрачивает свою трансцендентность и сакральную ценность, которая присуща провиденциальному времени, будь оно церковным или королевским. Она превращается либо в один из технических элементов искусства политики (предназначавшегося для правителей и государственных людей), либо в забавляющий легкомысленную публику красочный анекдотический рассказ.

Непосредственное восприятие времени сохраняет лишь привычку к делению на эпохи правления, столь же знакомую, как чередование религиозных праздников, и более конкретную, нежели астрономический календарь. Это было во времена короля такого-то...

От эпохи патристики до «Больших французских хроник» Сен-Дени все свидетельствует о той важности, которая придавалась времени и его измерению. Средневековый человек жил в истории — библейской, церковной, истории миропомазанных королей-чудотворцев. Но он не воспринимал прошлое как нечто мертвое, именно поэтому с трудом превращал его в объект познания. В те времена, когда право было основано на обычае, а легитимность — на наследственности, когда преданность считалась главной добродетелью, прошлое слишком непосредственно его затрагивало.

Глава V

Отношение к истории: XVII век

Образ мысли любителя истории начала XVII века представляет нам любопытная книжечка 1614 года «Способ чтения Истории». Ее автор, Рене де Люсенж, сьер дез Алим, отнюдь не был специалистом: «Я не намереваюсь читать наставления, но хочу просто сообщить свое мнение и показать, с какого края подошел, когда сам захотел узнать Историю».

Лет с двенадцати он начал читать рыцарские романы о Гуне Бордосском, четырех сыновьях Эмона, Петре Провансальском, Ожье Датчанине... Эти романы под общим названием «Синих сказок», «Синей библиотеки», «Кривых сказок», «Волчьих сказок» почти всю классическую эпоху продолжали находить читателей среди подростков, провинциалов и простонародья. У них были свои издатели, прежде всего семейство Удо из Труа. Даже Шаплен возьмется защищать Ланселота от рвения поборников древних⁷⁵. Лишь в XIX веке эти старинные рассказы окончательно погрузятся в забвение, не выдержав конкуренции с «Маленьким журналом» и «Железнодорожной библиотекой». Следует признать, что они продержались и так очень долго и что их совершенно средневековые герои были хорошо знакомы детям XVII и XVIII столетия.

Итак, наш Рене имел «докторскую степень по этой баснословной науке и «объял всех Амадисов». У него было ощущение, что он проник в самую глубь прошлого: «Мой уже укреплявшийся ум считал, что достиг вершины знания Истории. Эта химери-

⁷⁵ Подразумевается трактат Жана Шаплена «О чтении старых романов» (1647).

ческая наука о рыцарских доблестях полностью меня захватила, не оставляя ни малейшей воли ни днем ни ночью на то, чтобы думать и заниматься чем-либо другим: я поглощал их в два счета». Там были «любовные приключения, войны, придворное обхождение и рыцарские правила» — все то, что читатели еще долго будут искать в самых серьезных исторических книгах.

Так унаследованная от Средневековья популярная приключенческая литература стала истоком преданности истории. Этот феномен можно наблюдать и в конце столетия, на сей раз в случае одного из предтеч современного знания, Бернара де Монфокона. Еще ребенком он нашел в замке своего отца большой кожаный сундук, набитый книгами, за которые уже взялись крысы. Сундук принадлежал несколько эксцентричному родичу, который жил вместе с ними. В нем, пишет Монфокон, «я нашел огромное количество книг по истории, в особенности по истории Франции». Без сомнения, ворох рыцарских романов и старых хроник XVI века... Опыт Рене де Люсенжа, скорее всего, разделяли многие будущие читатели Мезере.

Но Рене де Люсенж не ограничился этой «химерической наукой», этой приключенческой литературой.

Вскоре он видит в ней лишь «ерунду» и именно тогда открывает для себя настоящую Историю. Что подразумевается под этим словом? Два жанра, обладавшие тогда разной степенью благородства: «древняя История», то есть Античность, и современная История — современная, конечно, для него, история его собственной эпохи. «Когда я отошел от всей этой ерунды, мне было невыносимо трудно взяться за древнюю Историю, *как священную, так и мирскую*, за историю греков и римлян». «В наших школах гремели тогда великие имена Метелла, Сципиона, Мария, Суллы, Цезаря, Помпея и наперед них Горация и Сцевола — всех тех, кого их история возносит до небес, начиная с Ромула, ее основателя». Иначе говоря, История образца коллежа — та, которой «учат наставники», священная и древняя, рассматриваемая как нечто законченное, не имевшее продолжения, не преодолевшее преграду великих нашествий. В 1687 году Лонжпьер в своей «Речи о Древних» писал: «Когда варвары, более пагубные (ежели позволено так сказать) гибелью стольких великолепных трудов, нежели своей прославленной жесто-

костью, наводнили мир и сокровища... оказались погребены под руинами Империи... или рассеяны... варварство хлынуло с неуправляемым натиском потока, более не сдерживаемого дамбами; Запад в особенности, более других испытывавший ярость этих диких народов, вдруг оказался окутан непроницаемым мраком грубости и невежества, который продлился вплоть до того, как вновь не были обретены те же Древние», благодаря бежавшим из Константинополя грекам и семейству Медичи.

Таким образом, время как бы сгущается вокруг двух привилегированных периодов, библейской и классической древности, а все прочее погружается в некое историческое небытие. Это видение прямо противоположно современному. Сегодня История подразумевает не существовавшее в XVII веке сознание преемственности. Дело было даже не в разломе, отделившем Античность от последующих эпох: за скобки выносилось все Средневековье, так что XVII век представлял себя непосредственно связанным, как бы поверх готической эпохи, с похожей на него Античностью. «Восемьдесят лет назад, — писал Фюстель де Куланж, — Франция восторгалась греками и римлянами и считала, что знает их историю. С детства, с коллежа нас воспитывают якобы на греческой и римской истории, написанной такими людьми, как старый добрый Роллен, которая имела столько же сходства с настоящей историей, сколько роман — с истиной [на наш взгляд, даже меньше. — Ф. А.]. Поэтому считалось, что в древних городах все люди были добродетельны... и управление было простым». Так формировалось предвзятое мнение, наделявшее древние народы ментальными привычками современных обществ: «В силу особенностей нашей системы воспитания, которая уже с детства переносит нас в среду греков и римлян, мы привыкаем непрестанно сравнивать их с нами, судя их историю нашей историей и объясняя наши перевероты их переверотами. То, что нами получено от них, и то, что они нам завещали, заставляет нас поверить в существование большого сходства между ними и нами; нам очень затруднительно увидеть их инаковость — почти всегда мы видим в них себя»⁷⁶.

⁷⁶ Куланж де Н. Древний город // Классики мирового религиоведения. Антология. М.: Канон+, 1996. С. 327.

Нет сомнения, что именно такая концепция Истории владела в гуманистическом куррикулуме коллежей, если оставить в стороне отдельные инициативы Оратории и Пор-Руаяля. К истории обращались лишь при истолковании древних текстов. Роллен первым начал ратовать за систематическое и отдельное преподавание Истории, которое, несмотря на более широкие замыслы реформатора, ограничилось древней и римской историей. Тем не менее, говоря о Старом порядке, было бы ошибкой смешивать программы коллежей и светскую культуру образованного общества. Ученая история ограничивалась Библией и Античностью, но была и другая история, которая, хотя ее не преподавали в школе, играла важную роль в сознании людей XVII века, и Рене де Люсенж отнюдь не сбрасывал ее со счетов.

Рядом с Историей, которой «учат наставники», он ставит Историю, на которую «я набрел случайно, читая книги». Она затрагивала весь спектр интересов того времени: от католических королей, основателей испанского единства, изобретения компаса, сделавшего возможным далекие плавания и Великие географические открытия, до беспокойного и все еще близкого периода религиозных войн... Рядом со школьной историей существовала история Франции, история родного города, генеалогия семей. Тот же Роллен, справедливо считающийся одним из организаторов классического образования, без каких-либо колебаний писал: «Основы этого обучения (современной Истории) надо закладывать с самого детства, и я хотел бы, чтобы каждый сеньор хорошо знал историю своей семьи и чтобы каждый работник лучше знал историю своей провинции, своего города, чем всю прочую». Изучение современной истории культивировалось, еще не став частью формального образования.

История, на которую человек XVII века мог «набраться случайно, читая книги», — это История Франции. В 1609 году Удо (то самое семейство издателей из Труа, специализировавшееся на народной литературе) выпустили в свет «Краткую историю Франции», которую разносчики продавали наряду с «Синими сказками», рыцарскими романами и житиями святых.

Ораторианцы Труа использовали ее в качестве начального учебного пособия по истории от Фарамона до Генриха III. История Франции — не ученый и не литературный, но традиционный жанр с четко установленными правилами и достаточно многочисленной читательской публикой, мало менявшийся с XV по XIX век.

Действительно, несмотря на стилистические различия и расхождения в интерпретации фактов, все эти книги точно-точно воспроизводят «Большие французские хроники», добавляя к ним более недавние истории. Наблюдение Анри Озе по поводу XVI века совершенно справедливо вплоть до Мишле: «Событие, если оно однажды точно описано, ничего не выигрывает, если описать его в других терминах, и его бесполезно изучать заново». Таким образом, история составляется *продолжателями*. Сперва они просто берут и продолжают большие хроники, окончательно закрепившие разбивку на царствования. Так, на заре книгопечатания, в 1497 году, Робер Гаген издает «Море хроник и историческое зеркало Франции». Двадцатью годами позже «Хроники и анналы Франции со времени разрушения Труа» продолжены вплоть до Людовика XI. Печатаются также и сокращенные варианты. Так, в 1550 году Жан дю Тилле выпускает «Хронику французских королей» с подзаголовком: «Краткое повествование о памятных делах и фактах, происшедших со времен Фарамона I, первого короля Франции, как во Франции, Испании, Англии, так и в Нормандии, согласно порядку времен и летоисчислению, ясно продолженное вплоть до 1556 года».

Даже в середине XVIII века процедура оставалась более или менее неизменной. Как в XV или в XVI веках, история была делом продолжателей. Так, в 1740 году аббат Велли принял за «Историю Франции», которая после его смерти была продолжена Вилларе, затем, в 1770 году, профессором Королевского коллежа Гарнье: от Людовика XI он дошел до 1564 года и остановился, не совладав со сложностью эпохи религиозных войн. В 1819 году история аббата Велли снова вышла под именем первого из своих авторов, но издатель, Фантен-Дезодар, указал на титульном листе, что она была

«тщательно пересмотрена и исправлена»⁷⁷. На самом деле он ее полностью переписал, фактически следуя за изданием 1740—1770 годов, но полностью изменив дух оригинала (ниже мы увидим несколько примеров того, как это было сделано). Тем не менее он предпочел представить свою работу не как оригинальный текст (что было возможно), но как продолжение труда аббата Велли: точно так же ранние авторы XVI века прятались за «Большими французскими хрониками». В 1805 году Анкетиль безо всякого стыда признается, что его «История Франции» представляет собой компиляцию: «Я взял в качестве проводников четырех главных историков, Дюплеи, Мезере, Даниэля и Велли. Сперва я проделал рекогносцировку и убедился, что этими четырьмя авторами не было забыто ничего, что представляет интерес с точки зрения Истории Франции, или, по крайней мере, если один из них что-то пропускает, то другой восполняет, и что они более чем заслужили свой авторитет, а потому указать на полях их имя — все равно что представить доказательство». «Когда я брался за тот или иной сюжет, то смотрел, у кого из четырех он лучше представлен, и выбирал его в качестве основы собственного повествования; затем я добавлял к нему из оставшихся трех все то, чего, как мне кажется, недоставало избранному рассказу»⁷⁸. Эта любопытная и столь долго просуществовавшая метода объясняется привязанностью публики к традиционной версии изложения событий, которую допустимо и даже необходимо приукрашать в соответствии с современными вкусами, ничего не меняя в ранее закрепленной канве. Ибо история есть изложение фактов. Фюретьер в своем словаре

⁷⁷ Фантен-Дезодор несколько раз изменял титул своего варианта Истории Франции; так, в более раннем издании 1808 г. он относит себя к категории продолжателей: «История Франции, начатая Велли, продолженная Вилларе, затем Гарнье вплоть до середины XVI века и завершенная Ант. Фантен-Дезодором от рождения Генриха IV вплоть до смерти Людовика XVI» (Paris: Fantin, 1808—1810).

⁷⁸ *Anquetil L.-P. Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la fin de la monarchie*. 5e éd. rev. et corr. Paris: Ledentu, 1825. P. xxx.

дал ей такое определение: «Рассказ, составленный с искусством: выдержанное, последовательное и правдивое описание, повествование о самых памятных фактах и знаменитейших деяниях»⁷⁹. Здесь опять-таки даже не допускается необходимость задним числом что-либо добавлять к рассказам более ранних повествователей или переделывать их.

У этой истории Франции есть свои классики, переиздаваемые на протяжении столетия после их публикации. В XVI веке это «Большие французские хроники» в версии Николя Жиля (издания 1510, 1520, 1527, 1544, 1551, 1562, 1617, 1621 гг.). Затем подражатель Тита-Ливия Паоло Эмилий, переделавший на античный лад архаическое повествование «Хроник» (издания 1517, 1539, 1544, 1548, 1550, 1554, 1555, 1556, 1569, 1577, 1581, 1601 гг.)⁸⁰. В XVII веке наиболее читаемым историком, бесспорно, был Мезере. Его большая «История» вышла в 1643 году и шесть раз переиздавалась вплоть до 1712 года, когда ее заменила «История» отца Даниэля, также выдержавшая шесть переизданий между 1696 и 1755 гг. Но Мезере выпала честь быть дважды переизданным в XIX веке, в 1830 и 1839 годах, несмотря на то, что в 1830 году в свет вышла «История Франции» Мишле, а в 1833 году — одноименный труд Анри Мартена. Это показывает, сколь популярен был этот старинный, сейчас совершенно забытый автор в мелкобуржуазной и провинциальной ремесленной среде.

⁷⁹ *Furetière A. Dictionnaire Universel, Contenant generalement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts. T. 1. Rotterdam, 1690* (статья «Histoire»).

⁸⁰ Если верить каталогу Национальной библиотеки, это неполный список изданий Жиля и Паоло Эмилия. Так, «Анналы» Жиля выходили еще в 1525 г. (*Les très élégantes, très véridiques et copieuses Annales... compilées par Nicole Gilles jusqu'au temps de très prudent et victorieux roy Loys unzieme et depuis additionnées selon les modernes hystoriens jusques en l'an mil cinq cens et vingt. Paris: Anthoine Couteau pour Galliot Du Pré, 1525*), а список изданий Паоло Эмилия можно пополнить еще публикацией 1565 г. (*Pauli Aemylii Veronensis historici clariss. De rebus gestis Francorum libri X. Lutetiae Parisiorum: ex officina Vascosani, 1565*).

После Мезере и отца Даниэля читательская аудитория второй половины XVIII — начала XIX века была поделена между аббатом Велли, аббатом Мило и Анкетилем. Наполеон в 1808 году говорил, что «Велли — единственный автор, кто хоть сколько-нибудь подробно писал об Истории Франции». «Его Величество приказало министру полиции обеспечить продолжение Мило»⁸¹. В предисловии 1835 года к своей книге «Десять лет исторических изысканий» Огюстен Тьерри подчеркивает, сколь устойчивой оказалось популярность историков XVIII века, даже несмотря на начавшуюся с Шатобриана романтическую реакцию: «Если господа Гизо, де Сисмонди и де Барант и нашли восторженных читателей, то преимущество Велли и Анкетилия заключается в их гораздо более многочисленной клиентуре»⁸².

Таким образом, с XVI века по 1830 год поколение за поколением без отворачивания знакомилось с одним и тем же монотонным повествованием, по сути закрепленным раз и навсегда, чьи варианты отличались друг от друга лишь стилистически и риторически, а еще теми добавлениями, которые касались событий, произошедших со времени окончания предшествующей версии, и которые точно так же копировались следующим компилятором. Живучесть этого жанра поразительна: на протяжении трех веков он остается равен самому себе и не престаёт процветать. Это столь же значимый феномен, как кристаллизация классицизма вокруг сакральной и профанной древности; два этих противоположных аспекта были в равной мере характерны для той эпохи, и, помимо всего прочего, сосуществовали — хотя и на разных уровнях — в головах одних и тех же людей: такое двоемыслие напоминает о пресловутой сложности ментальности Старого порядка. По отношению к Истории классические эпохи занимают позицию, которую нельзя назвать ни отречением, ни критическим исследованием источников, ни путешествием во вре-

⁸¹ Обе цитаты — из записки Наполеона, датированной 12 апреля 1808 г. и предназначенной для министра внутренних дел Крете.

⁸² *Thierry A. Dix ans d'études historiques*. Neuvième éd. Paris: Furne & Co, 1851. P. 20–21.

мени, ни страстью к открытиям. Это нечто иное, с трудом поддающееся представлению, нравящееся именно в силу банальности и повторов, хотя и одетое по последней моде. Попробуем взглянуть на нее поближе.

В нашем распоряжении имеется небольшой трактат «К истории французской монархии»⁸³, принадлежащий перу Шарля Сореля, автора «Франсиона», который наряду с чуть более старшими Ноэлем дю Файлем и Теофилом де Вио был одним из зачинателей реалистического романа. От своего дяди он унаследовал должность королевского историографа, но ему была присуща интеллектуальная независимость и смелость, из-за которых ему не раз приходилось исключать из своих романов и истории все то, что могло не понравиться двору. Его мнение об истории напрочь лишено официального конформизма, и именно в этом его интерес.

Сорель начинает с сожалений по поводу того, что мало кто в нынешнее время интересуется Историей Франции: откровенно говоря, это одно из историографических общих мест. Но здесь речь о том, что конкуренцию Истории Франции составляют Древние: «Когда-то я дивился тому, как мало ценится История Франции, причем в своей собственной стране. Образованные люди скорее знают число римских консулов и императоров, нежели наших королей». Как мы знаем, это не вполне справедливо, или, по крайней мере, справедливо лишь по отношению к тем утонченным умам, чьим противником был тогда Сорель. Кроме того, слишком многие зачитываются «неправдоподобными книгами», рыцарскими романами. Тем не менее Сорель не сомневается, что, благодаря этим романам, у некоторых его соотечественников появился вкус к Истории Франции.

Но вот в чем суть: если так «мало людей, знающих Историю Франции», то это «потому, что по ней нет книг»; прежних авторов невозможно читать, они «писали как будто наперекор музам», «наваливая все, что обнаружили в разных местах». Уже в 1571 году дю Эйан в предисловии к своему трактату по исто-

⁸³ Вышел в 1628 г.

рии французских институтов⁸⁴ претендовал на то, что первым начал писать правильно: до него лишь «грубые груды историй Мартина Турского и св. Дионисия и хроники Хильдебранта, Сигиберта...» Это классицистическое требование языкового благородства присутствует даже у автора «Франсиона»: в старых книгах «встречаются столь низкие и грязные слова, что, как мне думается, с их помощью можно выражать лишь мысли всякого сброда и негодяев, а не королей и добропорядочных людей». Его предшественники, прямые восприемники «Больших французских хроник» (о которых он не говорит), «не обладали ни красноречием, ни силой суждения. Писали они в столь варварской манере...» Продолжать их — ошибка, лучше составить новый труд. Действительно, в этот момент возникла потребность освежить хронистов, и к 1620—1630-м годам их перестают переиздавать. Не стоит делать вывод, что происходит коренное изменение в структуре Истории: хроники по-прежнему остаются основным источником, их лишь очищают от слишком «низких» анекдотов и переодевают по современной моде, чтобы продолжать бесконечно пользоваться этой обновленной моделью. Именно такова программа Сореля, представленная после критического разбора предшественников. Надо отказаться от слишком неправдоподобных выдумок, как, например, троянское происхождение франков или королевство Ивето⁸⁵. Но эти легенды продолжают присутствовать, несмотря на классицистический рационализм и контрреформационный пуризм. Мезере перескажет историю Ивето, потому что это приятная сказочка «в духе Ослиной Шкуры...» Ему достаточно будет добавить: «Тем не менее, если вы захотите узнать

⁸⁴ Трудно сказать, какой именно труд здесь имеет в виду Арьес. В 1571 г. дю Эйан стал историографом Карла IX и в связи с этим опубликовал два текста: *Du Haillan. De la fortune et vertu de la France; ensemble un sommaire discours sur le dessein de l'histoire de France*. Paris: L'Huillier, 1571; *Du Haillan. Promesse et desseing de l'histoire de France*. [Paris]: P. L'Huillier, 1571.

⁸⁵ По легенде, Хлотарь I убил в церкви некоего Готье, сеньора Ивето (Верхняя Нормандия), и в искупление этого греха дал его наследникам титул королей (отсюда «король Ивето»).

мое мнение, в этой побасенке столько противоречий по части правдоподобия и хронологии, что я с легким сердцем возвращаю ее обратно тем, от кого она пришла». Тем не менее он ее пересказывает. Итак, отделаться от легенд, особенно если они связаны с якобы чудесными происшествиями. Речь идет не о том, чтобы вообще отказаться от сверхъестественного: «те, в которых есть доля вероятности» следует оставить, *«если они поучительны»*. О прочих лучше умолчать: «Ничто не делает чудесные происшествия столь достойными презрения, как слишком частая их выдумка». В этом случае историк остается «язычником во Христе».

Далее это очищенное от паразитических наростов повествование будет одето на современный лад, и из него будут изъяты утяжеляющие стиль хронологические указания: «Я нахожу малоприятным говорить по поводу каждого события, что оно произошло в таком-то году, в таком-то месяце»; те, кого интересуют даты, должны «подождать, пока я составлю хронологическую таблицу».

Не следует затруднять себя и слишком специфическими деталями или проблемами публичного права или историей институтов: ничего этого у Древних нет. «Невозможно среди всех этих споров придать повествованию элегантность и приятный стиль. Если бы Древним пришлось этим заниматься, они не оставили бы нам столько превосходных шедевров. Они не спорили о происхождении титулов [отсылка к активно ведущимся на протяжении XVI века дискуссиям по поводу пэрства и парламентских палат, в которых надеялись отыскать принципы ограниченной монархии, контролируемой высшими должностными лицами. — Ф. А.]; их не волновало, обладала ли та или иная провинция суверенностью, или же это было герцогство, принадлежащее короне... Они не ведали, какие владения у них являются феодами, какие — субфеодами или внесеньоральными владениями, а ежели и ведали, то историки не тратили время на их длинные определения». Действительно, в историографии XVII века нет ничего по поводу истории институтов, тогда как авторы XVI столетия ими чрезвычайно интересовались: остается только рассказ о событиях.

Согласно Сорелю, следует воздержаться от обращения к источникам и дословных цитат из оригинальных текстов.

«Я не желаю этих варварских речей, которые авторы воспроизводят слово в слово — так, как это делают наши историки в старинных манускриптах. Я извлеку из них суть, чтобы составить речь на нынешний манер», то есть в подражание Титу Ливию. Позднее отец Даниэль, выступавший против этого типа ораторской истории, признает необходимость приводить ссылки и обращаться к источникам: «Цитирование манускриптов делает честь автору», — соглашается он, но тут же добавляет, что обращение к оригиналам полезно отнюдь не всегда: «Я видел их [манускриптов] достаточно много. Но, честно говоря, чтение их стоило мне большого труда и дало мало преимуществ». Древние тексты касаются слишком частных вопросов, чтобы быть включенными во всеобщую Историю, которая преданно сохраняет структуру «Хроник» и их продолжений.

Итак, XVII век печется о стилистическом благородстве. Мезере так и не сможет его освоить, поэтому вернется к более сочной и обиходной речи. За это его будет упрекать отец Даниэль: «Когда бы Мезере имел представление о подобающем Истории достоинстве и благородстве, то он бы избавил свою от прибауток, пословиц, дурных шуток, многочисленных низких выражений и разговорного стиля».

Сорель походя признавал, что его метод вызывает возражения у части читателей «Истории Франции»: «Какой-нибудь экстравагантный ум возразит мне, что предпочтет пользоваться имеющимися у нас всеобщими Историями [старинными хрониками и их продолжениями XVI века. — Ф. А.] и что ему нравится находить там всякие частности». Сорель на этом не задерживается, но для нас это чрезвычайно важное замечание, поскольку оно свидетельствует о существовании публики, в меньшей степени, нежели Сорель, одержимой вкусовым благородством, которая любит отыскивать у старинных авторов подробности минувших эпох.

Можно спросить, почему Сорель прилагает столько усилий, чтобы перекроить Историю Франции на античный лад? Потому что дело того стоит: «Наши древние короли не оставили нам такого множества мудрых речений, как греки и римляне», но их поразительные подвиги «стоят более слов».

История Франции — патриотическое дело: слово «патриотизм» здесь, конечно, анахронистично, но его смысл уже присутствует в культуре. Сорель собирается реабилитировать королей, пострадавших от рук его предшественников: без сомнения, наши древнейшие властители были не чужды «варварства германцев, их предков». «Но добродетель последних способна смыть это пятно, и, в любом случае, не следует представлять их как можно более дурными. Историка должно притягивать скорее добро, нежели зло, и хотя он обязан без лукавства рассказывать о дурных свойствах государей, гораздо больше удовольствия ему должно доставлять описание добрых, ибо они служат нам примером». «Осудив большинство наших королей, наши историки вполне проявили отсутствие разумной сдержанности». Они утверждали, что Хлодвиг был кровожаден, а Дагоберт — труслив. «Я также не выношу нахальство тех, кто перед рассказом о Хлодвиге Втором и его восприемниках ставят заголовок: „короли-бездельники“». «При этом я согласен, что эти короли заслуживают порицания за то, что совершенно не разбирались в делах, но из этого не следует, что наша История должна выглядеть нелепой и что стоит использовать старинное прозвище „бездельники“, да еще заглавными литерами, как будто бы хвастаясь». Цель Истории Франции — прославление Франции и ее королей. Как можно заметить, Сорель обходит молчанием те нравственные и политические уроки, которые можно из нее извлечь, хотя интерес к ним, осязаемый уже в XVI столетии, вполне утвердился к концу XVII, чтобы достигнуть своего апогея в XVIII веке. Для Фюретьера «история есть мораль, облеченная в примеры и действия... В истории, как в зеркале, следует являть людям отражение их заблуждений».

История Франции во времена Сореля была прежде всего патриотической; еще до него Этьен Паскье стремился показать, «какова была древность нашей Франции, и позволить к ней прикоснуться»⁸⁶. Дю Эйан «в своем труде не стал тратить вре-

⁸⁶ *Pasquier É.* Les Recherches de la France d'Estienne Pasquier, augmentées en ceste dernière édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la bibliothèque de l'auteur. Paris: L. Sonnius, 1621. P. 2.

мя на описание Истории Франции на всем ее протяжении, решив изложить лишь образ действий и поступки наших королей в вопросах религии, правосудия и управления».

Среди современников Сореля можно найти и ностальгию по «старым добрым временам». Патен говорит о «старом добром Людовике Святом» и что «их [наших предков] поступки дышали евангельскими заповедями». С тех пор все переменилось, «и вот в кого мы превратились». И отец Гарасс в 1624 году без всяких колебаний писал: «Нынешние времена... действительно более богаты благовоспитанными умами, нежели прошлые бедственные века, но эти умы слишком подвижны и ненадежны по сравнению с *добрыми старыми галлами*, которые брались за дело грубовато, но зато их решения были более крепкими и не столь разрушительными, как наши»⁸⁷. А Теофиль де Вио оплакивал прошлогодний снег:

Nos Princes autrefois etaient bien plus hardis.

*Où se cachent aujourd'hui les verus de jadis?*⁸⁸

Поэтому, согласно Габриелю Ноде, нельзя лишать страну «самых примечательных чудес монархии». В силу этих же причин иезуит Лабб позднее возьмется за греческие корни Ланселота: французский язык происходит от латыни и нижне-немецкого диалекта. Эллинизм Ланселота исказил бы язык, «который предки нам передавали из рук в руки на протяжении двенадцати или тринадцати веков»⁸⁹.

История Франции соответствует той особой форме патриотизма, которая была свойственна Старому порядку.

⁸⁷ *Garasse F.* La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendus tels contenant plusieurs maximes pernicieuses à la religion, à l'Estat, & aux bonnes moeurs, combattue et renversée par le P. François Garassus. Paris: S. Chapelet, 1624.

⁸⁸ «Наши прежние государи были намного храбрей. / Где теперь скрываются бывшие добродетели?» (*франц.*)

⁸⁹ По-видимому, речь идет о книге: *Les Étymologies de plusieurs mots françois, contre les abus de la secte des hellénistes du Port-Royal, sixiesme partie des Racines de la langue grecque du R. P. Philippe Labbe.* Paris: G. et S. Bénard, 1661.

Наши старинные историки оставили после себя толстые, тяжелые тома, вид которых обескураживает современного читателя, ставшего безразличным к истории королей. Для того чтобы дать представлении об их манере изложения — и, одновременно, о взаимных заимствованиях и отклонениях друг от друга, — мы отобрали несколько эпизодов, которые позволят нам показать, как на протяжении веков к ним подходили и их обрабатывали различные авторы.

Приключение Хильдерика, отца Хлодвиг

Первоисточником рассказа является Григорий Турский: Хильдерик «отличался чрезмерной распущенностью» [nimia in luxuria dissolutus] и совращал дочерей франков. Выведенные из терпения франки изгнали его и лишили власти. Он укрылся в Тюрингии, оставив на родине верного человека, который через некоторое время послал ему половину золотого слитка, вторая часть которого была у Хильдерика: это был условленный знак, что можно возвращаться. И тогда жена короля Тюрингии оставила своего мужа и последовала за Хильдериком: «Когда Хильдерик, озабоченный этим, спросил о причине ее прихода из такой далекой страны, говорят, она ответила: „Я знаю твои доблести, знаю, что ты очень храбр, поэтому я и пришла к тебе, чтобы остаться с тобой. Если бы я узнала, что есть в заморских краях человек, достойнее тебя, я сделала бы все, чтобы с ним соединить свою жизнь“» (II:12). Ни слова о двойном предательстве жены по отношению к мужу и гостя по отношению к хозяину: Григорий Турский не придирается к пустякам.

Таков исходный рассказ, пришедшийся по вкусу нашим старым историкам, и вот во что он превратился, прежде всего в «Больших хрониках Сен-Дени». Теперь эпизод вписан в рамки феодальных и рыцарских нравов.

«Ненавидели его бароны за те подлости и позор, который он им причинял, ибо он силой брал их дочерей и жен, когда они были ему по нраву, дабы ублажить свою плоть; по сей причине изгнан он был из королевства, ибо невозможно было более выносить обиды, причиненные его необузданным сластолюбием».

Король Тюрингии Бизин «принял его со всей добротой и окружил почетом на протяжении всего изгнания». Но Хиль-

дери́к оставил в своих краях друга: «Никто не бывает столь ненавидим, чтобы не иметь друзей». Этот друг воспользовался недовольством баронов, которых не устраивал преемник Хильдерика римлянин Эгидий, чтобы со всем красноречием напомнить им о «вашем истинном, прирожденном сеньоре». Изгнав его, «вы подчинились горделивому чужестранцу» [римлянин теперь чужестранец: этой детали нет у Григория Турского. — Ф. А.]. «Воистину тяжко, что не могли вы стерпеть сластолюбие одного человека и стерпите потерю стольких благородных принцев». Благодаря этому вмешательству торжествует легитимность и Хильдерик возвращается, оповещенный присылкой половины слитка. Когда Базина, жена Бизина, «узнала, что Хильдерик примирился с баронами и принят в своем королевстве, она оставила своего господина и последовала за Хильдериком во Францию, ибо, как говорили, он спознался с ней, когда пребывал у ее супруга». Король «взял ее в жены, как это делают язычники, каковым он и был, и даже не подумал ни о бесчестии, ни о тех благодеяниях, которые видел от Бизина, ее первого мужа, когда бежал из Франции».

Но Базина оказалась немного колдуньей. В первую ночь она «предупредила его [своего мужа], чтобы сей ночью он воздержался касаться ее, и показала ему сперва леопардов и львов: «первых наследников, которые от нас произойдут, исполненные благородной силы и отваги»; затем медведей, символизирующих второе поколение, «грабительское» подобно медведям; и, наконец, шакалов — третье поколение — «животных трусливых и лишенных каких-либо добродетелей».

В 1571 году эта история в пересказе дю Эйана лишается эпизода с Базиной и ее видениями и обретает большой морализм. «Получив назад свои владения, Хильдерик припомнил свою прошлую жизнь и те беды, которые его постигли из-за чрезмерной приверженности к разврату. Это сделало его столь рассудительным и осторожным, что с тех пор он заботился лишь о том, чтобы своей отвагой, мудростью и справедливостью стать любезным французам и добродетелями залечить раны, нанесенные его первоначальной дурной славой и несчастливой судьбой». В больших хрониках рассказ Григория Турского был пополнен романскими обстоятельствами и глоссой

в пользу династического легитимизма. В конце XVI века эпизод завершается нравственным уроком: обращением государя, о котором нет речи ни в «Хрониках», ни у Григория Турского.

В свой черед Мезере дословно воспроизводит рассказ своих предшественников, добавляя к нему упоминание о налоговой системе Хильдерика (веяние времени). История Хильдерика и Базины хорошо иллюстрирует свойственную Мезере сочную манеру изложения.

Хильдерик — не только распутник, это еще и король-транжира, разоряющий свой народ: «Его неумеренные развлечения и грязные приспешники вскоре поглотили больше денег, нежели расходы, надобные для ведения длительной войны». Государь «сперва вывернул кошельки народа, затем принялся за более тщательно оберегаемые сундуки. *Сеньоры не слишком ощутили бремя этих налогов, которое обычно несет простонародье* [один из первых примеров полемического использования истории для обоснования политических и социальных требований. — Ф. А.], но он ожесточил их другими, более чувствительными обидами. Ибо нет более тяжких оскорблений, чем те, которые затрагивают честь, и из них наиболее насущное, *по крайней мере с точки зрения мужчин* [Мезере явно забавляется. — Ф. А.], это посягнуть на их жен». «Генеральные штаты» [совершеннейший анахронизм, на сей раз невольный. — Ф. А.] после долгих речей на благородный лад лишают его власти: «Свидетель мне славный дух Меровея». Меровея уже не мог признать Хильдерика своим сыном!

Рассказ разворачивается традиционным образом. Речь друга Хильдерика теперь выглядит так: «Какое безумие изгнать короля, вашего законного государя, чтобы поставить на его место чужестранного тирана». «Государь, *несколько влюбчивый* в силу вольности своего положения и бурления молодости, которое утихнет, не предпочтительней ли палача... Я вам обещаю, он станет добрым государем: возраст и изгнание притушили его горячку».

В Тюрингии Хильдерик, будучи «влюбчивого нрава и приятного обращения с дамами [опасный распутник превратился в нетребовательного галантного кавалера. — Ф. А.] приобрел расположение Базины, супруги Бизина»; Мезере заканчивает

приездом Базины во Францию и тремя видениями Хильдерика, которые отнюдь не забыты.

В своей «Краткой Истории Франции от Фарамона» (все еще переиздававшейся в 1821 году) ученый и суровый Боссюэ отнюдь не пасует перед Историей Хильдерика, но принимает ее такой, какой она к нему приходит.

Хильдерик был «государь, прекрасный телом и умом, отважный и умелый, но у него был один тяжкий недостаток: он был привержен любви к женщинам вплоть до того, что брал их силой, и даже [отягчающее для Боссюэ обстоятельство. — Ф. А.] *благородных дам*, чем вызвал ненависть всего света». Надо признать, что, без серьезных изменений в уже закрепившемся изложении событий, Хильдерик предстает более человечным. Но Боссюэ суров в вопросе с Базиной: «Базина, супруга короля Тюрингии, последовала за ним во Францию, и он женился на ней, не тревожась ни о брачных законах, ни о верности, которую он был должен хранить по отношению к приютившему его королю». Анекдот о видениях пропущен.

Тон резко меняется в 1696 году у отца Даниэля. Уже Сорель высказывал некоторые сомнения, а отец Даниэль в двух ученых трактатах, которые предваряют его историю, без всяких колебаний отрицает «химерическое свержение Хильдерика, отца Хлодвига». «Все здесь слишком причудливо и, без сомнения, похоже на роман». Но несмотря на научность его доводов, отцом Даниэлем движет отнюдь не только дух критики: свержение Хильдерика неприятно с точки зрения идеи легитимности, которой историк посвящает много времени и сил. Так, он защищает Гуго Капета от обвинений в узурпации власти. Пипин Короткий — да, это еще можно доказать. Но не Гуго Капет: Карл Простоватый родился от брака, «который в Риме не считался законным».

По правде говоря, галантная история Хильдерика легко пережила нападки отца Даниэля. В большой «Истории» аббата Велли и его продолжателей, продолжавшей сохранять авторитет вплоть до начала XIX века, она возвращается как ни в чем не бывало: «Он был сложен лучше, чем кто-либо в королевстве [таким его уже видел Боссюэ. — Ф. А.], умен, отважен, но, будучи от природы наделен нежным сердцем, слишком предавался

любви, и это стало причиной его падения. Франкские сеньоры, столь же чувствительные к обиде, как их жены были чувствительны к обаянию этого государя, объединились, чтобы свергнуть его с престола. Вынужденный уступить пред их исступлением, он укрылся в Германии, где наглядно доказал, что невзгоды редко исправляют сердечные недостатки: там он соблазнил Базину, супругу короля Тюрингии, предоставившего ему кров и дружбу». Был избран другой монарх. «Незаконные поборы правящего монарха напомнили об изгнанном государе... законному властителю был возвращен трон, с которого он был свергнут из-за своих любовных походов». За этим необычайным происшествием последовало другое, примечательное своей уникальностью. Королева Тюрингии, как новая Елена, оставила своего супруга, чтобы последовать за новым Парисом... «Базина была хороша собой и умна. Хильдерик, будучи слишком чувствителен к этому двойному дару природы, женился на ней, приведя в сильное негодование всех порядочных людей, которые тщетно зывали к священным правам Гименея и нерушимым законам дружбы. От этого брака родился великий Хлодвиг».

Посвященный древности первый том аббата Велли вышел в 1755 году. В конце XVIII столетия историки отказываются от сюжета с Хильдериком. Так, в 1768 году «бывший иезуит» аббат Мило просто проигнорировал всех предшественников Хлодвига, вместо этого добавив к традиционному повествованию несколько слов о галлах: «Поскольку их смешение с франками дало начало французской нации, это наши *прародители*, и нам следует их знать»: галлы — наши предки.

Однако молчание аббата Мило — не более чем временный перерыв, его восприемники XIX века гораздо более консервативны. Так, Анкетиль в 1809 году возвращается к эпизоду с Хильдериком I, причем вполне в духе предшествующей традиции. Он защищает Хильдерика от обвинений в причастности к убийству свергнувшего его узурпатора: «Как представляется, его великодушный характер был чужд подобного преступления, а молчание на этот счет авторов дает право сделать вывод, что он никак не отомстил тем, кто лишил его трона».

Анкетиль рисует сцену прибытия Базины ко двору Хильдерика: «Французский государь не мог не выказать некоторого

удивления по поводу ее поспешности». Однако успех у женщин не вредил его славе: «Так он обрел [победив короля Тюрингии, своего несчастного соперника] двойную славу смельчака и галантного кавалера — качества, которые во все времена были дороги сердцу французов». Хильдерик становится своеобразным предшественником старого волокиты — Генриха IV.

Двадцатилетие спустя романический рассказ о Хильдерике окончательно исчезает вместе с появлением труда Мишле. Повествование последнего ничем не напоминает манеру его предшественников: «Вероятно, что многие из франкских предводителей, к примеру Хильперик, которого нам представляют как сына Меровея и отца Хлодвиг, имели римские должности, как в предшествующем веке Меллобанд и Арбагост. Действительно, мы видим, что римский военачальник Эгидий, сторонник императора Майорана, противник готов и их ставленника императора Авития, наследует предводителю франков Хильпериду, когда того изгоняют соплеменники. Без всякого сомнения, Эгидий подменяет Хильперика не в качестве наследственного национального правителя, а как командир имперских отрядов. Обвиненный в насилии над свободными девушками Хильперик скрывается у тюрингцев и похищает их королеву. Он возвращается к франкам после смерти Эгидия». Речь идет о преемственности, об Истории Франции как о продолжении римской Истории, о чем старые историки не отдавали себе отчета. Они не могли принять идею плавного перехода между двумя эпохами — Античностью и историей Франции — обе из которых были им знакомы, но в силу разных, зачастую противоположных причин.

Жанна д'Арк

История Жанны д'Арк представляет собой классический эпизод традиционной Истории Франции. Она встречается повсюду, всегда похожая на саму себя, но расцвеченная в соответствии со вкусами эпохи, хотя ее документальная основа при этом не меняется.

«Хроники и анналы Франции со времени разрушения Труа вплоть до короля Людовика XI» Николя Жиля вышли в 1520 году и неоднократно переиздавались вплоть до 1621 года. В них

непосредственно и точно, без тени критики или осторожности, излагается история Орлеанской девы. Видения в Вокулере, дурной прием со стороны Бодрикура, который пренебрегает пастишкой, «рожденной от бедных людей». «Узнавание» в Шиноне: «Во имя Господа, о благородный король, именно с вами я хочу говорить». Теологическая проверка. Но в особенности — и это часто встречающаяся черта различных версий истории Жанны — Николь Жиль настаивает на чудесах: «И Жанна попросила короля, чтобы он послал одного из своих оружейников за мечом, который, как она объявила, находится в церкви Сент-Катрин-де-Фьербуа, с каждой стороны отмечен тремя лилиями и лежит среди ржавых мечей. И спросил у нее король, бывала ли она в этой церкви Сент-Катрин, и она отвечала, что нет и что ей было Господне откровение, что этим мечом она изгонит врагов и отведет его короноваться в Реймс». Напротив, после коронации в Реймсе повествование становится схематичным и руанскому мученичеству посвящена лишь одна фраза: «И мессир Жан Люксембургский продал Жанну англичанам, которые отвезли ее в Руан, где жестоко с ней обращались, затем приговорили к смерти и сожгли при большом стечении народа». И все.

Как следствие, традиционное повествование всегда будет подробно останавливаться на осаде Орлеана и короновании в Реймсе, тщательно сохраняя все элементы чудесного и, напротив, принося в жертву процесс и смерть Жанны.

Посвященная Жанне глава в истории Бернара де Жирара, сеньора дю Эйан (1576), написана в совершенно ином тоне. Он представляет версию событий, которой не будет в прочих Историях Франции и которая не окажет влияния на традицию.

Король Бурже, «будучи человеком, любившим лишь удовольствие и не тревожившимся о гибели и разрушении своего королевства, был занят лишь любовью к прекрасной Агнесс и разведением садов, тогда как англичане с крестом в руках разгуливали по его королевству. И волей Господа, с жалостью взиравшего на Францию, были тогда рождены Жан, бастард Орлеанский, Потон де Ксентрай и Ла Гир». Имена бастарда Орлеанского, Ксентрая и Ла Гира сохраняют свою популярность на протяжении всего XVII века. «В особенности она [Франция]

обязана бастарду Орлеанскому», поскольку именно он придумал Жанну д'Арк: «Этот умелый человек смог поднять его [королевское величие] при помощи истинной или притворной религиозной уловки». Но дю Эйан, конечно, считает ее притворной.

«Чудо этой девушки, было ли оно измышленным и подстроенным или настоящим, воодушевило уже отчаявшегося короля, сеньоров и народ: такова сила религии и, нередко, суеверия, ибо, по правде говоря, передают, что эта Жанна была потаскушкой Жана, бастарда Орлеанского, а другие утверждают, что маршала Франции Бодрикура, которые оба были людьми умными и дальновидными, и видя, что король пребывает в замешательстве... а народ... в унынии... решили прибегнуть к чуду, основанному на ложной вере, которая воодушевляет сердца и заставляет людей, в особенности простых, верить тому, чего нет: тем более что те времена были весьма подходящими для подобных суеверий, ибо народ был набожен, суеверен и разорен».

Это гугенотская версия событий, и дю Эйан был один из немногих авторов, заслуживших одобрение грозного Агриппы д'Обинье, когда тот в предисловии к своей «Всеобщей истории» по обычаю расправлялся с предшественниками: «Труд его не имеет себе равных, настоящий французский язык, в котором ощущается и образованный человек, и воин... он весьма начитан».

Высказав свое мнение о Жанне, дю Эйан подхватывает обычную повествовательную нить: Бурже, Орлеан, Реймс — и заканчивает несколькими словами, сравнимыми по скупости со словами Николя Жиля: «Наконец англичане захватили ее под Компьнем и отвезли в Руан, где после суда она была сожжена». Все.

Жан де Серр в своей «Общей описи Истории Франции» куда более эмоционален. Он называет соответствующую главу «Памятная осада Орлеана». «Франция была ввергнута в столь бедственное положение, что уже не в человеческих силах было ей помочь. И вот Господь создал необычайное средство, которое человеческий разум не мог ни предвидеть, ни тем более подстроить». Это Жанна д'Арк, чья история излагается обычным образом, но чуть более подробно и с большим жаром, когда речь

заходит о суде: Жанна погибает, «оставив после себя бесконечные сожаления всех современников, ибо с ней необычайно жестоко обошлись, и неумирающую славу, ибо она явилась полезным и необходимым орудием освобождения нашей Родины». Это уже тон патриотической истории, о которой мы говорили выше: им объясняется то место, которое Жанна будет занимать вплоть до XIX века и сохранит далее благодаря Мишле. С этого момента версии в духе дю Эйана отметаются как оскорбительные. Так поступает Сципион Дюплеи в своей «Всеобщей Истории Франции», где впервые есть сцена, где Жанна на костре взывает к Иисусу: «Эта достойная восхищения дева была орудием Провидения Господня в деле столь великой важности, что ее враги и недруги Франции и даже некоторые французские либертины возвели не нее напраслину как на колдунью, чародейку, потаскушку или развратную женщину, дабы не быть вынужденными признать чудеса, вершащиеся под покровительством святых, которые вкушают вечное блаженство на небесах».

У Мезере присутствуют уже все части традиционного повествования: Вокулер, Бурже, освидетельствование теологами и повитухами. Чудо о мече становится предметом тщательного и доверчивого описания: «Она попросила его [дофина], чтобы он послал за мечом, похороненным вместе с останками одного рыцаря в Сент-Катрин-де-Фьербуа, на котором было выгравировано пять крестов; те, кто был туда послан, нашли его в указанном месте, и второе чудо [как будто одного было недостаточно! — Ф. А.] состояло в том, что в тот момент, когда его взяли в руки, с него сошла вся ржавчина, которой он был покрыт». При осаде Орлеана «много раз в конце долгого боя можно было видеть главу небесного воинства в сверхчеловеческом облики с огненным мечом в руках». Есть и описание суда, и Мезере находит способ позволить Жанне произнести на костре длинную речь на манер трагической героини. И тут же из языков пламени вылетает голубка, «сердце ее находят в целости, огонь не посмел разрушить столь драгоценный предмет». На протяжении многих поколений французы будут знать историю Жанны д'Арк именно по Мезере.

Конец XVII века — эпоха Людовика XIV — представляет Жанну в гораздо более сдержанной манере, не пытаясь обойти

молчанием этот эпизод, чье место в традиционной Истории Франции не подлежит обсуждению, и не стремясь его принизить, прибегнув к скабрёзным версиям XVI века. Чувствуется, что в современной обстановке, характеризующейся усилиями Людовика XIV по установлению дисциплины и порядка, авторов смущает все необычайное и не укладывающееся в рамки обычного, что есть в судьбе Орлеанской девы. Отсюда, как мы увидим на примере нескольких текстов, чрезвычайная осторожность и нюансировка оттенков.

Симон Гелетт — автор «Легкого метода по изучению Истории Франции», вышедшего в 1685 году. Существует целый пласт педагогической и мнемотехнической литературы по Истории Франции: история в стихах, в карточных играх и т. д. Книга Гелетта написана как катехизис (Тридентский собор породил обширную катехизистическую продукцию), в форме вопросов и ответов. Таким образом автор проходит по всем основным событиям. Возьмем, к примеру, Хлодвиг: «Что важного совершил Хлодвиг? — Он приумножил французское королевство и был первым королем-христианином». «Каковы основные качества Хлодвига? — Он был доблестен и чрезвычайно ловок в политических делах, но несколько жесток...»

Это патриотическая история. «По праву ли принадлежала Империя франкам? — Да. — Почему? — По двум причинам. Во-первых, она была основана франкским государем, а во-вторых, это была как бы французская империя, зависящая от французской нации». Гуго был прозван Капетом, «потому что у него была большая голова и, в большей мере, потому что был очень благоразумен». Последний из Каролингов не унаследовал корону, «потому что навлек на себя ненависть всех французов. — Почему? — Потому что был слишком связан со сторонниками германцев и императора Отона». В таком патриотическом духе рассказ доходит до Карла VII.

«Что примечательного произошло во время его царствования? — Осада Орлеана и история с Орлеанской девой». Орлеанская дева — «дочь землепашца, рожденная в Лотарингии, в которую Господь вдохнул желание взяться за оружие и сразиться с англичанами». Отметим, что все необходимые факты излагаются, но достаточно сухо. Жанна была сожжена. «Поче-

му с ней произошло такое несчастье? — Потому что она не оставилась после того, как исполнила Господню волю [то есть после коронации], и тем самым превысила свои полномочия». Иначе говоря, оказалась недостаточно дисциплинированной. Но это отнюдь не извиняет ее палачей: «Что произошло с англичанами после этого неправосудия? — Они были полностью изгнаны из Франции за исключением Кале».

В своей «Краткой Истории Франции» Боссюэ, пожалуй, еще более осторожен. Он не лукавит по поводу важности этого события: «Положение казалось безнадежным, когда при дворе появилась девушка лет восемнадцати—двадцати, *которая утверждала*, что ее послал Господь». Все сверхъестественные элементы истории Жанны тактично убраны: в Шиноне «деве предстояло узнать его [дофина] среди придворных». Ни одного слова ни о видениях, ни о чуде с мечом. Очевидно, что традиционная версия событий вызывает у Боссюэ дискомфорт, поскольку он не может отделить легенду от истины. Тем более что на него влияет популярность этого мифа: «Имя Орлеанской девы облетело все королевство и исполнило французов отвагой. И, против ожидания целого света, предсказанное ею сбылось».

Но вот что он считает возможным сказать по поводу суда и мученической смерти Жанны: Кошон, «приверженный английской партии, осудил ее как чародейку и за ношение мужского наряда. По исполнении этого приговора она была сожжена заживо в Руане в 1432 году». На этом все: скупо и сухо. Не стоит полагать, что Боссюэ мог смутить авторитет судилища. Он безо всяких колебаний осуждает «неслыханную жестокость» процесса над тамплиерами. Но он не понимает средневекового народного благочестия, еще вполне живого в его время, если частота обращений к этой теме историков здесь может служить показателем: оно кажется ему подозрительным, и он спешит перевернуть страницу. Его «Краткая История» действительно являет собой тяжкий и вымученный труд: пример классициста, заплутавшего в мире, в котором он теряется и тем не менее должен уступать требованиям традиции. Тут живо ощущается противостояние двух течений, классического и традиционного, в других местах легко объединяемых красочным анахронизмом.

Отец Даниэль — не вполне классицист, ему нравятся старые тексты, даже если он пишет о них благородным стилем, тем самым их выхолащивая.

«Господь спас Орлеан, а затем и все государство столь необычайным образом, что за исключением Священного Писания не найти более исключительных примеров, чем тот, что предстал тогда перед глазами всей Европы».

Это уникальное явление, достойное Ветхого Завета, когда Господь напрямую говорил с людьми. Трудно найти лучший способ подчеркнуть сакральный характер этого события. Однако отцу Даниэлю приходится объясняться, почти извиняться, поскольку просвещенное мнение — здесь уже можно употребить этот термин, не впадая в чрезмерный анахронизм, — состоит против чудес, милых сердцу более широкой популярной аудитории. «Тем, кого отпугивает одно наименование чуда, как мне кажется, будет затруднительно вообразить себе другие принципы, которые позволили бы обнаружить причины этой череды исключительных и достаточно многочисленных событий, о которых пойдет речь». Автор обращается к свидетельствам современников. Их, «как мне представляется, достаточно, чтобы рассеять пустые домыслы иных людей [которые еще считается нужным опровергать в конце XVII века. — Ф. А.], которые безо всяких на то оснований уверяют, что это была хитрость французских полководцев, которые доставили деву ко двору и объявили ее чудотворицей, чтобы поразить воображение народа и упавшего духом короля». Отец Даниэль не испытывает сомнений и не отступает перед сверхъестественным. «Я не боюсь показаться слишком легковерным в глазах людей благоразумных, представляя это памятное событие нашей Истории таким, каким его сообщают самые надежные памятники того времени, когда оно произошло». После всех этих (отнюдь не лишних) предосторожностей он начинает повествование, практически полностью следуя за традиционной версией — видения, «узнавание» в Шиноне, чудо с мечом, особенно неудобоваримое для людей конца XVII века: «Его отчистили от ржавчины и отдали ей». Чудесное избавление от ржавчины отец Даниэль все-таки опускает! Тем не менее пылкий и эмоциональный тон, которым рассказывается история Жанны, ста-

новится сухим, когда дело доходит до суда, описываемого, впрочем, по рукописным документам. Он ни разу не дает слова Жанне, воздерживается от комментариев и суждений и заканчивает просто: «Она заново отреклась, исповедовалась доминиканцу, причастилась и была сожжена на старом рынке. Вот так все и произошло». Замешательство отца Даниэля именно перед этим эпизодом, ныне ставшим самым драматическим и знаменитым во всей истории Жанны, — характерная особенность восприятия того времени.

В середине XVIII века история Жанны остается на своем месте, не подвергаясь коренным изменениям, но преломляясь в соответствии с требованиями эпохи. Продолжатель аббата Велли подробно останавливается на этом эпизоде. С гордостью и волнением он узнает в нем одно из особых мгновений, когда вся нация объединяется ради спасения родины: это практически его собственные выражения. Французы тогда «собрались с силами, услышав клич умирающей *родины*... все части монархии постепенно сблизилась, скрепились и объединились крепче, чем прежде, во имя общего *национального* действия. Это неопровержимая истина: восстановление Карла VII на наследственном престоле стало делом *нации*». «При этом сильнейшем потрясении королевство возродилось как бы из самого себя».

Наш автор с большим подъемом излагает историю Жанны. Сверхъестественный элемент не замалчивается, как у Боссюэ, но предстает в традиционном, хотя и рационализированном варианте: каждое чудо получает естественное объяснение — притянутое за уши, но обсуждаемое совершенно серьезно, без иронии и глумления.

Жанна «была совершенно уверена, что предназначена Господом к спасению родины». «Она обладала всеми добродетелями, доступными простой душе: совестью, благочестием, искренностью, великодушием, отвагой». Она крестьянка, а это эпоха повального увлечения всем, что связано с землей: «Сельская жизнь укрепила ее от природы выносливое тело». Наш автор — один из первых среди старых историков, кто отмечает такую особенность ее интимной жизни: «Она имела лишь внешнее обличие своего пола, не испытывая немочи, которые обуславливают его слабость». И, будучи более

предшественников искушен в психиатрическом анализе, он так объясняет визионерский энтузиазм: «Таковое расположение органов не могло не умножить активную силу ее воображения». Этот тон отсылает уже не к XVII, но к XIX веку. Однако склонность к рациональным интерпретациям не воздействует на изложение фактов. Напротив, поскольку автор не верит в сверхъестественные силы, то без всякого замешательства готов предоставить им действовать, отчасти для того, чтобы избежать анахронизма и сохранить присущий середине XV века колорит, отчасти потому, что эта история сама по себе хороша и трогательна: «Перед тем как продолжить рассказ о событиях, связанных с этой необычайной девушкой, стоит предупредить читателей сообразовываться лишь с собственным разумом по поводу того, как обо всем этом стоит судить». Речь не об их оценке, а о понимании. «Мы ограничимся простым изложением достоверных фактов. Для нас, более образованных и просвещенных, чем наши легковверные предки, многие чудеса перестали быть загадкой. Чрезмерная рассудительность убивает энтузиазм. *Перенесемся на некоторое время в XV век* [подчеркнем эту фразу, которая предвещает новое, современное понимание Истории. — Ф. А.]. Речь не о том, что мы думаем об откровениях Жанны д'Арк, но о мнении наших предков, ибо именно это мнение произвело тот поразительный переворот, который мы сейчас представим». Далее идет традиционный рассказ, всегда один и тот же, но сопровождаемый новым комментарием. Если Жанна в Шиноне смогла узнать дофина, то потому, что видела его портреты, изображения на монетах и «знала его внешний вид». Здесь есть и чудо с мечом: «Однако было бы ложной сдержанностью, по примеру некоторых наших историков, оставить этому происшествию обличие трагедии, способное убедить читателей». На самом деле все просто: по пути в Шинон Жанна побывала во Фьербуа и зашла в церковь, и, «всегда повинувшись откровениям, которые, как она считала, ей ниспосланы, она, возможно, положила меч на могилу рыцаря, как бы его освящая». Из успехов Жанны в Орлеане и в Реймсе автор извлекает мораль: «По слову этой удивительной девушки было задумано дело, противоречащее всем правилам человеческого благоразумия. Можно утверждать, что в этот момент Жанна

д'Арк решила судьбу Карла. Если бы он потерпел неудачу, то безоговорочно пропал бы. Именно так непостижимое *провидение* порой показывает ничтожество всех наших политических расчетов простотой тех средств, которые оно употребляет для их разрушения». Иначе говоря, автор — не вольнодумец, он верит в воздействие Провидения на человеческое существование, но идея чуда его отталкивает.

В отличие от своих предшественников, продолжатель Велли подробно останавливается на суде и казни. В этой части его труд действительно оригинален. Он не довольствуется более ранними компиляциями, которые молчат на эту тему, но обращается к первоисточникам, к хранившимся в Королевской библиотеке материалам процесса. Если я не ошибаюсь, то это одно из первых (до Мишле) изложений, близко следующее за документальными свидетельствами. Ответы Жанны цитируются дословно и набраны курсивом: автор взволнован. Он упрекает Мезере, наиболее полно рассказавшего об этих событиях в XVII веке, в том, что тот не передал «ужас» Жанны перед смертью — человеческую черту, которая облагораживает, а отнюдь не принижает героиню. Он рассказывает о казни, о крике Жанны посреди языков пламени. «Все с изумлением увидели, что сердце ее осталось нетронутым, но удивляться нечему, если принять во внимание расположение костра и замешательство палача». Все то же желание сохранить все элементы традиционной версии и найти им естественные объяснения. Так, «несчастная Жанна д'Арк должна была стать жертвой варварского века».

В истории 1767 года аббат Мило бережно воспроизводит эпизод с Жанной, столь же рационализированный, как у аббата Велли. Он подчеркивает, что ответственность лежит на извращении религии. Со времен Филиппа Августа «христианство мало похоже на самое себя». Что касается эпохи Людовика Святого, то «можно ли представить себе что-либо более ужасное, нежели состояние, в котором находилось тогда человечество». Поэтому Жанна оказалась жертвой «жестоких теологов» и суд над ней «соответствовал гению Инквизиции».

«Если бы Франция была тогда достаточно рассудительна, чтобы не поверить ее [Жанны] видениям, то быть бы ей под чужеземным игом. Однако, обладая она более просвещенным раз-

умом, тогда, возможно, удалось бы избежать тех ошибок и несчастий, которые сделали необходимым подобное средство».

В «Истории французского патриотизма» (1769) Россель секуляризует Жанну, уже национализированную Велли. Одного патриотизма достаточно для объяснения всего того, что ранее считалось сверхъестественным: «Она считала себя провидицей, но на самом деле была патриоткой. Она пустилась в путь, исполненная патриотического энтузиазма, который и тогда, и долгое время после считался божественным вдохновением». «Вот и вся загадка этого уникального происшествия, в котором народ видел колдовство и чародейство, верующие — чудо, мыслители — удачную уловку двора... Наш век с куда большим основанием видит в нем лишь редкостное и необычайное, но естественное следствие патриотизма». Вспомним здесь слова Мишле: «Да, с точки зрения религии и отчизны Жанна д'Арк была святой».

В начале XIX века — точнее, в 1809 году — Анкетиль сохраняет традиционную версию за исключением нескольких опущенных деталей вроде меча из Сент-Катрин-де-Фьербуа. Он не пытается подобрать правдоподобные объяснения, но излагает события сухо, из осмотристельности придерживая свое мнение: «Представим это происшествие так, как будто на каждом шагу мы не должны ни поражаться, ни казаться пораженными». Итог таков: «Один мудрый человек, который все видел своими глазами и был восхищен, все же колебался высказать свое мнение по этому поводу. Нам, знающим дело из вторых рук, стоит быть столь же осмотристельными. Но нам известно достаточно, чтобы быть уверенными, что история не знает другой семнадцатилетней героини, столь же отважной в бою, мудрой в совете, суровой в добродетели и непоколебимой в решениях... В ней трудно отыскать хотя бы один недостаток». Суждение Анкетили еще отзывается XVIII столетием, когда религиозное безразличие и подозрительное отношение ко всему сверхъестественному наложили отпечаток рационализма на закрепившуюся в начале XVII века традиционную версию истории Жанны д'Арк.

Последний из предварявшей появление Мишле череды историков-компиляторов — Фантен-Дезодор, переработавший

труд аббата Велли и его продолжателей. Подготовленное им в 1819 году издание ничего не меняет в обычной последовательности фактов, но проникнуто новым — по крайней мере, для историков — чувством, а именно уже вполне современным антиклерикализмом. Происходит возврат к гугенотской версии XVI века.

Автор отнюдь не враждебен по отношению к монархии. Часть его книги представляет собой своеобразную реабилитацию королей, которых порицали историки во времена Старого порядка, — по крайней мере, пока речь не заходит о самодержавном деспоте Людовике XIV. «Я взялся защитить память Филиппа Красивого от несправедливых суждений». «Как кажется, истинный характер Людовика XI ускользнул от наших историков». Необходимо «избавить его от того налета кровожадности, которым окрашены страницы его истории». Действительно, полный набор анекдотов, которые в XIX и XX веке будут подпитывать полемики роялистов и республиканцев, присутствует именно в классических историях Франции, написанных при Старом порядке: расправа Филиппа Красивого над тамплиерами, железные клетки кровавого Людовика XI, Жанна д'Арк, покинутая на произвол судьбы Карлом VII, Карл IX, стреляющий из окна Лувра в Варфоломеевскую ночь... Но потребовалась Революция, чтобы эти исторические штрихи оказались наделены полемическим смыслом. Фантен-Дезодоар становится на сторону древних королей против Боссюэ и отца Даниэля.

Тем не менее этот роялист, оправдывающий Людовика XI и Филиппа Красивого, становится либералом, когда речь заходит о Людовике XIV, и противником религии в случае Жанны д'Арк. Ощутимое в сухом рассказе Анкетили эмоциональное присутствие XVIII века сменяется глумлением в духе Вольтера, который не оказал влияния на историков своего времени, но стал источником вдохновения для их коллег эпохи Реставрации. Возвращаясь к гугенотской позиции XVI века, Фантен-Дезодоар считает, что истинный герой, «рожденный для спасения Франции, — бастард Орлеанский». Что касается Жанны, то «Мезере [все всегда ссылаются на Мезере. — Ф. А.] рассказывает, что ей явился предводитель небесного воинства и что ее предсказания в точности сбылись; повторять эти сказки сегодня нет смысла.

Жанна д'Арк была трактирной служанкой в Вокулере, крепкой, ездившей на лошади без седла и подогревавшей блюда, к которым девушки обычно непривычны». Намек понятен: Жанна была орудием военачальников — «Вот и все чудо». Однако «подробности судебного процесса над этой столь же несчастной, сколь знаменитой воительницей свидетельствуют о том, что она искренне верила в свою сверхъестественную миссию». И автор шутивно объясняет легкоеверие Жанны: «Теперь меня могут спросить: как же она могла так обмануться? В те времена существовало множество способов злоупотребить доверием невежественной девицы. Если дозволено говорить об одном из самых серьезных моментов нашей истории языком шутки, то мы помним, как в сказках Лафонтена развратный монах обманул девушку, убедив ее мать, что небеса предназначают ей стать прародительницей папы. Абсурдные в XIX веке страатагемы были отлаженными механизмами во времена Жанны д'Арк». Все это весьма далеко от рациональных, но уважительных комментариев аббата Велли, а до появления Мишле остается еще десять лет.

Таким образом, если проследить один и тот же эпизод по нашим старым историям, то его сюжет оказывается не важен, поскольку к нему не добавляется ничего нового; напротив, сам рассказ, в котором фигурирует единообразный, но по-разному оформленный набор фактов, превращается для нас в своеобразное зеркало эпохи — не только эпохи события, о котором идет речь, но и историка. История Франции с XV по XIX век — это отнюдь не череда эпизодов, чье соотношение и взаимное значение подлежит пересмотру со стороны ученого, критика, философа. Это нечто единое, отдельное от всех иных историй, в особенности от римской; нечто единое, подлежащее продолжению, но не разбору на составные части. По правде говоря, такая История Франции существует те же манером, что оперные или трагические сюжеты вроде Орфея или Федры, которые всякий раз перерабатываются по-своему. Это тоже сюжет: не просто История, а История Франции, и каждое поколение переделывает ее в своем стиле и в собственной манере. Эта ситуация подразумевает иное, отличное от средневекового сознание времени. В Средние века единственной возможной точкой отсчета

было сотворение мира. При Старом порядке История Франции воспринимается как привилегированный отрезок, выделенный из прочего времени и измеряемый от первого короля Фарамона, уже похожего на всех прочих королей, его восприемников. Поэтому он лишен собственно исторического свойства: событие не описывается как часть временной цепи, то есть по отношению к тому, что ему предшествовало и что за ним последует. Предшествующего не существует: жил-был первый король Франции. Не раз отмечалось, что при Старом порядке История имела свойство деисторизироваться. Однако достаточное внимание не было уделено тому, что этот феномен особенно отчетливо проявляется в жанре «Истории Франции» и что дело тут не только в духе классицизма, который видел человека всегда равным самому себе. Если классицизм и влиял, то только негативно, в той мере, в какой он мешал развитию исторической и национальной литературы по образцу елизаветинской Англии или Испании. Благородные жанры не допускали обращения к прошлому, к эпохам формирования национального чувства, что и породило свой собственный, отдельный жанр, историю только по названию, в котором каждое поколение по своему воссоздавало национальное прошлое; это прошлое обязано было оставаться одним и тем же, потому что речь шла об общем наследии, и всякий раз представлять несколько иным, поскольку оно было собственностью каждого поколения.

Современные ученые часто не придают важности тем чувствам реконструируемой ими эпохи, которые не были зафиксированы на письме. Приверженность старой Франции традиции, которую каждое поколение видело под собственным углом искажения, — одно из таких чувств, чье значение не отменяет скудость и редкость его проявления. Устойчиво *единственный* характер Истории Франции, под разными нарядами остающейся таковой на протяжении трех веков, все же позволяет нам уловить этот переход.

«История Франции» — это не История как таковая, даже не официальная История. Однако в XVII веке существовал интерес и собственно к истории, но выражение он находил отнюдь не в литературе, а в страсти к старинным документам, во

вкусах коллекционера, который хранил в своем «кабинете» все, что ему удавалось собрать из «древностей» и «дикувинок». То состояние, которое в рамках XVII века наиболее близко соответствует нашему попечению об истории, было свойственно не писателям и даже не ученым, но «антиквариам».

Первые коллекционеры эпохи Ренессанса создавали собрания античного искусства и картинные галереи. Большинство европейских музеев начинались с королевских или герцогских коллекций Франции, Италии, Австрии... Их история хорошо известна, являясь одновременно принадлежностью музеологии и истории искусства. Но XVI и XVII век знали и коллекции иного рода. В это время происходит переход от художественных галерей к собиранию исторических документов, к историческим кабинетам.

Промежуточной формой этой трансформации стал портрет; собрание живописных или (куда более популярных) гравированных изображений древних и современных знаменитостей. Первая такая коллекция появилась в Италии около 1520 года и принадлежала Паоло Джовио. Она получила широкую известность и нашла немало подражателей: значит, ее появление отвечало вкусам того времени. Во Флоренции примеру Джовио последовали Медичи, они же подтолкнули Генриха IV к созданию Малой галереи Лувра. Влияние этого собрания чувствуется во всех коллекциях конца XVI — начала XVII века. Однако принадлежавшие Джовио портреты не составляли художественной галереи: это, скорее, был исторический музей. К тому же Паоло Джовио — историк, причем историк-гуманист, писавший на языке и в духе Тита Ливия. Его сочинения послужили образцом для Паоло Эмилия, автора первой Истории Франции классицистического типа, с которой в национальную историографию снова вернулась вышедшая было из употребления латынь. Но Джовио-коллекционер представляет более близкий нам тип историка, нежели подражатель Тита Ливия: его план собрать 240 портретов знаменитых мужей отвечает потребности индивидуализировать прошлое, представить его себе во всей конкретике; успех этого предприятия в Италии и особенно во Франции доказывает, что его нельзя сбрасывать со счетов как прихоть чудака.

Паоло Джовио стремился к сходству и запрашивал оригиналы: свой портрет прислал ему Фернандо Кортес, через Хайрад-Дина Барбароссу были получены миниатюры турецких султанов. Таким образом, учитывая это попечение о подлинности, большинство портретов принадлежало эпохе Паоло Джовио, то есть хорошо известному и привычному настоящему. История возникает здесь не как реконструкция, которая начинается с некой нулевой отметки, выбранной в соответствии с определенным — христианским, монархическим, гуманистическим — видением мира, но как ряд наблюдений, исходящих из современности.

Именно поэтому портретируемые в основном набраны из числа героев итальянского Ренессанса — писатели, поэты, ученые, государственные деятели, люди церкви и воины. Доля персонажей классической и священной древности относительно ниже, нежели в более раннем собрании Юстуса ван Гента, осуществленном в конце XV века для библиотеки герцога Урбинского: тут уже нет портретов Солона, Моисея, Соломона или Гомера, Вергилия, Цицерона, Аристотеля. Серия ученых и поэтов начинается с Альберта Великого, а в случае полководцев ограничивается Александром, Ганнибалом, Артаксерксом, Нумой Помпилием, Ромулом, Пирром, Сципионом Африканским. Эти скромные отсылки к Античности полностью исчезнут из более поздних французских галерей.

Напротив, не может не вызывать удивления то, какое место у этого историка-гуманиста занимают Средние века. Вереницу ученых открывает портрет Альберта Великого; а великих полководцев Античности и военачальников более поздних времен, включая Аттилу, Карла Великого, Фридриха Барбароссу, Годфруа Бульонского, Тамерлана и итальянских кондотьеры эпохи Данте, объединяет легендарное, порой позабытое прошлое. И в этом есть нечто действительно новое и интересное.

Наконец, в случае современников и двух-трех предшествующих поколений Паоло Джовио попытался выйти за привычные рамки итальянского мира: он включает в свое собрание испанцев, французов, подданных Священной Римской империи. Среди наиболее заметных назовем Фернандо Кортеса, Христофора Колумба, французских королей от Карла VIII до Генри-

ха II (заметим, что Джовио не пошел дальше Карла VIII: тут проходил предел, за которым история обретала смутные, полупо- легендарные очертания, и на ее поверхности оставалось лишь несколько знаменитых имен).

Из английских королей только один, Генрих VIII. Джовио не стал пытаться разобраться в этом запутанном периоде британской истории. Зато воссоздал череду оттоманских султанов и корсаров Барбароссы, поскольку для Средиземноморья XVI века речь шла об истории, более чем близкой к повседневному существованию, проходившему в страхе перед турецкой угрозой.

Такой выбор — как в отношении прошлого, так и настоящего — по-видимому, продиктован обыденными наблюдениями, и иконография, которая не требует логических связей между расположенными рядом полотнами, прекрасно соответствует эмпирической манере, чуждой литературной Истории вплоть до наших дней.

К середине XVI века во Франции появляются коллекции по образцу Паоло Джовио. Одна из них известна нам в деталях благодаря сборнику латинских стихотворных подписей, которые (согласно удержавшемуся до конца XVII столетия обычаю) должны были сопровождать каждый портрет. Лаборд полагает, что это было собрание Екатерины Медичи. В него входили портреты Франциска I, обеих его жен, его сестры Маргариты, его умерших сыновей (Франциск I и двое его детей также фигурируют в собрании Джовио), королевы Шотландии, Генриха II, Екатерины Медичи, ее сына Франциска и ее невестки Марии Стюарт. Итак, все королевское семейство начиная с Франциска I. Затем Лотарингский дом, Гизы, Диана де Пуатье (которая должна была приложить немало усилий, чтобы попасть в коллекцию Екатерины Медичи, — если гипотеза Лаборда верна), коннетабль, адмирал, маршалы Франции, последние папы, король Испании, королева Англии, император в сопровождении светских и духовных курфюрстов, его родич король Богемский и, наконец, итальянские государи, герцоги Феррарские и Тосканские: все коронованные головы христианства — и только христианства — высшие коронные чины Франции и королевское семейство начиная с Франциска I.

Этот список интересен тем, что он не уникален. Существуют многочисленные собрания гравюр и рисунков, в которых повторяются аналогичные наборы, копирующие друг друга и оригиналы мастерской Клуэ, теперь хранящиеся в Шантильи. Количество этих практически идентичных друг другу портретных сборников, их массовое производство свидетельствует об их популярности среди публики того времени. Как кажется, подобный успех выпадал лишь на долю религиозных изображений.

С этого момента каждый хочет иметь у себя — на стенах или чаще в шкафу — подлинные изображения королевского семейства и его естественного окружения — двора. Этот набор сохраняет свой генеалогический и семейный характер в галерее Екатерины Медичи, но он же соответствует коллективному чувству, когда его располагает в своем кабинете какое-нибудь частное лицо или судебный или финансовый чиновник.

Отметим, что в этих сборниках нет предшественников Франциска I, даже в самых ранних из них, восходящих к эпохе Генриха II. При этом и в конце XVI, и, временами, даже в начале XVII века их будет открывать портрет Франциска I. Эти собрания имеют не исторический, но современный характер. Почему же в последней трети века они продолжают воспроизводить портрет Франциска I? Почему именно этот монарх?

Потому что вплоть до Генриха IV существует отрезок времени длиной чуть менее века (от Франциска I до Генриха IV), которые современники воспринимают как некое единое и неделимое настоящее, как временной блок, который всегда остается настоящим. Общественное сознание не может помыслить абстрактное настоящее, похожее на геометрическую точку, поэтому наделяет его субстанциональностью и длительностью. Но в тот момент, когда настоящее оказывается слишком растянутым, оно становится хрупким. Тогда под воздействием потрясений, войн, революций оно разламывается надвое, и из руин вчера еще привычного «давнего настоящего» возникает внезапно более отдаленное прошлое. Это прошлое, отпавшее от настоящего как слишком тяжелая ветка, может быть забыто: так происходит с обществами, лишенными истории. Или его могут начать собирать, как это произошло в начале XVII века, после

гибели Генриха IV: так в 1628 году один коллекционер наклеил на бумагу 150 портретов XVI века.

Эти изображения перестали принадлежать настоящему, которое ими было сформировано, и стали свидетельствами оставившегося прошлого: так к началу XVII века на смену современному портрету приходит исторический.

Можно удивляться тому, что это произошло только в XVII веке. Блистательный Джовио располагал изображениями Карла Великого, Годфруа Бульонского, Фридриха Барбароссы. Во Франции такое обращение к дальним источникам не находит подражателей. Объяснялось ли это существованием исторической литературы, более приближенной к конкретным институтам, нежели баснословные «Анналы» или истории в духе Тита Ливия? Тогда многие писали об актуальных проблемах дня: коронных чинах, судебных палатах, коронации. Исследовали истоки и смысл этих институций: политическая философия требовала от Истории оправдания монархического правления, смягчаемого корпусом должностных лиц и кровным принципом. Эта литература сошла на нет в XVII веке под совместным влиянием классицизма, искоренившего историю частного и публичного права, и преданности монархии, сделавшей историю перечислением царствований и королевских деяний. Можно сказать, что история, изгнанная из литературной сферы, укрылась в иконографии и, отвергаемая писателями, нашла приют у коллекционеров.

Тем не менее некоторые прецеденты уже имели место в XVI веке и представляют интерес. Так, в Пуату один из Гюфье собирал портреты современников. Но его любопытство простиралось далее обычного предела в лице Франциска I: у него были портреты эпохи Людовика XII, изображение жены Карла VII и даже портрет Иоанна Доброго, который, пройдя через руки Роже де Геньера, сейчас находится в Лувре.

Насколько знаю, об этом опыте известно слишком мало, чтобы судить об его истоке.

Напротив, благодаря пронизательной заметке Жана Адемара⁹⁰, у нас достаточно сведений о «Знаменитых мужах» Андре

⁹⁰ *Adhemar J. André Thevet, collectionneur de portraits. Paris: Revue archéologique, 1943.*

Тевэ. Этот поразительный капуцин, рожденный в 1500 году, став капелланом Екатерины Медичи, решил реконструировать для своего собрания гравированных портретов точные изображения великих людей минувшего. Он упрекает Паоло Джовио в неточностях: Христофор Колумб оказался у него бородатым, а Григорий Назианзин — вразрез с правдоподобием безбородым! Тевэ ведет поиск медалей, которые считаются современными тому или иному правителю, чтобы воспроизвести имеющиеся на них изображения; он обращается к семейным архивам. Так, герцогиня де Лонгвиль снабжает его документами для изображения одного из Дюнуа, а герцог Лотарингский — для Годфруа Бульонского. Он уже изучает надгробные изображения Филиппа де Валуа, Эда де Монтрея, Коммина и интересуется даже такими чуждыми духу его времени героями Средневековья, как Петр Пустынник. Это ум нового склада, который стремится к поискам документов и во имя точности, и ради их памяти.

Большие коллекции исторических портретов принадлежат первой половине XVII века, и если последняя из них появилась во времена Людовика XIV, то воспринимается как пережиток предшествующей эпохи.

Самая ранняя из них находится в замке Борегар неподалеку от Блуа. В 1617 годы земли Борегар были куплены финансистом Полем Ардье. В 1601 году он служил главным военным контролером, затем около 1627 года стал королевским казначеем, в 1631 году отошел от дел и поселился в Борегаре, где и скончался в 1638 году. Он начал свою карьеру при дворе Валуа, в окружении герцога Анжуйского, за которым последовал в Польшу; таким образом, он служил Генриху III, затем Генриху IV и Людовику XIII. Он предпринял перестройку ренессансного замка, в котором ему предстояло окончить свои дни, в особенности большой галереи. Последняя сохранила свой облик до наших дней, и посетитель может сполна ощутить ту любознательность, которая стала толчком к ее созданию. Ее стены отданы историческим портретам, а пол — батальным композициям. В те времена правители и государственные деятели начали окружать себя изображениями сражений, в которых они принимали участие: так поступал Ришелье, чьи батальные по-

лотна сейчас находятся в Лувре. Великий Конде продолжит эту традицию в Шантильи. Ардье ограничился тем, что выложил пол большого зала дельфтской фаянсовой плиткой с изображением военного смотра, дотошно воспроизводившим наряды, оружие, музыкальные инструменты и знаки отличия: бывший военный контролер больше интересовался войсками, нежели военными операциями.

На стенах — собственно историческая галерея. Если поделить их по вертикали, то в верхней части располагаются 363 исторических портрета, распределенных по царствованиям, а в нижней — имена королей, их девизы, эмблемы и даты правления. Все портреты поясные, написанные в одном масштабе и на нейтральном фоне, одинаковых размеров и фактуры. Способ презентации монотонен и лишен каких-либо прикрас; изображения просто развешены в три ряда по всей длине галереи: можно подумать, что перед нами удостоверения личности или учебный материал. Из этой бесконечной череды выбиваются только два портрета: изображение Людовика XIII в полный рост, в три раза превышающее размеры поясных портретов, и, над камином, Генриха IV на гарцующей лошади в натуральную величину. Центральное положение занимает Генрих IV, от которого идет отсчет прошлого и настоящего. Итак, выделены только два персонажа: Генрих IV, чей престиж лишь позже поболеет перед славой Людовика XIV, и правящий государь. Все прочие, в отличие от других исторических или батальных галерей, представлены без каких-либо эстетических претензий. Хочется предположить, что перед нами — собрание документов, объединенных коллекционером иконографических изображений, вполне безразличным (по крайней мере, в данном случае) к вопросам искусства. Единственной целью было бережно свести вместе подлинные черты исторических персонажей, чтобы узнать их с той степенью близости, которую дает лишь вид человеческого лица. По сути, это очень похоже на нынешние фотоальбомы или сборники иллюстраций.

Открывает галерею портрет Филиппа VI Валуа. Поскольку манера презентации не меняется, достаточно в качестве примера привести список персонажей одного царствования, чтобы дать представление о композиции в целом. Возьмем панель, от-

данную Карлу VII, которая включает в себя 24 портрета. Сперва идет надпись: «Царствование короля Карла VII, начавшееся в 1422 году и длившееся до 1461 года». Затем портреты, подписи к которым я воспроизвожу: Карл VII, король Франции. Филипп III, герцог Бургундский, прозванный Добрым. Артур Бретонский, коннетабль Франции. Жан, граф Дюнуа. Потон де Ксентрай. Этьен де Виньольт, прозванный Ла Гиром. Жанна д'Арк, прозванная Орлеанской дево́й. Танги дю Шатель. Жан де Бейль, граф де Сансерр, адмирал Франции. Генрих II, король Англии. Джон Тальбот. Козимо Медичи, *Pater Patriae*⁹¹. Эрколе I, герцог Феррарский. Франческо Сфорца, герцог Миланский. Пьер д'Обюссон, великий магистр Родоса. Мурад Мехмед II. Константин Палеолог, последний император Константинополя. Янош Хуньяди, правитель Венгрии. Георг Кастриоти, прозванный Скандербегом. Антуан де Шабан. Рене, герцог Лотарингский. Гийом, кардинал д'Эгутвиль. Как правило, в комплект также входят портреты императора, папы, а в случае последних, практически современных царствований — представители дворянства мантии, включая даже государственного секретаря Франциска I Роберте — это единственный «министр», так же как Рабле — единственный писатель, затерянный в толпе великих государственных и церковных деятелей, полководцев и правителей: в высшей степени современная черта, впрочем отчасти объясняющаяся тем, что до Ардье замок Борегар в какой-то момент принадлежал Роберте.

Историческая галерея была и у Ришелье в Пале-Кардиналь. Она сохранилась лишь отчасти, целиком мы знаем ее благодаря выпущенным тогда гравюрам. В нее входило всего 25 портретов. Это была своеобразная антология, преследовавшая не просто документальные (как в Борегаре), но патриотические и политические цели, но говоря уж о неброской личной аполонии: Ришелье не пожалел сил на серию портретов людей церкви, которые также играли политическую роль во французском королевстве. Открывает ее Сугерий, этот Ришелье при другом Людовике. Далее идет кардинал д'Амбуаз, и даже кардинал

⁹¹ «Отец отечества» (*лат.*) — надпись на надгробии Козимо Медичи.

Лотарингский, хотя память Гизов тогда была не в большом почете, и, наконец, Ришелье. Единственная женщина в галерее Пале-Кардиналь — Жанна д'Арк, что подчеркивает ее статус национальной героини для той эпохи. Все прочие портреты представляют военачальников от Симона де Монфора до коннетабля Ледигьера — великих полководцев Истории Франции.

Две последние исторические галереи, которые чуть ближе к нам по времени и существуют по сей день, принадлежат тем, кто в эпоху Людовика XIV продолжал держаться за ментальные привычки предшествующего полувека, — Большой Мадмуазель и Рабютену.

Большая Мадмуазель хотела собрать всех своих предков, всех Бурбонов, начиная с Роберта, графа Клермонского, сына Людовика Святого: это зал Бурбонов. Он был унаследован Орлеанской ветвью и тогда, когда Димье писал свой труд о портрете в XVI веке, уже был перевезен из шато д'Э в Англию. Мне удалось отыскать его каталог 1836 года, но там перечислены только имена и нет никаких других подробностей. Поэтому единственное, что можно оттуда извлечь, это генеалогическую установку. Она не вполне похожа на замысел Людовика Святого относительно Сен-Дени или Филиппа Красивого относительно Пале-де-ла-Сите, которые были более национальными, нежели династическими, и более династическими, нежели генеалогическими. Скорее, вспоминается гробница императора Максимилиана в Инсбруке, предваряемая двумя рядами бронзовых предков. Трудно себе представить Людовика XIV, сколь бы он и его подданные ни были горды древностью королевского дома, собирающим изображения своих далеких родичей, живших до восшествия на престол Генриха IV. При распродаже коллекций Геньера короля хватило лишь на покупку луврского Иоанна Доброго.

Кроме того, возникает вопрос, не было ли в XVII веке более четкого разделения монархического и семейного принципа? В этом смысле весьма показательна динамика Сен-Дени: замысел Людовика Святого продолжал осуществляться его восприимчиками вплоть до последнего Валуа. Начиная с Генриха IV местом королевского упокоения по-прежнему служит Сен-Дени, но теперь захоронение обретает некоторую аноним-

ность, поскольку осуществляется в общей для всех королей могиле; нет больше надгробных памятников, и никто не заботится о том, чтобы продолжить ряд, во главу которого Людовик Святой поставил Хлодвига. Эта чередя королей продолжает существовать в литературе по Истории Франции, в частных иконографиях, но в Сен-Дени более официально не поддерживается. Что это: нежелание представлять во всей конкретике монументального памятника смерть короля, который неподвластен смерти? Господство популяризованной гравюрами королевской литургии, которая постоянно воспроизводится безотносительно к течению времени? Не суть важно; достаточно подчеркнуть особый характер замысла Большой Мадмуазель, которая поступила не столько как принцесса крови, сколько как наследница знатного дома, в этом смысле мало отличающегося от других семейств того времени, когда генеалогически подтверждаемые родственные связи определяли их место в сословной иерархии и подпитывали литературу о семейных корнях.

Галерея Рабютена, кузена госпожи де Севинье, сформировалась между 1666 годом, когда он вышел из Бастилии после скандала с «Любовной историей галлов», и 1682 годом, когда ему было позволено покинуть родовой замок в Бургундии и вернуться ко двору. Рабютен обладал куда меньшей систематичностью и исторической любознательностью, нежели бывший королевский казначей, сеньор де Борегар. Его портретное собрание имеет гораздо менее методический характер. Тем не менее изображения тематически распределены по трем залам: полководцы, короли и знаменитости, знаменитые женщины начиная с Агнесс Сорель.

Это последняя историческая галерея вплоть до появления аналогичного предприятия уже при Луи-Филиппе. Сперва исчезает мода на современный портрет в том виде, в каком она существовала в XVI веке, затем на ретроспективный портрет, свойственная первой половине XVII века и свидетельствовавшая об особом чувстве Истории.

Перед тем как закончить с историческими портретами попытаемся сопоставить изображения исторических лиц и выявить их относительную популярность в начале XVI века.

Для всех коллекционеров портретов история начинается приблизительно в один и тот же период. Если вынести за скобки мало осведомленного об Истории Франции Джовио, то Борегар и Рабютен оба начинают с первых Валуа: первый — с правления Филиппа VI, второй — с Агнесс Сорель и дю Геклена. Ришелье заходит чуть дальше, без сомнения подавившись соблазну включить Сугерия; но из 25 портретов лишь два отсылают к эпохе до первых Валуа.

Приход к власти Валуа и период около 1400 года становятся началом приближенной Истории, за пределы которой выходить нет надобности. Это живая история, существующая в рамках устной традиции, на которую часто ссылаются в политических и частных беседах. Еще в XVIII столетии Вольтер противопоставлял ее более ранним эпохам, изучение которых он считал бесполезным: «Мне кажется, что желающие с толком провести время не станут тратить жизнь на увлечение древними баснями. Я хочу, чтобы молодой человек, слегка познакомившись с давними временами, начал всерьез изучать историю с того момента, когда она становится для нас действительно интересна, то есть где-то с конца XV века».

Эта приближенная, устная и иконографическая история, «новейшая» для той эпохи, отличается от истории ученой, книжной, бесконечно компилятивной. У них разные отправные точки: для литературной Истории Франции — Фарамон, для приближенной Истории — Валуа. Здесь стоит вернуться к тому, что было сказано по поводу настоящего, длившегося от Франциска I до Генриха III, и о современности Генриха IV, символизируемой конным портретом первого Бурбона над каминном в замке Борегар. XVII век не обладал ощущением — по крайней мере, непосредственным ощущением — непрерывной исторической длительности, которое, напротив, было чрезвычайно сильно в Средние века, когда существовала лишь всеобщая История, ведущая отсчет от сотворения мира. В этом смысле исторический труд Боссюэ исключителен и анахронистичен — то ли отголосок Средневековья, то ли слишком ранний предвестник провиденциализма Жозефа де Местра. В XVII столетии люди жили не в *единой* истории, а во *многих* отдельных исторических комплексах, каждый из которых имел

свою точку отсчета и систему координат: История Франции — приближенная История, начинающаяся с Валуа — актуальная История, в XVI веке начинающаяся с Франциска I, в первой половине XVII века — с Генриха IV и для XVIII века — с Людовика XIV: набор автономных временных блоков.

Между галереями Джовио и Борегар существуют безусловные параллели. Конечно, Джовио не знал Истории Франции и представлял себе ее королей лишь начиная с Карла VIII. Однако и у Джовио, и в Борегаре немало общих итальянских, испанских, турецких и берберских имен. Похоже, что столь многочисленные в списке Джовио персонажи итало-испанотурецкого Средиземноморья XV—XVI веков сохраняли достаточную актуальность и в начале XVII столетия, чтобы заинтересовать Ардые и предопределить его выбор: оттоманские султаны, Тамерлан, Савонарола, Цезарь Борджиа, Христофор Колумб, Гонсало де Кордова, герцог Альба... Напротив, к эпохе Рабютена все это уже мертвая история. В его галерее есть лишь один итальянец из списка Джовио — Пикколомини (которого нет в Борегаре) и один испанец — герцог Альба. Фигурировавшие и у Джовио, и в Борегаре турецкие султаны, берберские властители и Скандербег не попали на стены галереи Рабютена. Средиземноморский космополитизм уже не был живым чувством среди любителей иконографии: он сохранялся лишь в собраниях гравюр экзотических нарядов.

В Рабютене один из залов посвящен дамам, а другой — полководцам: такое разделение все еще в духе Брантома. Напротив, ни Джовио, ни Ардые, ни Ришелье не проявляют интереса к женщинам. Оставим в стороне правительниц, принцесс крови и регентш, которые стоят в общем ряду с государственными деятелями: они присутствуют в Борегаре, однако не допущены в Пале-Кардиналь. Поэтому особенно значимы портреты тех женщин, которых, наперекор этому остракизму, оказалось невозможно обойти. Их только две: два портрета в Борегаре и один в Пале-Кардиналь. В Борегаре это Жанна д'Арк и Диана де Пуатье. В Пале-Кардиналь — Жанна д'Арк.

В итальянских иконографических собраниях много портретов философов и художников. Французы, напротив, их игнорируют: единственный писатель, попавший в Борегар, это

Рабле. Французские галереи имеют исключительно политический, военный и галантный характер.

Попробуем составить небольшой список наиболее часто повторяющихся имен государственных и военных деятелей. Лишь одно фигурирует во всех четырех наборах — и у Джовио, который не слишком интересовался делами Франции, и в Борега-ре, и в Пале-Кардиналь, и в Рабютене: это Гастон де Фуа, чье недолгое и славное поприще сделало его одним из самых популярных полководцев во всей Истории. По правде говоря, то же самое можно было бы сказать и о коннетабле де Бурбон, если бы его намеренно не проигнорировал Ришелье: он есть у Джовио, в Борега-ре и у Рабютена. Его отсутствие в Пале-Кардиналь на самом деле удивительно: в общественном мнении его предательство еще не приобрело того позорного оттенка, который появится в современном обществе со свойственными ему более жесткими моральными императивами. В истории XVII века, даже не его излете, были примеры перехода из одного лагеря в другой: Великий Конде, позднее — поразительный Бонневаль, который служил принцу Евгению против своего государя и закончил дни константинопольским пашой. Их общественное осуждение было весьма недолговечным. Однако Ришелье уже враждебен этим архаическим вольностям, и отсутствие в его галерее коннетабля де Бурбона свидетельствует о формировании более жесткого понимания гражданской и военной дисциплины.

Помимо коннетабля де Бурбона трех изображений также удостоивается дю Геклен, старший среди действительно популярных героев. Ришелье попытался пойти еще дальше, вспомнив одного из коннетаблей Филиппа Красивого и первых Валуа⁹². Но он единственный, у кого фигурирует этот персонаж: перед нами чисто археологический опыт, не имеющий будущего. Итак, дю Геклен. Затем Жанна д'Арк и ее боевые товарищи. Портрет Жанны присутствует в Борега-ре и в Пале-Кардиналь. Бюсси, по-видимому, вполне намеренно оставляет Орлеанскую деву без внимания: он не мог поверить, что женщина способна хранить добродетель посреди военного лагеря! Но все французы единодушны в выборе бастарда Орлеанского, Дюнуа. Во Франции он

⁹² Имеется в виду Гоше де Шатийон.

был одним из самых знаменитых героев. В наши дни его в общественном сознании заменила Жанна д'Арк, и Дюнуа теперь помнят только историки. Меж тем в XVII веке он стоял даже перед Жанной. Их славу делят еще два героя, Ла Гир и Ксентрай: их портреты есть в Борегаре и в Рабютене, и если Ришелье не включает их в свой список, то лишь из-за необходимости ограничить выбор. Кроме того, они фигурировали на самых ходовых изображениях — игральных картах. Интересно, что воспоминание о военной эпопее Дюнуа и Жанны д'Арк еще живо в XVII веке.

От героев Столетней войны (т. е. от дю Геклена до Жанны д'Арк) — к героям итальянских походов. Ла Тремуи, который, как сказано в подписи к гравюрам с портретов из Пале-Кардиналь, «в пятнадцать лет надел ратные доспехи и оставил их лишь вместе с жизнью в восемьдесят лет в сражении» под Павией. Как мы уже видели, Гастон де Фуа, коннетабль де Бурбон, и Баярд. Заметим, что Рабютен не берет Баярда, хотя включает в свое собрание коннетабля де Бурбона. Но «добрый рыцарь без страха и упрека» был столь же популярен, как и его противник.

Таковы были наиболее привычные исторические имена, принадлежавшие наиболее удаленным (из известных) периодов. Далее идут, естественно, более многочисленные имена важнейших из участников религиозных войн: это очень близкое прошлое, едва вековой давности даже для Рабютена. К примеру, Анн де Монморанси, первый герцог де Гиз, покоритель Кале, и Монлюк, о котором всегда говорили «наш храбрый Монлюк» точно так же, как о Баярде — «добрый рыцарь».

Все это люди военные.

Лишь одному деятелю церкви удастся собрать голоса в свою пользу: это кардинал д'Амбуаз, первый среди великих кардиналов — государственных деятелей, служивший королю. Понятно, что Ришелье интересуется кардиналами, поскольку принадлежит к их числу. Но Рабютен этим не ограничивается. Напротив, он включает в свой список Мишеля де л'Опиталья, которого обходит вниманием Ришелье, но который также фигурирует в Борегаре, в целом более благосклонном к магистратам.

Итак, широко известны имена великих (неважно, удачливых или неудачливых), порой даже чужеземных полководцев — скажем, как герцог Альба, — которые уже стали легендой или

близки к тому. За ними следует несколько прекрасных и галантных дам. Это не вполне очевидно из предшествующего анализа, поскольку не в характере казначея де Борегара или Ришелье было коллекционировать парсуны великих любовниц. Но стоит привести два часто упоминавшихся имени и часто воспроизводившихся образа: это Агнесс Сорель, которая порой выступает в качестве соперницы Орлеанской девы (конечно, у тех авторов, кто враждебен идее сверхъестественной миссии Жанны д'Арк), и Диана де Пуатье, слишком исторически близкая и знаменитая, чтобы Ардье решился не украсить ее изображением стены своей галереи.

Отвага и галантность: темы, которые мы чуть позже встретим в рыцарских и любовных романах.

Исторические галереи исчезают во второй половине XVII века. Не потому, что породившая их любознательность сошла на нет: она видоизменилась, отчасти слилась с новым вкусом к эрудиции. В конце XIX столетия вышел целый ряд прекрасных исследований, посвященных великим ученым той эпохи, как среди бенедиктинцев, так и среди мирян. Здесь не место их воспроизводить, поэтому выделим лишь ту эрудитскую прививку, которую получают антикварию.

В конце XVI — начале XVII века первые ученые-эрудиты были коллекционерами, и не столько портретов, сколько рукописей и текстов.

Семейство Ардье из Борегара, а до них семейство Гуффье принадлежало к административной буржуазии, причастной к политическим, экономическим, военным сферам. Как правило, собиратели документов — первые эрудиты — были членами парламента или парламентскими адвокатами, по крайней мере, это справедливо по отношению к началу XVII века. Таков был президент парижского парламента де Ту, который оставил после себя историю своего времени, хотя и написанную на латыни. В своем «кабинете», еще в ренессансном духе наполненном предметами античного искусства, он собирал и любителей древних текстов и истории, и светских остроумцев. Кроме того, он следил за образованием будущих историков — например, младшего из Годфруа.

Годфруа — весьма любопытное семейство, члены которого, от отца к сыну, на протяжении всего XVII века занимались правом и историей. Отметим по ходу дела этот альянс между правом и историческими исследованиями, контрастный тому, который (согласно Сорелю и Мезере) существовал между Историей Франции и литературой. Дени Годфруа был протестантом и бывшим парламентским адвокатом, который в 1579 году эмигрировал в Женеву. Он преподавал право сперва в Страсбурге, затем в Гейдельберге. Помимо правовых трудов и «*Corpus juris civilis*»⁹³, а также собрания постварроновских латинских грамматиков и изданий Цицерона, он также оставил после себя трактат по римской истории. Все это вполне в духе ренессансного гуманизма. В марте 1611 года он оправил своего сына Жака в Париж с рекомендательным письмом к президенту де Ту: «Вручитель сего — второй из моих сыновей, которого я посылаю, дабы он вступил на адвокатское поприще. У него неплохие познания по праву, кроме того, по истории, *даже по галльской и франкской* [это «даже» надо понимать в том смысле, что римскую он изучал более основательно. — Ф. А.]. Так что он может изложить почти целиком каждый год вплоть до 500-го от Р. Х. [как будто после 500 года заучивать наизусть хронологию не имеет смысла. — Ф. А.]. В качестве первого опыта он решил на четырех-пяти страницах и при помощи топографической карты наглядно показать истинные истории *наших франков*».

Тремя годами позже старший Годфруа снова писал де Ту: «Не решаюсь более докучать вам по поводу моего младшего сына, который, как я знаю, немало преуспел в праве и в истории, *особенно франкской*. Вот уже более трех лет как он сидит у меня на шее, вместо того чтобы, как должно, заняться юридической практикой. Поэтому я его отзываю домой, чтобы выслушать его решение и с Божьей помощью устроить его, то есть либо снова отослать его заниматься адвокатурой, либо обратиться куда-то в другое место, где он сможет завершить свою историю франков, над которой он, как мне известно, прилежно и старательно трудится».

⁹³ То есть изданий так называемого «Свода Юстиниана» — свода римского гражданского права, кодифицированного при императоре Юстиниане.

Когда Пейреск вслед за канцлером дю Вером приехал в Париж, то стал частым посетителем кабинета де Ту. Но основным местом обитания этого советника парламента Прованса был Экс, где он собрал пеструю коллекцию разнообразных документов по археологии, истории, естественным наукам и астрономии.

После смерти президента де Ту завсегдатаи его кабинета стали собираться вокруг братьев Дюпюи, духовных наследников ученого магистрата. Их отец был советником парижского парламента, и один из братьев имел адвокатскую практику.

Дюканж, будучи 1610 года рождения, принадлежит уже к следующему поколению. Но он также выходец из судейской семьи, обладавшей правами на одну из судейских должностей в Пикардии: в его роду от отца к сыну переходило звание прево Бокени. Один из старших братьев Дюканжа обосновался в Париже в должности парламентского адвоката. Сам он, перед тем как чума заставила его покинуть Амьен, приобрел должность казначея амьенского округа.

Этот круг магистратов не похож ни на более богемную среду ренессансных гуманистов, ни на светские салонные и версальские собрания XVII века: именно в нем с конца XVI века начинает развиваться особое отношение к письменному документу.

Можно предположить, что в силу профессиональной необходимости этим адвокатам и судьям приходилось много иметь дело с древними — средневековыми, каролингскими, византийскими и римскими — текстами, поскольку до Революции ни римское, ни кутюмное право не имело срока давности, после которого старые уложения утрачивали бы силу и к ним уже можно было бы не прибегать. Поэтому им легче было справляться с начертательными, языковыми и терминологическими сложностями изучения средневековых хартий и документов. Однако эта хронологическая преемственность прошлого и настоящего отнюдь не всегда соответствовала духу исторических исследований, поскольку прошлое становилось слишком профессионально знакомым и не слишком хорошо отделенным от настоящего. Лишь пропасть 1789—1815 годов создаст ту временную отстраненность, которая позволит Огюстену Тьерри, Гизо и Мишле восторжествовать над Велли, Анкетилем и Мезере.

Историческая любознательность парламентариев начала XVII века объясняется не только их профессиональными навыками. В ее истоке лежит желание с помощью текстов подтвердить социальные, политические, иногда просто протокольные prerogatives собственного сообщества и, в более широком смысле, своего класса — класса чиновничьей буржуазии, образовавшегося в результате экономического кризиса XVI века. Созданные во второй половине XVI века истории Франции композиционно отличаются от предшествовавших им анналов и от последующих литературных историй. Дело не ограничивается хронологическим изложением событий (выборочно исследованным нами немного выше); как правило, оно составляет лишь половину труда, тогда как вторая половина нередко задумывается как исследование институтов. Речь идет о том, чтобы объяснить истоки основных монархических учреждений — короны и коронации, принцев крови, высших государственных должностей, высших судебных палат — и вывести политическую философию, согласно которой абсолютизм должен быть смягчен обычными правовыми институтами, где важную роль играет парламентская буржуазия.

Позднее пищей для этой любознательности станут многочисленные манускрипты, ранее погребенные в библиотеках аббатств и напроць позабытые, которые пошли по рукам в результате грабежей и разрушений эпохи религиозных войн. С этого момента любители начинают коллекционировать рукописи, как ранее коллекционировали античное искусство и монеты. В библиотеках де Ту, обоих Годфруа, Дени, Мазарини и Кольбера рядом с печатной продукцией хранились папки с рукописями. Из этих частных хранилищ черпали свои материалы эрудиты времен Старого порядка вплоть до того момента, когда Революция завершила начатый еще в XVI веке процесс собирания архивов. Так, в предисловии к «Памятникам французской монархии» Бернар де Монфокон указывает среди своих источников коллекции Пейреска: «Всеми изображениями Карла Великого, которые находятся в Экс-ла-Шапель, я обязан президенту эксского парламента г-ну де Мозангу [без сомнения, наследнику Пейреска или тому, кто приобрел его бумаги. — Ф. А.], равно как и многими другими деталями, извлеченными из бу-

маг славного г-на де Пейреска». Заметим, что Монфокон пишет это через сто лет после смерти Пейреска.

Речь идет не о коллекционерской мании: рукопись разыскивается не только как ценный артефакт; в ней видят исторический документ, который, если нельзя приобрести, необходимо скопировать, описать, кратко пересказать. Поэтому, подобно средневековым аббатам, тот же Пейреск или Дени II Годфруа содержат настоящие копировальные мастерские. Согласно Каэн-Сальвадор, одному из недавних биографов Пейреска, тот «обзавелся секретарем-рисовальщиком, переплетчиком, переписчиками, которые приводили в порядок документы, воспроизводили редкие тексты, изображения [отсюда интерес к этому собранию со стороны Монфокона, точно так же как собранием Монфокона позднее воспользуется Эмиль Маль. — Ф. А.], рукописи, чтобы он мог либо отследить их по своим бумагам, либо послать их копию своим друзьям и корреспондентам». «Основная цель наших изысканий, — писал сам Пейреск, — состоит лишь в том, чтобы сообщить их тем, кому они могут быть интересны и кто способен извлечь из них пользу». Пятьюдесятью годами позже Дени II Годфруа точно так же будет держать у себя четырех «писцов» и пять «помощников», предоставляя им кров, стол и оплачивая их услуги.

Эти тексты не только собирались, воспроизводились, описывались и анализировались. В 1588 году Питу, первый публикатор «коллекции» неизвестных документов, начинает их издавать: само слово «коллекция» имеет и современный библиографический смысл, и сохраняет более старое значение антикварного кабинета. В 1618 году Андре Дюшен выпускает «Библиотеку авторов по Истории Франции», а затем «*Historiae Normannorum Scriptores Antiqui*»⁹⁴. Он намеревался составить максимально полную коллекцию, двадцатичетырехтомное фолио. В конце века этот проект был возобновлен Кольбером и бенедиктинцами монастыря Сен-Мор, затем продолжен в XVIII веке, а в XIX веке подхвачен Институтом. Так что тут без труда просматривается преемственность между первыми коллекционерами XVII века и современным типом учености.

⁹⁴ «Древнениорманские исторические летописи» (лат.).

Однако в своих методах работы эти магистраты-любители сохраняли умственные привычки и интересы, по сути близкие к Ренессансу и к гуманистическому энциклопедизму, от которых откажутся их наследники эпохи Людовика XIV.

Их эрудиция не всегда бескорыстна и сохраняет тесные связи с политической и общественной жизнью. Так, около 1620 года Пейреск, Годфруа, Дюшен — все ученые из круга де Ту и Дюпюи — были призваны дать отпор памфлету некоего фламандского автора, который утверждал, что австрийский дом по прямой мужской линии произошел от Фарамона, первого короля Франции. В 1624 году Теодор Годфруа опубликовал трактат «Об истинном происхождении австрийского дома», где продемонстрировал, что на самом деле у его истоков стояли мелкие габсбургские графы, причем больше по женской линии, и тем самым происхождение у него скромное и довольно позднее. Немалое место в занятиях этих ученых принадлежало генеалогиям: тот же Теодор Годфруа составляет генеалогии португальских, лотарингских родов, семейств из герцогства Бар — в основном с задней мыслью представить в выгодном свете права Бурбонов. Этот вкус к генеалогии просуществует до самого конца века, поддерживаемый такими знатоками, как Озье, Геньер, Клерамбо. Если для человека двух последних веков Старого порядка История Франции была, по сути, династической, то История как таковая всегда склонялась к семейной. Не будем забывать, что невезучий Балюз навлек на себя опалу и гораздо более долговечные насмешки Сен-Симона, рискнув своей репутацией в вопросе происхождения Овернского дома.

Пейреск сохранил позднесредневековую страсть к гербам. Как было справедливо замечено, геральдика — единственная из средневековых наук, создавшая собственную терминологию.

Из 17 записных книжек Пейреска, которые хранятся в библиотеке Энгембертин в Карпантра, две посвящены гербам и девизам.

Пейреск также собирал документы о порядке старшинства в парламенте — той корпорации, к которой он принадлежал: тогда полки отяжеляли груды бумаг о рангах и старшинстве.

В первой половине XVII века это любопытство по отношению к историческим текстам простиралось и на иконографи-

ческие документы и материальные памятники. Пейреск интересовался надгробиями в Сен-Дени и сделал с них зарисовки, которыми позднее пользовался Монфокон. Но лишь в конце XVII — начале XVIII века иконографические изыскания стали отдельным направлением эрудированных штудий, прежде всего среди бенедиктинцев, чьи занятия приобретали все более научный характер, особенно в общине Сен-Жермен-де-Пре. Нельзя сказать, чтобы среди бумаг Геньера совсем не было хлама, но в целом мы уже имеем дело со специалистами, которых оттачивает энциклопедизм Пейреска, легко переходившего от естественных наук и астрономии к ведомостям Счетной палаты.

В этом смысле нам стоит обратить особое внимание на два имени: Геньер и Монфокон.

Описание города Парижа 1713 года позволяет судить о том, сколь важна, по мнению современников, была собранная Геньером коллекция: «[Его] кабинет не имеет себе равных, поскольку содержит бесчисленное множество предметов, связанных с *ранними веками*, которых нигде более нет». Как бы мы теперь сказали, это настоящий музей. «Он наполнен огромным количеством портретов всяческих персон, которые оставили по себе некоторую славу, число которых достигает 27 тысяч». Рядом с портретами, продолжающими — хотя несколько в ином духе — (по-видимому, непрерывавшуюся) традицию исторических галерей, находятся «рисунки самых значительных гробниц и витражей самых красивых церквей Франции». Часть этих коллекций ныне хранится в Кабинете эстампов, но к ним надо добавить и гобелены XV—XVI веков, которые до нас не дошли. Автор «Описания» обращает внимание посетителя на пользовавшийся особой известностью портрет короля Иоанна и на изображение придворного бала времен Генриха III (затем окрещенное свадьбой Жуайеза). Это то, что касается гравюр, картин и рисунков. Далее путеводитель переходит к рукописным фондам и автографам: «Многие тома, написанные старинным почерком, принадлежавшие разным знаменитым персонам, которые поставили подпись собственной рукой». А также более мелкие диковинки: жетоны, старые колоды карт (элемент традиционной «коллекции», сохранившийся рядом со вполне научными фондами), череда кавалеров ордена Святого Духа,

которых Геньер разместил в собственной спальне! Но автор «Описания» особо выделяет главное сокровище особняка Геньера: «Одна из самых необычайных и редкостных вещей — собрание всех нарядов, которые носили не только во Франции, но за ее пределами, в Германии, начиная с царствования Людовика Святого до наших дней... весьма тщательно извлеченных из множества старинных изображений».

Особняк Геньера был одним из самых знаменитых частных — но до Революции почти все они были частными — музеев Парижа, в который путешественнику стоило попытаться проникнуть.

Таким образом, в конце правления Людовика XIV в Париже существовал музей, на посещении которого настаивали туристические путеводители. Еще до Версаля эпохи Луи-Филиппа это был настоящий музей французской истории, поделенный на три секции: портреты как в Борегаде, только в сто раз более многочисленные; памятники как у Монфокона; костюмы. Такое впечатляющее собрание документов представляет первостепенную важность с точки зрения истории идей; однако интерес к Геньеру до сих пор проявляли только историки искусства, поскольку его рисунки сохраняют облик исчезнувших памятников и его коллекции — один из важнейших фондов Кабинета эстампов, происхождение которых играет важную роль. Что же касается политических и социальных историков, историков литературы, то они остались равнодушны, как будто нет ничего удивительного в том, что человек конца XVII века тратит свою жизнь и состояние на коллекционирование иконографической истории Франции и костюмных привычек французов! Надо признать, что случай Геньера действительно необычен и поразителен. В какой-то мере он связан с уже известной нам традицией собирания исторических портретов и все еще популярных в середине XVII века собраний мод и костюмов: характерное свидетельство интереса к различным обычаям, поскольку далеко не всегда речь идет о придворных нарядах. Конечно, Геньер сохраняет некоторые коллекционерские мании: его по-прежнему интересуют жетоны и игральные карты. Но, в отличие от Пейреска, он не собирает все подряд. У него нет ни малейшего интереса ни к естествен-

ным наукам, ни к античному искусству. Один из корреспондентов писал ему по поводу собственных находок, что «как известно, у него нет любопытства к римским древностям». Для той эпохи это весьма примечательная черта. Наконец, его жизнь и переписка проникнуты исследовательским духом, намного превышающим страсть к коллекционированию или фантазии любителей портретных галерей. В этом Геньер не одинок. Он поддерживает связи с учеными бенедиктинцами и с целой группой прелатов и интендантов, которые следят за его трудами, пишут ему, присылают документы и указывают на собрания интересных материалов. Вокруг Геньера мы видим весьма примечательный круг людей, обладавших вкусом к истории и к историческим документам.

Геньер был завсегдатаем собраний в Сен-Жермен-де-Пре, встречаясь там со сливками ученого Парижа того времени: Дюканжем, Балюзом, ориенталистом Эрбло, гебраистом Котелье, редактором «Журналь де саван», историком церкви аббатом Флери и нумизматом Вайаном. Он переписывался с монахами различных провинциальных аббатств, в частности бретонских, которым провинциальные Штаты поручили подготовить и издать историю того или иного герцогства: по-видимому, сотрудничество было достаточно тесным, поскольку Геньер предлагает им собственный план предполагаемого труда. Значит, его интересует не только коллекционирование документов, но и их публикация. В качестве ответного жеста отцы срисовывают для него портрет одного из бретонских герцогов XI века.

Геньер пытается воспользоваться тем, что Монфокон отправляется в Рим, и просит посмотреть для него документы в архивах замка Сант-Анджело, но Монфокон отказывается, поскольку за право доступа к ним надо платить по тестону в год, а это слишком дорого.

В Пуату его друзья-бенедиктинцы приглядывают за остатками галереи Гуффье-Уарон. Они хорошо знакомы, поскольку Геньер снимал копию с их картулярия. Бенедиктинцы посылают ему целый ящик портретов. Один из монахов сообщает: «Я написал в Уарон, чтобы прислали 20 картин». Они обойдутся в 10 экю, «да еще вдобавок дают двадцать первую, портрет Бургундского герцога». Некоторые из них в плохом состоянии:

«Гильом де Монморенси разломан надвое». Но их тщательно подготовили к транспортировке: «Они уложены в ящик и хорошо упакованы за исключением четырех больших, которые туда не влезли, а именно: Иоанн, захваченный в плен при Пуатье; сильно подпорченный герцог Бургундский, некто с эмблемой на шляпе [неизвестный!] и герцог де Гиз Меченый».

Аббатиса Фонтевро также позволяет ему снять копию с картулярия. Его интерес к текстам столь же силен, как увлечение иконографией, и он не жалеет сил на долгие транскрипции. Аббатиса — сестра госпожи де Монтеспан, она поощряет его «вкус к редкостям, который стал вашим основным занятием». Но, по правде говоря, их отношения далеки от того увлеченного сотрудничества, которое связывает его с монахами из Пуату: «Увлечение это не только невинно, но похвально и полезно...»

Таким образом, Геньер напрямую связан с бенедиктинским движением обновления исторических исследований.

Но у него немало корреспондентов и за его пределами, как среди белого духовенства, так и мирян, причем иногда весьма высокого положения. Не столь удивительно видеть среди них м-ль де Монпансье (или, по крайней мере, кого-то из ее дома) и Бюсси-Рабютена. Последнему Геньер писал: «Посылаю вам все, что мне встретилось по поводу вашего дома»: часть галереи Рабютена была посвящена его предкам.

Документы для него добывает и Юэ, епископ Авранша: как и уаронские бенедиктинцы, он ищет удобный случай — и поджидает кончину одного лильского коллекционера, у которого собрано 78 портфелей портретов.

Архиепископ Арля посылает ему печати. А интендант Канна пишет: «Я повелел скопировать акты об основании старинных аббатств и зарисовать надгробия». Он и сам не чужд коллекционирования: ему удалось отыскать «редкостный молитвенник из тех, что вам приходилось видеть», это великолепное произведение, украшенное гербами, портретами королей и аббатов. «В этой книге обнаруживается бесчисленное количество любопытных вещей и исторических подробностей», и хотя она не датирована, счастливый обладатель «предполагает», что она относится к середине XV века. Это далеко не первая его добыча: «Я по-прежнему собираю старинные часословы... которых у ме-

ня уже 123». Коллекционеры копируют имеющиеся у них редкие документы и обмениваются ими. Геньеру в этом помогает его камердинер, который составляет собственную коллекцию портретов, так что в момент смерти хозяина его начинают подозревать в намерении украсть наследство и все имущество опечатавают, не дожидаясь последнего вздоха старого археолога!

Как мы видели, музей Геньера был знаменит не столько своими изображениями памятников и витражей, сколько собраниями костюмов. К ним проявляла интерес госпожа де Монтеспан, их осматривал король и посещал герцог Бургундский. Но проницательные умы понимали археологическую ценность такого собрания и по достоинству воздавали человеку, который сумел его составить благодаря упорству и обширной сети корреспондентов. Министр ле Пелетье говорил о Геньере: «Его кабинет наполнен прекраснейшими и редчайшими манускриптами, бесчисленными гравюрами и памятниками, весьма полезными для *прояснения Истории*». Поншартрен намеревался даже создать для Геньера должность хранителя исторических памятников в штате короля. Проект не был реализован, однако он доказывает, что в Геньере видели не только коллекционера «рисуночков», но знатока «памятников, полезных для прояснения Истории».

Одним из корреспондентов Геньера был Бернар де Монфокон. В отличие от многих ученых, вышедших из среды мелкой буржуазии и даже из простонародья (так, Мабийон был сыном землепашца, а Роллен — ножовщика), Монфокон был отпрыском благородного семейства. Перед тем как стать членом бенедиктинской общины Сен-Мор, он служил в войсках под началом Тюренна. Его ученое поприще началось с подготовки изданий трудов святого Афанасия, Оригена, Иоанна Златоуста, трактата по греческой палеографии, и лишь в 1719 году он выпустил десять томов ин-фоллио «Объясненной Античности». 1800 экземпляров разошлись менее чем за два месяца, поэтому в этом же году был выпущен следующий тираж: 3800 экземпляров десяти томного издания, то есть всего было продано 38 000 томов. В 1724 году автор добавил к ним еще пять томов приложений. Это был настоящий издательский успех. Но Монфокон на этом не остановился. Тогда же начинают выходить большие бенедиктинские истории провинций: Бретани, состав-

ленная доном Лобино (именно для нее Геньер предлагал свой план), и Лангедока, составленная доном Вессеттом. Стоит особо подчеркнуть, что субсидировались эти дорогостоящие публикации за счет штатов соответствующих провинций, что было знаком исключительного интереса нотаблей к истории их региона. Действительно, именно XVIII веком датируется возникновение регионального патриотизма в современном понимании, имевшем мало общего со средневековым изоляционизмом.

Монфокон проникся тем интересом, который многие из его соратников испытывали к «ранним векам» нашей Истории. Он задумал оригинальный проект: составить Историю Франции на основании археологических данных, то есть сделать для Средних веков то же, что он уже сделал для Античности, добавив к этому историю нравов. Он собрал материал для обширной коллекции, которую озаглавил «Памятники французской монархии», но ему не хватило времени, чтобы полностью завершить задуманный труд. Благодаря проспекту, которые книгоиздатели, чтобы привлечь подписчиков, предпосылали выходу издания, нам известен его план. Эта разновидность издательской рекламы стремится пробудить интерес публики, а потому укрупняет те аспекты, которые способны привлечь ее внимание. Огромный успех предшествующего труда Монфокона показывает, что у него была своя постоянная читательская аудитория.

Для начала издатели подчеркивают необычный характер начинания: «Столько всего было сказано о греках и римлянах, что резонно обратить внимание и на то, что затрагивает нас гораздо ближе, не опасаясь уронить свое достоинство такой изменой почтенной Античности». Нет ничего постыдного в том, чтобы интересоваться «ранними веками» нашей национальной Истории. «Помимо того, что вкусы и гений столь грубой эпохи сами по себе являются весьма увлекательным зрелищем [уже экзотика примитивизма. — Ф. А.], национальный интерес [здесь мы обнаруживаем след того же исторического патриотизма, уже известного нам по традиционным Историям. — Ф. А.] с лихвой восполняет то удовольствие, которое могли бы доставить нам более элегантные памятники». Авторы проспекта еще не решаются поставить на один эстетический уровень Средневековье и Античность, но уже признают интерес и важность Средних веков.

После этого издатели знакомят нас с планом серии: «В общий план этого труда входит сперва краткая История Франции, портреты королей, властителей и сеньоров, от которых нам остались какие-нибудь памятники». Здесь особой оригинальности нет — уже Мезере представлял свою историю как текст, иллюстрированный изображениями монет. «Портреты и повествование, — писал он, — почти единственные средства, с помощью которых можно добиться столь прекрасного результата». Тут, конечно, преломляется неистребимый вкус эпохи к исторической иконографии. «Тогда как портреты изображают лица и позволяют увидеть внешний вид и величество царственной особы, повествование рассказывает об их деяниях и описывает нравы». «Предпринятая мной История, — продолжает Мезере, — состоит из двух частей: перо и резец гравера вступают тут в благородный поединок, чтобы решить, кто лучше представит те предметы, к которым она [История] обращается; здесь не менее забавы для глаза, нежели для ума, и будет о чем поговорить даже тем, *кто не умеет читать* или не хочет брать на себя этот труд». Но это сотрудничество пера и резца не удержалось. Уже отец Даниэль возмущался фальшивыми изображениями у Мезере, который, правда, почел необходимым предостеречь читателя: «Если окажется, что некоторые из них [этих медалей], принадлежащие наиболее отдаленным векам, на самом деле были отлиты в другие времена, то это не означает, что перед нами чистая подделка... Читатель, принявший во внимание то, сколько разумно они были придуманы, поймет, что сделано это не из желания его обмануть, а для того, чтобы *с помощью такого средства восстановить прервавшуюся в этом месте целостность истории*». Более строгая научная позиция уже несовместима с этой фантазийной манерой иллюстрирования. Монфокон обращается только к подлинным документам. Но его книга открывается Историей Франции, вдохновленной традиционными историями и продублированной иконографическим рядом в духе коллекций Ардье из Борегара или Геньера. В предисловии к первому изданию Монфокон упоминает среди своих источников рисунки Геньера, которые были предоставлены в его распоряжение: бенедиктинец и коллекционер поддерживали добрые отношения как исследователи и ученые. Иными словами,

мы видим здесь двойную традицию Истории Франции как текста и как набора изображений. В пятитомном ин-фолио 1733 года будет опубликована только первая часть труда; а многочисленные гравюры вместе с рисунками Геньера станут золотой жилой для историков искусства, поскольку воспроизводят не дошедшие до сегодняшних дней памятники, витражи и документы. Но, согласно первоначальному плану, все это должно было быть содержанием первого тома.

«Далее, — читаем в издательском проспекте, — величайшие храмы и главные постройки королевства». Иными словами, иллюстрированный и откомментированный инвентарь светских и церковных построек. «Там будет представлен вид старинных церквей, истоки того, что мы называем готикой, красивейшие из готических соборов королевства, самые примечательные части храмов». Далее предполагалось «перейти ко всему тому, что касается обычаев гражданской жизни, таких как манера одеваться, справлять праздники и устраивать игрища [фольклор. — Ф. А.], начиная с древнейших времен вплоть до царствования Людовика XIII». Тратат по гражданской археологии, который, подобно влиятельным научным руководствам XIX—XX веков, не оставляет без внимания наряды: моды перестали быть исключительно объектом любознательности коллекционеров. Но без любителей диковинок, которые, подобно лабрюйеровскому собирателю⁹⁵, набивают свои папки всем, что им попадается под руку, не было бы и археологов; от коллекционирования редкостей происходит плавный переход к археологии. Это

⁹⁵ «„Не хотите ли посмотреть мои эстампы?“ — говорит Демокед, только что осудивший Диогнета. Он раскладывает их перед вами и начинает показывать. Вы обращаете его внимание на один эстамп — грязно-серый, неотчетливый, сделанный с дурной гравюры и к тому же годный для украшения не столько кабинета, сколько Малого моста или Новой улицы в праздничный день. Демокед не отрицает, что гравировка плохая, да и рисунок неважный, но, уверяет он вас, это работа некоего итальянца, весьма неплодовитого, оттисков с гравюры было сделано мало, во Франции их нет вовсе, и он, Демокед, купил этот экземпляр за огромные деньги и не променяет его на самый лучший эстамп» (Ла Брьюйер «Характеры», гл. XIII «О моде»).

справедливо не только по отношению к естественным наукам, где этот феномен неоднократно отмечался, но в отношении истории.

После гражданской археологии — военная: «Вслед за обычаями гражданской жизни он [Монфокон] обращается ко всему тому, что связано с военным состоянием во времена всех трех королевских династий, — знаменам и флагам, военным машинам, боевым построениям... представленным на изображениях, извлеченных из подлинных памятников». Закончить Монфокон должен был погребальной археологией: «Описание вполне естественно завершится наиболее примечательными гробницами разных видов».

Мы видим здесь те же водоразделы, что в коллекции Геньера: и действительно, тот же дух воодушевляет Монфокона, хотя последний, по-видимому, вооружен более научной методой. Геньер поддерживал переписку с гражданскими, церковными, монастырскими деятелями, которые приобретали для него оригинальные документы или копировали памятники и различные редкости. Точно так же Монфокон для пополнения своего документального свода обращался к своим знакомым и к любителям прошлого. Сохранился ряд полученных им писем читателей, которые отражают тогдашнее состояние умов по отношению к французской археологии. Так, маркиз де Комон писал ему: «Не знаю, хватит ли у вас материала и удовлетворят ли любопытство публики опусы такого рода. [Он говорит о Средних веках примерно так же, как сегодня порой говорят об африканском искусстве. — Ф. А.]. Эпоха Средневековья способна снабдить вас лишь малоинтересными памятниками. Завладевший архитектурой готический стиль почти всегда однообразен. Дворцы, церкви, замки... возведены тяжело и неповоротливо; это почти произвольно собранные каменные массы; гробницы и фасады соборов выполнены в ином, но ничуть не лучшем вкусе; такого рода памятники заставляют восхищаться прилежанием мастеров, примерно так же, как мы восхищаемся прилежанием нюрнбергских немцев, наводнивших всю Европу своими игрушками из слоновой кости». Этот текст любопытен не самим фактом непонимания Средних веков, но его обоснованиями, которые позволяют лучше понять, на чем осно-

ывалась такая точка зрения. Отметим слова маркиза де Комона о скульптурных барельефах: он, без сомнения, метит в пламенный стиль, характерный для излета Средних веков, порой яркий и занятный, но, следует признать, зачастую превращавшийся в упражнение в виртуозности, ради которого умелый ремесленник преодолевал инерцию дерева и камня; мнение маркиза де Комона вполне понятно, и сегодня под ним подписался бы целый ряд художников. Но маркизу знакомо лишь одно Средневековье — пламенное барокко, — и в этом случае его невежество простительно. Практически повсюду наследие XII—XIII веков было замаскировано или задавлено избытком украшений пламенного стиля — примерно так же, как в наши дни ренессансные краски и позолота скрывают изначальную наготу древних римских базилик. Потребовалась длительная археологическая работа, чтобы под наносами позднесредневекового периода отыскать раннюю и классическую готику. Даже Виолле-ле-Дюк не был свободен от этого заблуждения, по-прежнему придерживаясь в своих реставрационных работах пламенного стиля. Без сомнения, люди долго жили в архитектурном окружении XV века, чей ныне не существующий декор начал активно исчезать в конце XVII столетия: достаточно взглянуть на пейзажи, которые проглядывают за интерьерами Авраама Босса, или на гравированные виды Парижа до разрушения Нельской башни, Самаритен или Шатле. В классицистическую эпоху XV век, это Средневековье на пороге Ренессанса, был повсюду: другого Средневековья вообразить было нельзя. Отсюда интерес к нему некоторых любителей — интерес, никогда не углублявшийся далее конца XIV века. Отсюда раздражение со стороны людей утонченного вкуса. Тот же маркиз де Комон, хотя и сыт по горло виртуозностью пламенной готики, отнюдь не бесчувственен по отношению к поэзии прошлого, как это можно видеть из продолжения его письма к Монфокону: «Древние картины, барельефы и пр. могут поведать о чем-то более любопытном [как документы о состоянии нравов, а не как произведения искусства. — Ф. А.]. Приятно наблюдать разнообразие французских мод [а вот и наряды! — Ф. А.], военные костюмы, турниры, праздники и пр.» И тут вот появляется настоящий живой интерес, и Комон предлагает сотру-

ничество: «Я могу предоставить вам достаточно необычные наряды такого рода». И вот он посылает рисунок епископского дворца и предлагает зарисовать гробницы. Показательный пример того, что любители прошлого могли рекрутироваться и из числа людей со вполне современными вкусами.

Но некоторые уже на этой заре XVIII столетия начали отворачиваться от Античности. Так, маркиз д'Обуа был в восторге от программы Монфокона, она полностью соответствовала его устремлениям: «Я с жадностью проглотил ее и хочу признаться вам, что, поскольку *мои вкусы полностью обращены к последним векам*, я ожидаю этого труда с еще большим нетерпением, нежели ждал вашу „Объясненную Античность“. Это совершенно новое сочинение, которое интересует нас лично», — и он прикладывает к письму «нечто любопытное».

Мэр Нанта присылает описи документов. Он является обладателем собрания миниатюр — наиболее дорогого его сердцу искусства. Он сообщает Монфокону о миниатюре Карла VI, «выполненной золотом и красками, на которой он изображен принимающим из рук Николая Оремзского... французский перевод „Политики“ Аристотеля». У него же хранится рукопись на веленовой бумаге эпохи Франциска I «потрясающей красоты», «содержащая множество миниатюр самого изысканного вкуса».

Есть и такие, кого этот проект памятников Монархии интересует из семейного самолюбия: один из них во что бы то ни стало хотел поместить туда лестницу из своего замка! И так, переписка Монфокона, как и корреспонденция Геньера, свидетельствует о существовании публики, которая интересовалась конкретными изображениями прошлого. В эпоху, когда истории Боссюэ, Даниэля и Велли повторяли друг друга, были и читатели (вполне вероятно, знакомые с этими обесцвеченными текстами), которые принимали на свой счет следующую фразу из проспекта монфоконовского издания: «Нет ничего более поучительного, чем исторические картины, созданные современниками. Нередко они сообщают нам факты, пропущенные историками».

Книги по истории не дают нам точного представления о том, какой образ прошлого сложился в XVII веке. Напротив, иконография того времени свидетельствует о привычке к Истории,

которую невозможно заподозрить по письменным документам. То же самое относится и к роману.

«Я двадцать пять раз читал роман о Полександре», — признавался Лафонтен. На самом деле существует несколько «Полександров», которые не являются переизданиями первоначального текста. Их основные персонажи обычно сохраняют свои имена, но приключения и эпохи сильно рознятся. Всякий раз автор составляет книгу заново, поместив туда героев, принесших ему успех, и так далее.

Первое издание 1619 года еще сохраняет характерный для английского, итальянского и, в несколько меньшей степени, французского Ренессанса вкус к нагромождению времен. Карл IX и Людовик XIII обитают в Египте эпохи Германика. Так, в «Невинном инцесте» читатель хладнокровно переносится из Венеции в Карфаген. Но разве герои Шекспира не отправляются к дельфийскому оракулу из Неаполя или из Богемии? Гобелены XV — начала XVI веков без малейшего колебания представляют мифологических персонажей в современных нарядах: тогда любили эту непринужденную смесь Античности и современной жизни. Эта анахроническая фантазия сходит на нет в первые годы XVII века, хотя, как в случае первого «Полександра», следы ее продолжают мелькать то здесь, то там. Барочная путаница между Античностью и национальной историей уже недопустима по соображениям вкуса, хотя анахронизмы другого рода по-прежнему процветают, особенно в описаниях Средних веков.

«Полександр» 1629 года носит то же название, что и первый: «Изгнание Полександра». Цель романа, как и Истории, — прославление сильных мира сего: «Одно это соображение — государи, как правило, добры — побуждает меня постоянно возносить им хвалы; и так я поступаю даже с теми, чья репутация менее всего к тому располагает».

Действие происходит во времена битвы при Лепанто и дон Хуана Австрийского⁹⁶, в варварском ареале Средиземноморья. В романе два главных героя: предводитель корсаров Баязет —

⁹⁶ То есть в 1570-х гг.: битва при Лепанто произошла в 1571 г., а дон Хуан Австрийский умер в 1578 г.

подобие Барбароссы — и его друг и сподвижник Полександр. Турки и (добровольно или принудительно) перешедшие на их сторону отступники представлены скорее в благоприятном свете: ничего общего с жестокими варварами, заклятыми врагами христианства. Дело в том, что они охотятся за испанскими галеонами, подстерегая их на обратном пути из Западных Индий, а Гомбервиль откровенно терпеть не может испанцев. Он никогда не упускает возможности подчеркнуть неприятные стороны их национального характера или политики. Во время разграбления испанского флота люди Баязета обнаруживают на борту пленника, индейского принца благородной наружности. Его приключения, о которых он рассказывает добрым корсарам после освобождения, занимают половину книги. Местом действия выступает историческая Америка — Флорида, Мексика, Перу. Вынужденный бежать из Перу, захваченного и жестоко разграбленного испанцами, он укрывается во Флориде; это название дает повод одному из слушателей заметить, что честь открытия Флориды принадлежит не испанцам, а французам! «Я из тех же краев, что те, кто пятьдесят лет тому назад высадились на земли Иаказа и назвали их Флоридой». На что индейский принц с признательностью отвечает: «И как велика разница между ними и испанцами!»

Его длинный рассказ прерывается более колоритной сценой в совсем иной тональности: похороны турецкого капитана, убитого при разграблении галеонов, затем назначение его преемника и празднование этого события. Гомбервиль с удовольствием описывает арабскую литургию, приводит несколько арабских выражений и разъясняет церемонию. По такому случаю он даже набрасывает небольшой исламский катехизис. И все это без малейшей враждебности.

Далее на место усопшего назначают преемника. Прекрасная возможность для счастливого избранника поведать нам свою историю. Она короче, чем повествование перуанского принца, и немного лучше — по крайней мере на наш вкус, но, полагаю, и на вкус современников, которые любили всяческую туретчину. Этот турок родился в Марселе в провансальской семье, в памятный день битвы при Равенне, когда «победа французов лишила их Италии». Как мы помним, Гастон де Фуа, герой битвы

при Равенне, присутствовал практически во всех портретных галереях, от коллекции Джовио до Бюсси-Рабютена.

Этот вероотступник — человек неблагородного происхождения, что достаточно необычно для «исторического» романа. «Я француз, и мне ведомо, что сие преимущество столь велико, что способно возместить все прочие недостатки происхождения». В десять лет «море стало моей стихией». «Жизнь на воде была милей мне жизни на земле, и не было для меня большего удовольствия, чем в рыбацкой лодке спорить с волнами и ветрами». Во время одного такого похода — ему в то время исполнилось пятнадцать — он был захвачен в плен корсарами неподалеку от Йерских островов и отвезен в Алжир, где без малейших колебаний отрекся от своей веры. Его хозяин в Алжире «пообещал мне свободу, если я сделаюсь турком. Судите сами, стал ли я упираться и торговаться из-за того, что мне неведомо, когда мне предлагали то, без чего я не мог жить». «Так я получил обрезание». Спасение души не может перевесить свободу!

Но рядом с красочным вероотступником присутствует более сложный случай: Баязет. Этот берберский военачальник — отнюдь не турок и даже не мусульманин, как он признается, получив во время поединка ранение, которое считает смертельным. Он никогда не отрекался от веры: «Я христианин» — и француз. Но тот факт, что он крещен, не мешает ему отправлять похороны по мусульманскому обряду. Да, он считается «главным недругом христиан», но к варварам его забросила необходимость. Какая необходимость — остается неизвестным, поскольку, наперекор ожиданиям, он скоро исцеляется, оставляя наше любопытство неудовлетворенным. Но его честь не запятнана, поскольку под тюрбаном и полумесяцем он сражался с «врагами моей отчизны», то есть с испанцами и их итальянскими союзниками. Как бы то ни было, его долгое выздоровление способствует обмену признаниями. Теперь черед Полександра поведать свою историю и признаться, что и этот приятный «молодой пират» — «турок-француз».

Его приключения переносят нас из варварского Средиземноморья во Францию эпохи религиозных войн.

По своему происхождению он связан родственными узами с королевским домом. При Франциске I его отец впал в неми-

лость и был вынужден удалиться в изгнание (вероятный намек на историю коннетабля де Бурбона). Взойдя на престол, Генрих II по ходатайству Монморанси вернул опального сородича и призвал его сына ко двору в качестве товарища дофина. Поэтому Полександр с молодых ногтей был причастен к важным делам. Гибель Генриха II «от удара копья» после заключения мира с Испанией представлена как катастрофа, позволившая страстям разгуляться и начавшая период волнений, «уготовив нам ужасные материи для споров и бунтов. С тех пор она поуждала нас проливать кровь и вместе с этим доблестным государем отправить в могилу треть его подданных». Гомбервиль тут шаг за шагом следует за историей. Он описывает «бедствия шестнадцатимесячного правления [Франциска II], когда неистовая злоба половины французов, которых именуют гугенотами, обрушила на государя все, о чем могли помыслить взыскующие власти вельможи и что было внушено слабым душам *слепой страстью к спасению*».

Мы находимся посреди подлинной, лишь слегка романизированной истории. Перед нами проходят придворные досуги Фонтенбло — турниры, балеты, маскарады, переодевания. Полександр сопровождает Екатерину Медичи во время ее знаменитой поездки в Байонну на встречу с дочерью, королевой Испании. В Мо, когда королевское семейство едва не попадает в руки гугенотов, он принимает участие в его защите. На его глазах Монморанси получает смертельное ранение — а многочисленные портреты и гравюры говорят нам, сколь популярен был коннетабль. Мы видим его в битве при Жарнаке, когда будущий Генрих III одерживает победу над силами протестантов.

Повествование грозит превратиться в настоящую историю религиозных войн, но Полександр прерывает самого себя: «Позвольте мне покинуть Фортуну ради Любви и *поведасть вам не Историю Франции, а свою собственную*». Отметим этот параллелизм Истории и Фортуны. Итак, мы возвращаемся к галантным приключениям, не слишком отличающимся от любовных походов перуанского принца, когда тот в Мексике безуспешно ухаживал за королевской дочерью. Полександр влюбляется в Олимпию, то есть в Маргариту Наваррскую, будущую королеву Марго. Мы окончательно покидаем Историю

и вступаем в знакомый мир галантной героики: Полександр хочет воспрепятствовать браку между Олимпией и фаворитом датского короля Фелисмоном; мы оставляем его в Дании, где он, естественно, становится другом Фелисмона — образца благородства, но эта дружба не мешает соперникам испытать друг друга в поединке за благосклонность Олимпии.

Наш разбор намеренно ограничен историческими эпизодами, но по его ходу мы сталкиваемся с рядом основных приемов романного повествования XVII века:

Куртуазная галантность. Благородных героев, как удар молнии, поражает любовь к даме, недоступной им в силу либо внешних (похищение, противодействие семей), либо внутренних (холодность к слишком внезапному чувству) обстоятельств. Но влюбленные никогда не прекращают своих преследований, не ожидая ни малейшего вознаграждения за свое платоническое служение.

Рыцарское товарищество. Оно возникает так же внезапно, как и любовь, между двумя незнакомцами, порой между соперниками или врагами, когда они убеждаются во взаимном благородстве и отваге.

Романические приключения. Узнавание при посредстве «шкатулок», содержащих письма, портреты или документы. Состязания и турниры, на которых совершаются необычайные подвиги, изображаемые как спортивные достижения. Все это хорошо известно.

Но наряду с этими чертами, равно свойственными греко-римским пасторальям и рыцарским романам, необходимы подчеркнуть *новое стремление локализовать действие в историческом времени.* «Изгнание Полександра» — исторический роман, интрига которого вращается вокруг трех исторических тем: открытие Вест-Индий и их эксплуатация испанцами при полном презрении прав туземцев; французские религиозные войны после гибели Генриха II; мир берберских корсаров.

Любопытно сравнить, что происходит с этими историческими темами в издании 1641 года: этот «Полександр» в пяти частях представляет собой новую книгу с другой фабулой, в которой, однако, присутствуют Полександр, Баязет и индейский принц.

Вместо двора Екатерины Медичи перед нами двор королевы Анны, то есть действие отодвинулось более чем на полвека назад. Новый Полександр — король Канарских островов. Он по-прежнему враг испанцев, но теперь среди его противников и неверные турки: интересное изменение по сравнению с изданием 1629 года. Правда, алжирские берберы вызывают больше симпатии, чем константинопольские султаны.

Полександр — прямой потомок Карла Анжуйского, брата Людовика Святого: по сравнению с 1629 годом он прибавил по части знатности, как практически все герои романа, которые в начале века были просто дворянами, а при Людовике XIV превратились в принцев и королей. Предки Полександра правили восточной частью Средиземноморья, «доброй долей Италии, Греции и Фракии». Это в значительной мере соответствует сфере анжуйского морского господства в XIV веке. Гомбервиль знает Средневековье и без колебаний вписывает в него своего героя, наделяя его легендарным происхождением, которого не было в «Полександре» 1629 года.

Но предки Полександра были изгнаны с Востока византийцами, арагонцами (а значит, испанцами) и, наконец, турками. «Его отец Периандр был вынужден покинуть Грецию после того, как султан Баязет (не путать этого злодея с хорошим Баязетом с берберских берегов!) захватил Константинополь. Он женился на наследнице Палеологов и укрылся на Канарских островах, став их правителем. С их берегов он устраивал карательные походы против турок, которые в итоге взяли его в плен. Чтобы добиться его освобождения, юный Полександр вместе с матерью отправляется ко двору султана. Твердость юного героя производит впечатление на Баязета: «Это дитя напоминает мне предателя Скандербег», «Следует опасаться, чтобы он не стал вторым Скандербегом». Султан соглашается вернуть Периандра, но не уточняет, живым или мертвым; а потому королеве Канарии вручают труп удушенного супруга. «Вот истинно турецкая история!» — должно быть, думали восхищенные читатели.

Интриги Испании и Португалии, которые стремятся завладеть Канарскими островами, заставляют Полександра укрыться в Бретани, то есть на Луаре, в Нанте, где он оказывается благодаря помощи «бретонского пирата». Он принят при приснопа-

мятном дворе герцогини Анны, за которой, после ее брака, он отправляется к французскому двору. Таким образом, действие происходит где-то в районе 1490 года. Полександр решает вместе с французскими войсками отправиться в Италию, но его отговаривает Карл VIII: хотя король открыто в этом не признается, но он опасается, что наследник Анжуйского дома захочет вернуть себе итальянские владения предков. Карл умело скрывает свои истинные побуждения: «Будучи сыном своего отца, который всегда учил его, что кто не умеет притворяться, тот не умеет править, он столь умело следовал отцовской доктрине, что Полександр даже не заподозрил его в неискренности и притворстве». Саркастический выпад в сторону Людовика XI, который был столь же мало популярен среди романистов, как среди историков.

Полександр возвращается на Канары. И тут повествование решительно отворачивается от Истории и погружается в мир фантазий, мир Блаженных островов — известный со времен Птолемея! — где поклоняются солнцу и правит прекрасная принцесса Алсидиана. Герой влюбляется в нее и следует за ней на протяжении пяти томов и всего побережья Африки.

По сравнению с изданием 1629 года в «Полексandre» 1641 года история более романизирована. Тем не менее, происходит ли дело при дворе герцогини Анны или Екатерины Медичи, в берберском Средиземноморье или в Америке эпохи инков и испанского завоевания, романый вымысел постоянно сопровождается заботой о точности или претензией на историко-географическую точность: она становится одним из условий литературного правдоподобия.

Этой потребности локализовать романную интригу в точно датированном времени и картографированном пространстве не было у эллинистических, итальянских или испанских авторов, которых французские писатели переводили в конце XVI века, прежде чем взяться за оригинальные произведения. Действие «Теагена и Хариклеи», «Амадиса», рыцарских романов и сочинений Монтемайора разворачивается в воображаемом времени и пространстве, наполовину выдуманном, наполовину современном. Переселившись во Францию, роман перестал быть временным и фантастическим, чтобы сделаться историческим

(за исключением реалистического или комического романа, который не имеет отношения к нашему разговору). По всей видимости, впервые эта тенденция проявляется в «Астрее», где действие датировано V веком н. э. и имеет место в Фореце, археологически реконструированном с помощью местных эрудитов. Гомбервиль продолжает традицию Оноре д'Юрфе, которая сохранит актуальность на всем протяжении XVII столетия.

Так при укоренении романа во Франции историчность становится одним из новых законов этого жанра.

Романная история состоит из небольшой примеси местного колорита и огромного числа анахронизмов: по мере продвижения по XVII столетию доля последних возрастает, а первой — уменьшается.

В текстах первой половины века можно видеть и местный колорит, и красочные сцены: в «Астрее» это друидические ритуалы, в «Полексandre» — описание сказочных сокровищ инков (слово «инка» появляется в издании 1641 года, в издании 1629 года его еще нет). Некоторого внимания удостаиваются и конкретные детали. Так, когда Полександр со своими спутниками инкогнито едет в Данию, то «после Кельна мы все трое оделись на немецкий манер». Или дается технически точное название типа судна: «Вместе с ним он взошел на борт корабля той разновидности, которая была придумана англичанами и зовется ими рабберж». Арабские сады описываются такими, какими они до сих пор угадываются в Фезе: «Мы оказались в аллее, по обеим сторонам окруженной изгородью из апельсиновых и гранатовых деревьев». Похождения вероотступников — порой достаточно мерзкие — могли бы и не найти своего места в этих повествованиях, где даже зло выражается самым благородным образом. Но автор испытывает к ним настоящую слабость. Выше я уже приводил тому пример. Прочитируем еще одно признание ренегата, на сей раз из издания 1641 года: «С самого детства мне милы были дела, на которых можно подзаработать, пускай даже и опасные. Я скитался по морю и по суше, с оружием в руках служил арабам и туркам, следовал данным обетам и изменял им, и все ради наживы». Гомбервиль позволяет себе даже упоминание столь частой в мусульманских обществах пе-

дерастии. При дележе захваченной у испанцев добычи Баязет выказывает предпочтение Полександру. Это вызывает гнев одного из капитанов, «старого и отважного корсара». «Красота Полександра уже давно внушила чудовищные мысли этому негодяю, и эта необычайная страсть» заставила его «воспылать ревностью к Баязету». Он бросает последнему: «Если ты так влюблен в это женское личико, то купи его честь за собственные деньги». «Не примешивай оплату потаскухи к вознаграждению стольких отважных мужей». Сцена как будто встает перед глазами.

Тем не менее когда местный колорит присутствует, то он, как правило, затрагивает лишь детали, находящиеся за рамками основного действия, причем далеко не все. А вот когда в прошлое переносятся современные нравы, повествование впадает в анахронизм.

Как уже отмечалось выше, местный колорит, реалистические и красочные наблюдения в «Полексandre» более или менее сосредоточены в описаниях исламского, испано-магрибского, турецкого и, в особенности, берберского Средиземноморья, а потому приходится признать, что речь идет об отдельном случае, который не дает повода для обобщений. Авторам, читателям, людям любого общественного состояния был слишком хорошо знаком берберский мир, что способствовало особой заботе о точности. Говоря о портретных галереях Джовио и Ардье в Борегаре, мы уже подчеркивали особый интерес, проявляемый к султанам, Барбароссе, Скандербегу. В исторической картине мира первой половины XVII века туркам и мусульманскому Средиземноморью принадлежало отдельное, привилегированное место. Интересно, что это прослеживается и в предназначенных для широкой публики романах, и в иконографии коллекционеров.

Напротив, когда мы выходим за пределы средиземноморского мира, описания утрачивают свою красочность и живость. Приключения инки или сенегальца ничем не отличаются от тех, которые выпадают на долю француза и христианина Полександра.

Если близость берберского Средиземноморья подпитывала любопытство к живописным и непривычным деталям, то удаленность трансатлантического континента способствовала, скорее,

актуализации общего места «золотого века», края Утопии, чья изоляция предохраняет его от разлагающего воздействия Истории. Этот мотив есть уже у Томаса Мора, позднее он перейдет в философию XVIII века. «У нас есть храмы, — заявляет в «Полександре» инка, — в которых мы поклоняемся живому Богу столь же истово, как и в Испании [это уже первобытная революция, без священников и церквей, необходимость в которых возникла вследствие упадка, — но если бы было можно без них обойтись! — Ф. А.]. У нас есть города, устроенные намного лучше ваших». Изобилие: «Всего, что необходимо для жизни, у нас в изобилии». «Каждый довольствуется малым», а потому нет ни побоищ, ни грабежей, ни войн. Это патриархальное состояние долго поддерживалось за счет счастливого неведения мореплавания: «Отказ [от мореходства] лишил нас возможности развратиться от соприкосновения с чужими нравами». Это мирное счастье было разрушено при появлении испанцев, которые «выставляли нас варварами, дикарями, монстрами... людьми, лишенными разума, законов, порядка, просвещения и, что всего хуже, добродетелей».

В Америке нет дикарей: варварство индейцев — выдумка испанцев, тем самым оправдывавших свои грабежи. Сокровища их королей должны считаться нажитыми дурным путем, а потому французские (бретонские) или турецкие корсары имеют право отбирать их силой.

Ничего первобытного или дикарского нет и в образах негров. В «Полександре» 1641 года значительное место отведено Западной Африке: королевствам Томбер (скорей всего, Тимбукту), Сенегал, Гвинея, Бенин, Конго...

Гомбервиль очень редко упоминает о цвете кожи их жителей, и то в исключительных случаях и ради того, чтобы сделать некоторые нравственные заключения. Альманзор, «властитель Сенегала», выделяется *«прокопченным цветом кожи, всклокоченными волосами, маленькими глазами и непропорциональными чертами лица»*. Все эти характеристики Полександр перечисляет, глядя на портрет — портрет сенегальского негра в XVII веке! — и они позволяют ему «судить, насколько жесток» этот Альманзор. Речь идет о свойствах характера, а не о расовых признаках: Гомбервиль совершенно безразличен к вопросам расы и цвета кожи.

К тому же все эти негритянские короли живут по образу и подобию европейских государей и благородного сословия. Так, сенегальскому принцу Забаиму «еще не исполнилось восемнадцати лет, когда стремление к славе и желание повидать чужие страны заставили его покинуть свое королевство. Он отправился в плавание с подобающей его положению свитой. Пробыв некоторое время при дворе короля Гвинеи, он затем посетил Бенин и, наконец, Конго». Отметим, что именно таков порядок африканских государств, если продвигаться в сторону экватора: Гомбервиль знал географию.

Король Конго — Альманзор, «самый суровый и ревнивый властитель во всем мире». Хотя его дворец покрыт соломой, его «кабинет» ничем не отличается от кабинета европейского монарха. Забаим влюбляется в его дочь и, чтобы приблизиться к ней, переодевается в женское платье — если быть точным, выдает себя за принцессу Гвинеи. Будучи разоблачен, он должен пройти через обычные испытания, выпадающие на долю благородного героя, оказавшегося в этой классической ситуации, то есть стать победителем рыцарского турнира. Но поскольку мы находимся в черной Африке, то ему надо еще сразиться со львами на официальной арене Конго (экзотика дополняется воспоминаниями о римской античности). Естественно, отвага Забаима обеспечивает ему победу и смягчает гнев Альманзора. Влюбленных соединяет браком «верховный жрец богов Конго». Все это смахивает на Египет из моцартовской «Волшебной флейты», которая появится веком позже, но вполне естественно, что музыкальный театр сохраняет эту склонность к анахронизму, давно исчезнувшую из литературы.

Когда Полександр повествует о своей жизни при дворе Генриха II и Екатерины Медичи, ему прекрасно известно о разгуле насилия и страстей, ровно так же как Гомбервилю — о разнице между негром и дворянином. Но даже если несчастья этого смутного времени упоминаются в общих выражениях, в формулировках историка, то они не проникают внутрь повествования и не влияют на романтические отношения Полександра, Олимпии и фаворита датского короля. Действие не нуждается именно в этом фоне и может быть приспособлено к любой декорации.

Наконец, местный колорит (когда он есть) — удел статистов: какой-нибудь корсарский капитан вполне может быть ярким типажом. Но у его предводителя Баязета уже нет ничего от искателя приключений. Он похож на Полександра, на инку, на сенегальского принца: это отважный и преданный герой, без устали стремящийся вслед за прекрасной беглянкой и хранящий верность боевому братству.

Парадоксальным образом во второй половине XVII века, по мере того как выбор сюжета начинает требовать исторического реализма, трактовка деталей полностью лишается местного колорита.

В 1661 году ла Кальпренед публикует роман с показательным названием «Фарамон, или История Франции». В Предупреждении он объясняет читателю свой метод на примере собственных более ранних романов «Кассандра», «Клеопатра»... «Данное наименование не воздаст им по справедливости... Вместо того чтобы называть их романами как разнообразных «Амадисов» и иже с ними, в которых нет ни правды, ни правдоподобия, *ни хартий, ни хронологии* [как уже отмечалось ранее, именно в этом их отличие от французского романа. — Ф. А.], их стоило бы считать *Историями*, расцвеченными некоторыми вымыслами, красоту которых эти украшения отнюдь не могут умалить». Его «полагали человеком, лучше осведомленным о том, что происходило при дворе Августа или Александра, нежели те, кто просто писал их *Истории*».

Однако в случае «Фарамона» ла Кальпренед обращается к более «темной» эпохе! Ее безвестность «не столь неблагоприятна, как можно подумать. Она оставляет мне большую свободу вымысла, чем когда речь шла об истинах, известных всему свету», то есть о событиях эпохи классической Античности. Но, может быть, это лишь «мнимая темнота»? «Без сомнения, избранная мной эпоха имеет свои красоты». «С распадом Империи им видим зарождение нашей прекрасной монархии». Фарамон — «великий основатель» королевского дома, который правит уже более 900 лет и дал Франции более сорока королей (так!). Ибо законное наследование никогда не прерывалось. «Те же Пипины, от которых в неменьшей мере происходит третья,

нежели вторая династия наших королей, были прямыми потомками Маркомира, брата Фарамона и принца Франконии». Этот патриотический и верноподданический тон нам уже хорошо знаком по традиционным Историям Франции.

По ходу романа Фарамону предоставляется возможность разъяснить происхождение своего рода: «Те, кто хотят возвести наше происхождение к Германии и убедить народы, что франки, франконцы и французы получили свое имя от Франконии, не осведомлены об истинном положении вещей; ибо безусловно не только то, что мы исходим из Галлии, но и что наш королевский дом — тот же самый, который более шестнадцати столетий правит лучшей частью Галлии» — то есть задолго до принятия христианства, с момента прихода Франкуса. Позднее принц Генебо покорил Германию «и заложил там основы монархии, которую, по имени своих французов, назвал Франконией и которую многие народы из почтения к Франции именуют Восточной Францией». Так что в силу исторического права французы могут претендовать на господство над немецкими землями.

Эта теория галльского происхождения франков, их миграции в Германию, а затем триумфального возвращения на развалины узурпаторского Рима, оказалась весьма стойкой, и еще в начале XVIII века Никола Фрере провел некоторое время в Бастилии за то, что попытался ее опротестовать в своей записке, сделанной для Академии надписей⁹⁷.

Таким образом, ла Кальпренед знал столько, сколько знали в его время — или считали, что знают. Больше ли у него, как у романиста, красочных деталей и местного колорита, нежели у Мезере или аббата Велли? По правде говоря, его Фарамон такой же меровинг, как Хильдерик аббата Велли. Более откровенно, нежели д'Юрфе или Гомбервиль, он переносит в V век галантные, утонченные манеры, соответствующие идеалу его времени. От Средних веков там нет практически ничего, кроме имен и событий: один раз робко показывается фея Мелюзина, но быстро погружается в забвение и более не появляется.

⁹⁷ По крайней мере, так рассказывают историки XIX столетия: я не мог в этом удостовериться (*примеч. авт.*).

Вот в Кельне «влюбленный Маркомир и отважный Генебо» выезжают из лагеря на рекогносцировку. Вокруг них оруженосцы несут их щиты, оружие. Но Маркомир задумчив: «На лице и в глазах прекрасного Маркомира, чья душа была воспламенена любовной страстью, были видны следы того, что он чувствовал».

Розамонда, «возлюбленная» Фарамона, похищена королем Бургундии. На пути отряда, уводящего пленников, встречается странствующий рыцарь: это уже «получивший известность в свете» сын короля гуннов Баламир. К какой бы эпохе ни было отнесено действие, в нем сохраняются не вполне забытые темы и мотивы старинных рыцарских романов.

Для обмена вестями с красавицей адресованная ей любовная записка привязывается к стреле, которая всегда прибывает по назначению.

Фарамон — великолепный воин, каким его рисовало изображение 1660-х годов и чуть более раннее, каким он должен был являться если не в настоящих сражениях, то на турнирах: «Его оружие блистало золотом и украшавшими его драгоценными камнями, его горделивый шлем был увенчан белыми перьями, которые осеняли его голову и склонялись к плечам». Плюмаж стали обожать с момента его исчезновения.

В вышедшем в свет в 1666 году «Карле Мартелле» Кареля де Сент-Гарда протагонист как две капли воды похож на того же великолепного воина:

*Le casque du héros d'argent orne sa teste,
Des plumards enflammez descendent de la creste,
Dont les bouillons flottans, d'un baiser amoureux,
Viennent autour du col flatter ses longs cheveux*⁹⁸.

Анахронизм обусловлен отнюдь не только невежеством; он выходит за пределы незнания и имеет намеренный характер. За ставшей обязательной исторической интригой читатели искали современные аллюзии. Некоторые из них и сегодня бросаются в глаза. Фарамон быстро превращается в двойника мо-

⁹⁸ «Глава героя украшена серебряным шлемом, / С гребня спускается огненный плюмаж, / И живыми волнами любовно лобзает / Длинные волосы вокруг шеи» (франц.).

лодого Людовика XIV первых лет личного правления: «поистине чарующая... беседа», «живость и тонкость ума, сочетающиеся с доскональным знанием всех благородных наук». «Французы испытывали неумеренную радость от счастья быть подданными столь великого и любезного государя». Другие аллюзии не столь прозрачны и превращаются в загадки. Тогда читатели обожали эту игру, и каждая новая книга провоцировала порой самые несуразные идентификации. Это прочно укоренившаяся привычка: от «Астреи» вплоть до «Принцессы Клевской» публика требовала, чтобы роман был историческим, но лишь затем, чтобы поупражняться в изобретательности и отыскать в этой истории ключи, указывающие на людей и события ее собственной эпохи. Благодаря такому механизму читательского истолкования роман оказывался в равной степени историческим и современным.

Казалось, что изображение настоящего было допустимо для литературного вымысла лишь при условии его хронологического переноса на более удаленные эпохи. Так, госпожа де Лафайет заимствовала у Брантома неполные портреты персонажей любовной драмы, глубоко чуждой нравам «Великих полководцев» и «Галантных дам». Возникает ощущение, что непосредственное изображение настоящего просто невыносимо. Исторический анахронизм создает необходимое посредничество между современной реальностью и его литературным изображением.

Вплоть до XVIII века неспешное развитие общества и нравов требовало такого анахронизма. Оно не допускало немедленного превращения настоящего в (пусть даже близкое) прошлое, которое свойственно сегодняшнему стремительному течению времени. На картинах, изображающих сражения эпохи Ришелье, воины все еще облечены в почти средневековые доспехи. Потом они начинают постепенно, почти незаметно от них отказываться. Но эти изменения в общественной жизни не сопровождаются внезапной технической революцией: скорее, речь идет о нечувствительном сдвиге. Этот замедленный ритм благоприятствовал укоренению все еще расплывчатой концепции классицистического человека, который всегда одинаков, независимо от эпохи.

Но это характерное для вневременного романа сходство времен отнюдь не предполагало отрицания Истории. Напро-

тив, по сравнению с началом века, когда местный колорит был более в ходу, требования к соблюдению хронологии становятся более строгими, что предполагает весьма любопытное и тонкое отношение к прошлому.

Точно так же склонность к намеренному анахронизму — одновременно являющаяся утверждением и отрицанием Истории — не препятствовала приведению хронологии в соответствие с мнением века и предпочтению тех или иных периодов. Когда выбор касался исторических эпох, то за ним просматривается бессознательное, но отчетливое предпочтение литературного приема переноса во времени и в пространстве. И если оставить в стороне античные темы, то обнаружится, что романисты заимствовали сюжеты из определенных, отнюдь не произвольно выбранных исторических периодов. Перечислим те, которые мне кажутся особенно востребованными: меровингская история между падением Империи и началом «сей славной монархии»; турецкие завоевания, «негропонтские» истории, мир берберских корсаров; правление Франциска I и эпизод с коннетаблем де Бурбоном; двор последних Валуа. Прошлое заканчивается на Генрихе IV. Недостаточное знание о Меровингах не означало, что нельзя поместить в их эпоху галантные подвиги, принадлежащие куртуазной и прециозной традиции. Это начало Истории Франции, одна из ее точек отсчета, и, несмотря на критику со стороны зарождающейся науки, историки долго не могли решиться отказаться от ее легендарной части. Другие предпочитаемые романистами эпохи соответствуют любимым периодам коллекционеров портретов и эстампов: Франциск I, смутное время. Современникам они казались выступами, выпиравшими из слишком единообразной материи времени. С точки зрения людей XVII века, религиозные войны и Генрих IV — первая вершина на горизонте. В XVIII столетии их заслонила фигура Людовика XIV. Когда люди обращали взгляд назад, то направляли его на один из этих возвышавшихся над другими периодов. Их предпочтения свидетельствуют о существовании исторического инстинкта, которого были лишены штамповщики Истории Франции.

Глава VI

«Научная» История

Накануне лиценциатских экзаменов несколько юношей и девушек беседовало в маленькой библиотеке, отведенной для студентов-историков. В Гренобле Клио проводила свои сессии в стороне от студенческих толп, от банального административного здания университета, в недрах живописного квартала Вье Тампль. Я тогда только закончил коллеж и со всей страстью неофита окунулся в жизнь факультета. Мне казалось, что перед мной предстал захватывающий мир, переполненный через край минувшими жизнями, заряжавший меня своей трагической мощью. Поэтому я внимательно прислушивался к признаниям своих старших товарищей, уже освоившихся в профессии, и был сильно поражен их разочарованием.

На этом провинциальном факультете, где престиж Жака Шевалье обратил непосвященных вольнослушателей к философии, не было ни одного блестящего профессора, который привлекал бы их к Истории. Поэтому ею занималась горстка серьезных тружеников, кандидатов на профессорские и преподавательские должности, посвящавших себя исследованиям без расчета на отдачу; небольшая, скромная, несколько тусклая и лишенная воображения команда. Их наивное разочарование было для меня тем более важно.

Они быстро пробежались по своим записям и закрыли учебники, в последний раз освежив и без того перегруженную память. Одна из девушек, которая готовилась к экзамену на право преподавать, собрала бумаги, которые одалживала своим товарищам, и вид этих листочков, покрытых именами и датами, тщательно разбитых на абзацы, вдруг поверг ее в такую

тоску, что она заговорила о том энтузиазме, который когда-то привел ее к Истории. О желании узнать о других людях, о сменяющейся череде других существований. Она бесхитростно говорила, что искала вкус различных эпох, различных жизней и нравов, их человеческое содержание. И вот, накануне экзамена и окончания обучения, что она получила? что ей было дано? Собрание сухих фактов, классифицированных и подробно, логически, нередко с пониманием объясненных, но лишенных той теплоты, на которую она надеялась. Дни и ночи она должна была проводить за конспектированием книг, где в сжатом виде были представлены все события и персонажи определенного исторического периода, перечислены все военные действия, все подвезы, все политические и общественные институты, где, без исключения, были собраны все сохранные документами факты и деяния прошлого. Бедняжка призналась, что эта тяжеловесная компиляция задушила ее первоначальную увлеченность. Ее столько раз предупреждали держаться подальше от анекдотов и живописных повествований вульгаризаторов, пишущих на потребу широкой публики! В итоге она перестала отличать человеческую любознательность от межеумочной вульгаризации; экзаменационная, лицензированная История начиналась там, где заканчивалось волнение воображения и способность удивляться; ее зачином была скука. Зов первого призвания умолк, и бедняжка продолжала рутинно оттачивать свою технику, поскольку это была не самая худшая профессия.

Эта разочарованная исповедь произвела на меня глубокое впечатление, поскольку я тогда рассчитывал найти в Истории много темного, еще не до конца проясненного, но, без сомнения, в высшей степени увлекательного. И я никак не ожидал такого душераздирающего признания в скуке и разочаровании.

Меж тем сколько — более вчерашних, нежели сегодняшних — историков (если бы они решились в этом сознаться) были подкошены тем же ощущением иссушенности и посредственности. Чтобы не потерять лица, им пришлось это умерщвление Истории втихомолку превратить в метод. Так была создана пропасть, отделяющая Историю профессионалов (или же «научную» Историю) от образованной публики и даже от специалистов из других гуманитарных дисциплин, в особенности

философии. Над этим разрывом я и предлагаю подумать, не претендуя ни на историю историографии, ни на какую-либо методологическую систематичность.

Неведомое ранее представление о преемственности времен возникло в XVIII столетии. Предметом для размышления становится организация разных типов общества — будь они древними, как Рим Монтеस्कье, или современными, как Польша Руссо.

По-прежнему процветали занятия древними авторами и сохранялся традиционный культ героев Тита Ливия или Плутарха, но, по сравнению с предшествующим веком, совсем в другом духе. Античность уже не была изолирована во времени. Напротив, снова была протянута связь от древних республик к современным институтам, и переход от одних к другим совершался без труда. Античность не перестает служить хранилищем нравственных и гражданских моделей и примеров, но современное общество предполагает извлекать из него принципы политической деятельности и использует Античность ради собственных целей. Так, отец Поре, один из наставников коллежа Людовика Великого, считал необходимым предостеречь своих учеников от опасного применения прошлого к настоящему: «Остерегайтесь, дети, завидовать судьбе древних или новых республиканцев». Несколькими десятилетиями ранее такого риска просто не существовало, греко-римское прошлое обладало воспитательной ценностью, но вне связи с настоящим. В конце XVIII века напичканная римской историей молодежь способствовала построению в Америке нового общества, смоделированного по образцу античного города.

Знание Античности более не могло быть отделено от формирования настоящего. Прошлое и настоящее уже не были безразличны друг другу. Таким образом, прибавивший живости культ Античности сочетался с сознанием постоянного развития человечества. Эта преемственность вскоре обнаружилась и в исторической литературе. Между 1776 и 1788 годом англичанин Эдвард Гиббон выпустил многотомную «Историю упадка и разрушения Римской империи», которая охватывала древность, средневековье и заканчивалась падением Константинополя в 1453 году. За сто лет до того такой труд, причем имев-

ший большой успех и много раз переиздававшийся на разных языках, был просто немыслим. С этого момента Античность вышла из замкнутого мира «золотого века», за традиционно положенные ей пределы: История мобилизовала эпохи, которые раньше пребывали в своеобразном лимбе.

Древние присоединились к Новым благодаря идее прогресса — в том виде, как она появляется у Вольтера в «Опыте о нравах и духе народов». Ощущение преемственности вышло на поверхность в инфантильной и вязкой форме «прогресса». Вскоре Кондорсе напишет свой «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума». Мы лучше поймем истоки идеи прогресса, если увидим в них еще не ставшее целостным историческое сознание.

С этого момента более не существует недостойных для исторического изучения эпох и стран: франкское средневековье не кажется таковым аббату Дюбо, заокеанское расселение европейцев — Рейналю, а правление Людовика XIV — Вольтеру. Рядом с этими великими именами на полках библиотек в старых провинциальных особняках стояло множество незначительных, забытых трудов по региональной, национальной, религиозной истории — огромный библиографический список.

Из этого нового сознания преемственности в развитии общества возникла историческая литература со своей читательской аудиторией. Тем не менее, с нашей точки зрения, этой истории не хватало еще одного важного атрибута: ощущения разности эпох. Пропасть между Античностью и прочими временами уже заполнена. Но, несмотря на это, продолжает существовать идея человеческих прототипов, вдохновляемая стойкой идеализацией греческих и римских героев. В 1864 году Фюстель де Куланж в предисловии к «Древнему городу» подчеркивал, как трудно было историку еще в его эпоху избавиться от традиционной предвзятости, переносившей на древние народы ментальные привычки современного общества. Ощущение преемственности сопровождалось убежденностью в сходстве времен: «В силу особенностей нашей системы воспитания, которая уже с детства переносит нас в среду греков и римлян, мы привыкаем непрестанно сравнивать их с нами, судя их историю нашей историей и объясняя наши перевороты их переворотами».

ми. То, что нами получено от них, и то, что они нам завещали, заставляет нас поверить в существование большого сходства между ними и нами; нам очень затруднительно увидеть их инаковость — почти всегда мы видим в них себя»⁹⁹.

После конвульсий Революции и Империи решающим этапом в формировании современного исторического сознания стал XIX век. Если предшествующее столетие обрело чувство преемственности, то он увидел различие в человеческих оттенках эпох. Это слишком хорошо известно, чтобы долго задерживаться на открытии причудливых и живописных Средних веков, от «Рассказов из времен Меровингов» Огюстена Тьерри и вплоть до «Взятия крестоносцами Константинополя» Делакруа и «Легенды веков» Гюго¹⁰⁰. Но как объяснить эту тягу к средневековью, причем зачастую средневековью вымышленному, если не тем, что в нем угадывалась особенная эпоха, не походившая своими нравами ни на героев Плутарха, ни на не столь отдаленные времена Старого порядка?

Романтический историк, будь то Огюстен Тьерри или Мишле, стремился воскресить прошлое, вернуть его к жизни во всех красочных и ярких подробностях, с только ему присущим оттенком. В подлинных рассказах о минувших событиях историки искали тот же эффект необычности и новизны, которого поэты и романисты хотели от вымысла, от исторической литературы. Но это желание перенестись в другой мир, быстро начавшее склонять историка в сторону живых картин, было не чем иным, как рудиментом ощущения различия времен. Рудиментом, поскольку для его удовлетворения хватало красочности и скольжения по поверхности: это был скорее вкус к диковинкам, нежели к исследованию глубинных изменений ментальных и социальных структур. Тем не менее для Истории эта способность удивляться прошлому стала важным приобретением. И вот тогда началось восторженное открытие других.

⁹⁹ *Куланж де Н.* Древний город. С. 327.

¹⁰⁰ Картина Делакруа датируется 1840—1841 гг., «Рассказы из времен Меровингов» вышли в 1840 г., первые тома «Легенды веков» — в 1859 г.

Именно поэтому, несмотря на все ошибки и лакуны, Мишле и сегодня (и в большей мере, чем вчера) продолжает вызывать горячий интерес. Он был столь чувствителен к уникальным чертам Истории, что интуитивно улавливал те контрасты и различия, которые современный историк обнаруживает при помощи более надежного научного инструментария, по сути не входя в противоречие с блестящими, хотя и недостоверными, догадками гениального романтика.

Кроме того, авторам первой половины XIX столетия не хватало критического метода для формирования надежной документальной основы. Они писали слишком быстро, почти как романисты — каковыми, по сути, и являлись. Вот почему, за исключением прозрений Мишле, их труды стали сегодня мертвой буквой.

Чтобы прийти к более приемлемой концепции Истории, определяемой теперь как интеллектуальное любопытство, был необходим метод — научный метод, как будет сказано во второй половине века.

Эрудиция существовала и до эпохи романтизма. Но эрудиты эпохи Старого порядка, в особенности XVII столетия, сохраняли привычки коллекционеров древностей и диковинок. Именно в начале XIX века параллельно с живой историей появляются критические издания текстов и документов. Достаточно упомянуть такие огромные сборники документов, как «*Monumenta Germaniae Historica*»¹⁰¹ (1826) и «Документы, относящиеся к Истории Франции» Гизо (1835). Достигнутый прогресс в области эрудиции позволил историкам с большей строгостью проводить свои исследования, и многие сочинения 1840—1850-х годов отнюдь не утратили свой ценности; именно они стояли у истоков важнейшего труда Фюстеля де Куланжа¹⁰².

Причины такого расцвета эрудиции неоднократно перечислялись. Потрясения, вызванные Революцией, а затем Империи-

¹⁰¹ См. выше сноску 48.

¹⁰² По поводу этого периода, начинающегося с первой половины XIX в., трудно что-либо добавить к работе Камилла Жюлиана, опубликованной в качестве предисловия к его «Антологии французских историков XIX века» (*примеч. авт.*).

ей, прервали размеренный ход Истории и превратили прошлое в чистый лист. *Теперь появилось «до» и «после»*. До 1789 года революция не воспринималась как возможность нового начала: скорее, в ней видели возвращение к лучшему и более древнему состоянию. Особенность революций XVIII—XIX столетий состоит в том, что они предполагали завершить прошлое и начать настоящее с нуля. Этот пример оказался заразителен даже для римской католической церкви, когда в результате конкордата 1802 года все французские епископы лишились сана, чтобы стало возможным наново переформировать церковный штат и еkkлезиастическую географию. Тогда же возникла и увлекла общественное мнение идея новой эры, отделенной даже от ближайшего прошлого. Позднее эта идея новой эры наложилась на старое представление XVIII века о прогрессе и стала истоком практически всех изменений общественного мнения.

Поэтому историков стало прежде всего привлекать изучение нового, и они нередко забывали о стойкой инерции прошлого. Лишь зарегистрировав возникновение нового явления, они тут же распространяли его на общество в целом, а провоцируемое им сопротивление сбрасывали со счетов как близкий к исчезновению пережиток прошлого. Так сформировалось представление о неудержимом движении эволюции.

До того как возник этот разрыв между прошлым и настоящим, периодически возобновлявшийся после 1789 года, все архивы, включая самые старые, все еще считались принадлежностью государства, необходимой для административной деятельности и к тому же конфиденциальной.

После Революции и Империи, в начале новой эры, сформированные на конституционных основах правительства не имели никакого отношения к старым собраниям документов и уже не рассматривали архивы в качестве административного инструмента. Как писал в предисловии к своему «Введению в Историю» Луи Альфан, «горы пергаментов и бумаг, до сих пор ревниво охраняемых либо в качестве юридических оснований тех или иных прав или уже недействительных претензий, либо как необходимая часть работы тех или иных институтов, только что сметенных революционной бурей, на следующий день лишились всякого интереса, сохранив его лишь в глазах собирателей

отслуживших вещей». Но эти «собиратели отслуживших вещей» — уже не единичные коллекционеры, как это было в эпоху Ренессанса. Их число многократно возросло по мере распространения интереса к красочному, живому прошлому.

Кажется, что на протяжении долгого времени западные общества существовали, не ощущая длительности, поскольку их политические институты развивались медленно, без слишком резких перерывов. Одна лишь греко-римская Античность уже давно располагалась за пределами их истории. И если в XVIII столетии были предприняты попытки уменьшить его изоляцию, то лишь для того, чтобы свести вместе все эпохи и распространить на новейшие времена гуманистические идеалы Античности.

Напротив, после вызванных Революцией и Империей потрясений покров с Истории упал и она предстала как особая реальность, отличная и от проживаемого настоящего, и от скудной хроники. Нам хорошо понятно это чувство, поскольку мы испытали нечто похожее сразу после великих разрывов 1940—1945 годов.

Если бы эта чувствительность к разнице времен подпитывалась эрудицией, то возникла бы подлинная история — и это чуть было не произошло. На пересечении эрудиции и истории, уже не романтической — мы покинули эпоху Мишле и стоим на пороге эпохи Тэна и позитивизма, — но ей наследующей, располагается Ренан, этот король французской истории. Несмотря на хронологическую удаленность и прогресс в области документоведения, его труды по-прежнему сохраняют свою ценность и способность будить мысль.

Уже сотни раз приходилось слышать о скрупулезности Фюстеля и о его уважении к тексту, которые противоположны слишком скорым «воскрешениям» романтической Истории. Очень хорошо — хотя его честность и серьезность слишком поспешно были подогнаны под так называемую научную методологию: итак, сперва литературная история, затем — научная. Но недостаточно внимания было уделено другому, по меньшей мере столь же существенному аспекту творчества Фюстеля: его чувству исторического своеобразия. В уже неоднократно упо-

мянутом нами предисловии к «Древнему городу» Фюстель порывает с классицистическими традициями, которые наделяли Древних чертами универсальных человеческих прототипов, действительных повсюду и в любые времена: «Особое внимание, — пишет он, — будет уделено выявлению того коренного и существенного различия, которое всегда будет пролегать между этими древними народами и современными обществами»¹⁰³. Можно ли с большей ясностью и четкостью сформулировать основную — или, по крайней мере, первую — цель Истории, ее самоутверждение через отличие от прочих способов размышления о человеке, через поиск разницы времен.

Фюстель скрупулезно относился к тексту: в этом он имел подражателей, что, конечно, хорошо. Однако если его историческое чувство обнаруживается у Камилла Жюлиана, то его дух оказался в меньшей степени усвоен, нежели методы. Критик и комментатор были услышаны; напротив, историк не нашел последователей. Заложенные в его трудах обещания не были реализованы его наследниками. После него начинается неблагоприятный для историографии период, который мы постараемся охарактеризовать в общих чертах.

Вторая половина XIX и начало XX века знали только два исторических жанра: академическая и университетская история. Позднее к ним добавится третий — историческая вульгаризация (о которой мы уже писали в одной из предшествующих глав), в основном характерная для периода после Первой мировой.

Университетскую и академическую истории определяли не столько используемые ими методы, сколько их читательские аудитории.

Читательницей академической истории, от герцога де Брогли до Аното и Мадлена, была серьезная и образованная буржуазная публика: магистраты, законники, рантье... — люди, располагавшие обширным досугом, когда денежная стабильность и надежное размещение средств позволяли им жить на доходы с капиталов. Об интеллектуальных предпочтениях этого класса свидетельствует состав частных библиотек: романов почти

¹⁰³ Куланж де Н. Древний город. С. 327.

нет, за исключением Бальзака, и то не всегда. Поздние романтики и реалисты не отвечали суровым вкусам этой публики. Порой она бывала равнодушна к скабрёзностям, но считала приличным удовлетворять этот вкус Горацием и латинскими авторами, которых все еще читала в оригинале. Почетное место на полках наших дедов было отдано Истории: Баранту, Гизо, Брогли, Сегюру, Токвилю, Оссонвилю, затем Сорелю, ла Горсу и Аното. Достаточно пролистать старые каталоги «Плона» или «Кальман-Леви», чтобы по именам и разрабатываемым темам понять, какой тип историописания открывал путь в Академию. До сих пор его можно найти в трудах Мадлена, в «Ришелье» Аното и герцога де ла Форс.

Эта обширная литература заслуживает внимания. У ее авторов не было намерения заниматься вульгаризаторством, они брались за перо после того, как добросовестно изучили документы, нередко проявляя большую эрудицию, которую потом старались скрыть, поскольку их адресатом было светское общество. Отсюда серьезная, элегантная, лишенная педантизма манера, минимальное количество сносок и полное отсутствие иллюзии доступности, уступок красочности и романным интригам. Чувствуется, что мы находимся в эпохе доктринеров или нотаблей.

Эта историческая литература стремилась, главным образом, рассказать и объяснить политическое развитие правительств и государств, революции, изменения режима, волнения и кризисы в национальных собраниях и министерствах, дипломатию и войны, то есть политическую историю как в ее национальном, так и интернациональном аспекте. В целом это была программная история — и именно здесь точка ее пересечения с консервативным историцизмом, развивающимся после 1914 года. Как это видно по трудам Альбера Сореля, она предлагала интерпретацию, достаточно точно объяснявшую турбулентную смену феноменов. Эти авторы были не против идеи исторического детерминизма, но их детерминизм был консервативным, оставлявшим без внимания подпочвенное движение народных масс и устанавливавшим причинно-следственные связи в правительственной и национальной политике. Это не «реакционная» история, направленная на реабилитацию Ста-

рого порядка, как в случае «Аксьон франсез», а консервативная история, авторы которой принадлежали к дворянству или крупной буржуазии и в итоге попадали в Академию, а читателями — буржуазная же либеральная или католическая публика, с большим недоверием относившаяся к общественным изменениям. Она еще сохраняла предубеждение против Старого порядка, которое исчезнет в XX веке, во многом под влиянием «Аксьон франсез», и гордилась своим просвещенным и осторожным либерализмом, свойственным Академии и, чуть позже, Школе политических наук¹⁰⁴. Если посмотреть на электоральную карту Третьей республики, то это было правое крыло и левоцентристы.

Не стоит забывать, что именно эта буржуазия, в конце XVIII — начале XIX века добившаяся богатства и почестей, монопольно управляла всеми государственными делами. Монополия сохранялась в эпоху Империи и в начале Третьей Республики, пока ее не разрушило всеобщее избирательное право, светская система школьного обучения и демократизация достатка. Отсюда вполне осознанный и страстный интерес этой буржуазии к политическим проблемам. Чтение было призвано прояснить ее понимание государственных дел, по крайней мере тех, которые она замечала: парламентарских, институциональных, дипломатических. История общественных конфликтов оставлялась без внимания, как будто тем самым отрицалось их существование, а история религии обычно рассматривалась в связке с политической историей. Этому политизированному, консервативному классу буржуазии соответствует определенный тип политической истории, безразличной к человеческим проблемам, которые располагались по ту или по сю сторону нации и правительства.

При помощи этой литературы буржуазия не искала способа постигнуть свою человеческую или общественную судьбу в мировом, национальном или классовом становлении. Тем более что не было никакого становления, политические отноше-

¹⁰⁴ Открылась в Париже в 1872 г., среди основоположников — Ипполит Тэн, Эрнест Ренан, Альбер Сорель и пр. Возглавил ее Эмиль Бутми.

ния детерминировались не подлежащими изменению законами. В мире, о движении которого она даже не подозревала, буржуазии не нужна была философия Истории: от последней, в ее академическом виде, требовалось одно — техника управления.

Так, История образца старых каталогов «Плона» и «Кальман-Леви» представала в виде политической культуры, необходимой «активному» (в силу ценза или влияния) гражданину, одной из «политических наук» среди прочих управленческих и административных дисциплин, преподаваемых в школе Бутми в те времена, когда гомогенный класс мужчин, располагавших досугом, принимал всерьез государственные дела.

Это объясняет, почему академическая литература, о которой идет речь, закончила свое существование в тот момент, когда старая буржуазия утратила свою политическую монополию, когда ее заполонили новые элементы и казалось, что ее общественная безопасность поставлена под угрозу. Для новой буржуазии, уже неуверенной в будущем и чувствующей себя ненадежно, важна была не политическая технология, а возврат в спасительное прошлое, источник ностальгии и искупления. Тогда, после войны 1914 года, появляется новая историческая литература, современница неороялизма «Аксон франсез», первый отклик на тревогу современного человека, осознавшего натуру и хрупкость абстрактной вселенной — такой, какой она была в понимании либерализма. Но это уже был не тот благородный и отрешенный жанр Брогли и ла Горса, а воинствующая литература. Мы говорили выше о том, к чему она пришла.

Если академическая история привлекала достаточно обширную буржуазную публику, то университетская история была адресована исключительно университетской аудитории.

До сих пор большая часть «воспитанных людей» едва ли осведомлена о ее существовании. У меня была возможность познакомиться с рукописными сочинениями историков-любителей из числа тех, кого принято было именовать «просвещенной элитой»: магистратов, высших функционеров, влиятельных дельцов, располагавших досугом и до, и после ухода на покой. Именно среди них ранее рекрутировались авторы, рабо-

тавшие в академическом жанре. Увы, ничего похожего на крупные, ученые и ясные (несмотря на общую узость их горизонтов) труды ла Горса, Сегюра, Осонвиля. Нехватка культуры? Чрезмерная поспешность нередко халтурной работы? Без сомнения, но посредственность непрофессиональных историков прежде всего результат отсутствия коммуникации с другими историками, их изоляции, в свой черед проистекающей из характерного для современной умственной деятельности процесса деления и отгораживания. Наши любители уверены, что всё прочли; поражает их простодушное незнание университетской литературы — учебников, предназначенных для студентов, докторских диссертаций, статей и сообщений в специализированных журналах, общих трудов, которые пишутся в конце профессорской карьеры. Студент первого года лиценциата даст тут фору государственному советнику или бывшему ученику Политехнической школы. Об этой дистанции, разделяющей профессиональных историков и «культурную» публику, трудно составить представление, пока реально ее не измеришь; тем не менее именно у этой публики сохраняется вкус к серьезной, основательной Истории в духе Сореля или ла Горса.

В эпоху романтических историков вроде Мишле, Огюстена Тьерри или Гизо все было совсем иначе. В них были соединены качества широко известных, популярных авторов и специалистов, бывших воспитанников Высшей нормальной школы, архивистов, профессоров Сорбонны и Коллеж де Франс. Они были модными фигурами. Эта традиция отчасти сохранилась в философии. Но после Фюстеля, наставника императрицы Евгении, ни один профессор истории не собирал вокруг своей кафедры светскую, элегантную публику, толпившуюся на лекциях Бергсона и Валери.

Вот в чем суть: изучение Истории утратило связь с широкой публикой и превратилось в техническую подготовку специалистов, замкнутых в рамках своей дисциплины. Публикации делаются все более и более «профессиональными» — в том смысле, в каком мы говорим о профессиональной, технической литературе. При окончательной отделке своих работ авторы более не чувствуют необходимости скрывать сугубую эрудированность исследовательских подходов. Напротив, как будто

стремясь огородить себя от назойливого любопытства, они укрываются за арматурой ученой критики, занимаясь человеческой историей, но не заботясь о том, какой интерес она может представлять для их современников. Более того, это безразличие возведено в принцип и стало методом. Чем менее предмет доступен для неспециалиста, тем большим спросом он пользуется и вернее создает репутацию своему автору. Так была детально проанализирована масса событий, причем лишь для того, чтобы установить факт их существования и сопоставить друг с другом, всячески избегая общей концептуализации, чуть более широкой перспективы. Эту робость по отношению к интерпретациям и даже просто размышлениям, не имеющим систематического (в том смысле, в каком этот термин употребляется в естественных науках) или хронологического характера, отчасти объясняет и оправдывает недоверие, спровоцированное глобальными теориями и рискованными гипотезами романтической истории.

Тем не менее эта вполне законная реакция не может полностью объяснить радикальную закрытость университетской истории. Чтобы разобраться, посмотрим на социальное происхождение тех, кто ее пишет и преподает.

Во второй половине XIX века буржуазия утратила интерес к университетской карьере — как и к некоторым административным должностям, — что открыло Университет для более демократического пополнения кадров. Детям из хороших семей внушали неприязнь к корпорации, которой недавнее обмирщение придало несколько антиклерикальный оттенок. Протестантские семьи это чувство не разделяли, так что в какой-то момент вместе с Моно они практически захватили университет¹⁰⁵. Даже сегодня правовые факультеты и Сен-Сир более избирательны в отборе кадров, нежели филологические факультеты. У новоиспеченных членов университета, выпускников светской школы, не было шансов блистать в литературных салонах, даже если те, чтобы немного позабавиться и показать отсутствие предрассудков, проявляли интерес к богеме и аван-

¹⁰⁵ Моно — влиятельное протестантское семейство, из которого вышел целый ряд пасторов, теологов и университетских профессоров.

тюристам. Академия долго их бойкотировала, равно как и образованная публика, по-прежнему рекрутировавшаяся из рядов традиционной буржуазии. Напротив, университет открывал простор для честолюбивых планов.

Так достаточно скоро аудитория этих профессоров сузилась до будущих профессоров. Высшее образование перестало быть наставлением в культуре и превратилось в подготовку кадров для среднего образования. С распространением последнего и общим обуржуазиванием общества эта публика претендентов на профессорское звание становилась все более многочисленной. Но она умножалась, не расширяясь, не выходя за рамки технической специализации. Напротив, образовался отдельный закрытый мирок со своей литературой, своими издателями и периодикой, достаточно густонаселенный, чтобы быть самодостаточным.

Зачастую он пополняется от отца к сыну. Большинство моих товарищей по учебе были сыновьями профессоров или учителей. Прохождение экзамена на право преподавания или окончание Высшей нормальной школы было самым значимым инициационным обрядом для учителя, который надеялся, что его дети смогут вступить в ряды буржуазии. Так сформировалась новая социальная категория, обладавшая собственными привычками, нравами и, вскоре, традициями. В политическом плане она примыкала к левому крылу: высшая и средняя школа были сторонниками Дрейфуса. Вместе с Жоресом они вошли в представительские собрания; именно тогда в противостоявшей им буржуазной среде презрительно заговорили о «профессорской республике» как о противоположности правлению людей «достойных» или «способных».

Интересно, что этот дрейфусарский, радикалистский, вскоре заодно с Жоресом социалистический университет не породил идеологической литературы — по крайней мере, адресованной его собственной университетской публике. Учебники начальной ступени были переполнены предвзятыми мнениями и напоминали не столько труды по истории, сколько пропагандистские брошюры. Однако в более серьезных сочинениях, как в большой «Истории Франции» Лависса, они встречались гораздо реже. Радикалистский и республиканский универси-

тет никогда не отличался пристрастностью, свойственной ученым при тоталитаристских режимах. Напротив, это политически ангажированное сообщество дрейфусаров совершенно искренно стремилось оставлять в стороне современные пред-
рассудки и не давать им проникать в Историю. Если ему не всегда удавалось добиться совершенной беспристрастности, именно в ней оно видело основу исторического исследования.

И это действительно было нечто новое. В первой половине XIX века История быстро превратилась в идеологическое оружие. Даниель Алеви поведал нам, как 1842 году Мишле, наряду с Эдгаром Кине и Мицкевичем, стал представителем «движения», апостолом новых времен¹⁰⁶. В тот момент, когда он перестал давать уроки принцессам Орлеанским, «История Франции» была брошена на Средних веках и он обратился к Революции. Такое представление об Истории как о политическом уроке по-прежнему присутствует в академических трудах и в систематических попытках реабилитировать прошлое, представляющих собой реакцию на романтические апологии революций. Надо подчеркнуть, поскольку для этого требовался подлинный, не лишенный своего величия аскетизм, что Университет никогда не поддерживал такой эксплуатации Истории. Напротив, его основной принцип — История ничего не доказывает, она существует тогда, когда к ней не обращаются с рассчитанными на подтасовку вопросами. Более того, вообще не следует вопрошать Историю, поскольку это подразумевает селективность, избирательность по отношению к общей массе Истории, тогда как к ней не должны примешиваться никакие современные — пускай даже и неполитические — проблемы.

Какие интересы профессиональных историков удовлетворяла такая тщательно отгороженная от настоящего История? Это важный вопрос, от ответа на который зависит то, как следует осмыслять всю современную историографию, производимую во французских или в иностранных университетах. И вопрос этот довольно щекотливый, поскольку приходится признать, что историки никогда его не поднимали. Математи-

¹⁰⁶ Алеви посвятил Мишле небольшую монографию: *Halevy D. Jules Michelet*. [Paris]: Hachette, 1928.

ки, физики, химики, биологи, натуралисты — никто не смог обойтись без философского обоснования своей деятельности. Среди всего ученого мира практически одни только историки отказываются размышлять над значением собственной дисциплины. Они сочиняют методологические — я бы даже сказал технические — трактаты о том, как следует работать с архивными фондами и с библиографиями, как датировать, аутентифицировать и критически изучать тексты, короче говоря, как пользоваться своим рабочим инструментарием. И ни слова о том, что выходит за пределы технических сложностей, никакого намека на вклад наук прошлого в понимание человеческого состояния и его изменений. Во Франции философии Истории принадлежат философам: вчера — Курно, сегодня — Реймону Арону. Их труды подчеркнуто оставляются без внимания или с пожатием плеч откладываются в сторону как теоретическая болтовня некомпетентных любителей: невыносимое тщеславие специалиста, существующего внутри своей специальности и ни разу не попытавшегося взглянуть на нее со стороны!

Однако недавно это молчание было прервано, причем в недрах самого университета. Крупный современный историк, лучший из наших медиевистов Луи Альфан опубликовал небольшой труд «Введение в историю», который на самом деле представляет собой речь в защиту Истории, в особенности от критических выпадов Поля Валери. Забавно, что университетская кожа, нечувствительная к сложным анализам философов,отреагировала на каламбуры поэта¹⁰⁷.

Но эта небольшая книга выдающегося ученого, в котором он размышляет об Истории, не может не удивлять своей наивностью и неловкостью. От начала и до конца она оформлена как слово о защите: некоторые говорят, что История не имеет твердой основы, что она не способна установить подлинность реконструируемых ею фактов — или в силу того, что самые важные остаются ей неизвестны, или потому, что ее вводят в за-

¹⁰⁷ Эти страницы были написаны при жизни Луи Альфана. Я без колебаний подтверждаю свое восхищение этим великим историком и его трудами. Тем более значима беспомощность его теории Истории (примеч. авт.).

блуждение лживые или двусмысленные документы. И автор совершенно серьезно берется показать, что тем не менее «даже в случае наименее документированных эпох» мы вправе собрать «комплекс достаточно известных фактов, чтобы можно было определить их смысл и значение, то есть сделать их предметом настоящего научного знания».

Итак, согласно этой школе, оправдание Истории сводится к доказательству существования фактов, которые достаточно неоспоримы для того, чтобы сделать возможным научное, то есть объективное исследование. Это приравнивание Истории к точным наукам не раз оспаривалось, в особенности на основании представления об опыте. В рамках Истории невозможно повторить опыт; по правде говоря, его нельзя даже произвести. Приходится, опираясь на свидетельства участников, не отдававших себе отчета в том, что они играют роль действующих лиц или наблюдателей, удовлетворяться реконструированием уникального и непосредственного опыта. Только вправе ли мы именовать опытом те драмы, которые люди переживали целиком и полностью?

Но от точных наук Историю отличает не только неспособность проводить эксперименты. Дело в самой природе ее исследований, и тут мы оказываемся у истоков ошибочного курса университетских историков. Завидуя позитивному характеру точных наук, они прямо или косвенно постановили, что История есть наука о фактах. Их концепция и метод построены на понятии исторического факта. Но спорным выглядит именно представление о наглядном *факте* как о предмете Истории¹⁰⁸. *Факт* для историков определяется не столько теоретическим анализом, сколько тремя постоянными заботами историка об установлении фактов, затем о последовательности установленных фактов и, наконец, об объяснении выстроенных фактов.

Установление фактов. Восстановление фактов требует обращения к документам соответствующей эпохи и их критического истолкования. Это работа над текстами, максимально

¹⁰⁸ См. ключевой в этом отношении анализ Реймона Арона в его «Введении в философию Истории». Не существует Истории, пока нет историка (*примеч. авт.*).

приближенная к источникам. Несмотря на свою очевидную тяжесть, в любом, даже самом среднем, историческом труде это самая ценная и аутентичная часть, которая спасает его от позитивистских искажений. Свидетель эпохи, любой подлинный документ до такой степени исполнен жизненных соков, что даже самый одержимый объективностью ученый не сможет до конца его иссушить.

Но то, что остается, представляет собой сложносоставное свидетельство и отнюдь не *факт*, который историк надеялся извлечь из этой живой материи. Факт бесконечно дорог историку, но его не было в документе до того, как тот к нему обратился: он сконструирован самим историком. В тот момент, когда факт определяется и устанавливается, он обособляется и становится абстракцией. Анатомируя человеческое поведение, как химик в лаборатории выделяет предмет своего эксперимента, историк не отличает то, что он именует фактом, от образчика опыта. Но что сохраняется живого в этом образчике? Историк считает возможным вернуть жизнь, вписав установленный факт в последовательность других фактов, которые ему предшествовали или за ним следовали.

Последовательность фактов. Когда факты каталогизированы, историк ставит перед собой задачу объединить их в том порядке, который воспроизводит бы временную последовательность.

Но возьмите какое-нибудь из «научных» пособий, скажем первый том «Истории Византии» Э. Брейе из серии «Эволюция человечества»¹⁰⁹. Там вы найдете практически все известные факты. Они исчерпывающе изучены и расставлены в строгой последовательности. И тем не менее, возникает ли у вас абсолютно реальное, лишенное субъективности ощущение длительности, которое вы испытываете, проживая собственное историческое время? Когда я думаю о своем времени, о том, что происходит вокруг меня, мне нет нужды детализировать элементы — факты — этой Истории. Я прекрасно и совершенно не-

¹⁰⁹ По-видимому, подразумевается книга Луи (а не Эмиля) Брейе «Византийский мир», первый том которой вышел в 1947 г. (*Bréhier L. Le Monde byzantin. T. I. Vie et mort de Byzance. Paris: A. Michel, 1947*). 2

посредственно чувствую, что это время существует, что оно об-
ладает для меня важнейшей, сущностной реальностью, хотя
я не знаю половины фактов, которые завтрашний историк бу-
дет считать необходимыми для ее исчерпывающей реконструк-
ции. Выпавшая мне на долю История и ее апостериорная ре-
конструкция историком столь несхожи, что один из нас должен
заблуждаться, либо человек, либо историк. Так кто же — чело-
век (потому что он объективно не знает всех фактов, которые
на него воздействуют) или историк (потому что факты даже
в своей совокупности не содержат в себе всей Истории)?¹¹⁰

Вполне очевидно, что проживаемое нами историческое вре-
мя нельзя свести к череде сколько бы то ни было многочислен-
ных фактов. В отличие от прямой линии, которая состоит из
бесконечного количества точек, историческое время не состо-
ит из бесконечного числа фактов.

Я не хочу сказать, что при повторном погружении во вре-
менную длительность «факт» историка перестает существовать.
Нет, он составляет часть ее скелета. К тому же по отношению
к этой длительности следует различать две категории фактов:
к первой относятся монументальные, разрывающие ткань вре-
мени и придающие особый характер некоторым его моментам.
Можно подумать, что время цепляется за них и никто из живу-
щих в соответствующую эпоху не может о них не знать. Но
существуют и другие, тайные факты, которые в силу своей при-
роды остаются в тени и неведомы современникам. Они оказы-
вают некоторое влияние на свою эпоху, поскольку помогают
возводить ее внешний фасад, но пребывают вне исторического

¹¹⁰ Не стоит думать, что недостающий абстрактному времени науч-
ных историков элемент может быть восполнен красочностью и лите-
ратурным воображением. В книгах, чьи невежественные авторы пыта-
ются «оживить» историю, также отсутствует эта таинственная реаль-
ность, которую мы стремимся открыть и призвать. Их случай просто
не заслуживает внимания, поскольку только доверчивость публики
и некомпетентность издателей позволяет им уставлять полки книж-
ных магазинов своими скучнейшими фантазиями. Намного интерес-
ней неудачи настоящего историка, который стремится восстановить
прошлое, измеряя совокупность фактов (*примеч. авт.*).

сознания живущих в ней людей. Именно они — любимейший предмет исторических исследований. Историки тратят особенно много сил, чтобы разведать все то, о чем не знали современники. Прежде всего это относится к политической истории и к истории дипломатии. Похоже, что не слишком умудренные сопоставлением фактов историки опасаются таинства временной длительности и предпочли создать собственное время, отличное от времени современников, но полностью принадлежащее им как специалистам.

В любом случае выстраиваемая историком-объективистом последовательность не воссоздает тот опыт переживания времени, которым мы обладаем. Более того, сопоставляя факты — и те, которые принадлежали эпохе и были им извлечены и забыты, и другие, которых там не было, но которые им туда привнесены в силу тех или иных предпочтений, — он детемпорирует Историю. Отсюда это впечатление, что у него все происходит не так, как вокруг нас, это обескураживающее чувство, которым объясняется разочарование энтузиастов, о котором мы говорили в начале этой главы.

Объяснение фактов. Это более или менее то, что Луи Альфан во «Введении в Историю» называет синтезом, недогнущей рукой начертав: «Синтез и анализ всегда должны идти вместе, помогая друг друга и взаимосовершенствуясь». Итак, объяснение фактов, того, как один вытекает из другого, — последняя возможность для историка соединить их иначе, чем в простой хронологической последовательности. В этой идее синтеза также различима попытка придать Истории смысл, оправдать ее в качестве эволюционной науки, или, как писал Луи Альфан, «перед нами предстают вещи, вновь помещенные в свой истинный контекст, не так, как будто они возникли из пустоты, но как продукты медленного развития, как этапы пути, конца которому никогда не будет».

Таким образом, с точки зрения историка факты объясняются причинно-следственными связями, которые соединяют их с предшествующими и последующими фактами. Я охотно признаю, что такого рода казуальность объясняет расстановку фактов, последовательность этих вырванных из времени образчиков. Она объясняет, почему тот или иной факт занимает то

или иное место. Но может ли она дать отчет в общем видении современниками собственной Истории? Главная проблема состоит именно в этом: когда мы анализируем собственное поведение или поведение человека нашего круга, то можем связать отдельные поступки во вполне надежные причинно-следственные цепочки, существование которых было бы неразумно отрицать. Но мы хорошо знаем, что поведение не сводится к одной казуальной механике, которая обладает реальностью лишь внутри той системы, которая способна ее понимать и преодолевать. Чтобы сесть в поезд или добраться до того или иного предмета, мы производим определенные действия, которые можно представить в виде причинно-следственной цепочки. Однако такая цепочка утратит свою реальность, если отъединить ее от общего начинания — путешествия или поиска предмета. В самом начинании есть нечто не сводимое к каскаду причин и следствий, нечто поддающееся анализу постфактум.

Не будем слишком на это напирать, и так хорошо видно, где может таиться ошибка: это случается, когда, с одной стороны, мы наделяем самостоятельностью каждый из посреднических актов; с другой — когда отбрасываем реальность этих промежуточных актов, растворяя их в общем намерении.

Именно это происходит при объективистском истолковании Истории. И хотя историкам, безусловно, удалось обойти второй подводный камень, они не сумели удержать глобальные структуры, которые наполняют конкретным значением промежуточные причинно-следственные связи.

Мы интуитивно понимаем, что, если взять какой-либо нынешний феномен, он будет иным, чем феномен вековой давности. Тем не менее каждый из них может быть включен в аналогичные причинно-следственные цепочки.

Без сомнения, возразит приверженец научной истории, который признает различие между эпохами и стремится его подчеркнуть, однако эти казуальные цепочки не будут идентичны. Нет двух фактов, которые в точности повторяют друг друга. Выводимая вами аналогия искусственна, вы пропустили одно из звеньев цепи.

Это правда, но у нас есть ощущение, что сущностное различие не объясняется еще одним пропущенным или добавленным

звеном. Напротив, оно связано с тем, каким образом нам представляются эти (возможно, весьма близкие) казуальные цепочки. И тут нам для разъяснений понадобится другая терминология: придется говорить о точке зрения, о тональности — всем том, что заставляет нас думать не столько о лабораторных опытах, сколько о произведениях искусства. *По сути, отличие одной эпохи от другой ближе всего к тому, которое существует между двумя картинами или двумя симфониями и имеет эстетическую природу.* Подлинный предмет Истории состоит в осознании того ореола, который окружает и делает особым тот или иной момент времени точно так же, как манера того или иного художника характеризует все его произведения. Непонимание историками эстетической природы Истории привело к полному обесцвечиванию эпох, которые они хотят вызвать к жизни и объяснить.

Их стремление к полноте и объективности способствовало созданию мира, который располагается рядом с живой вселенной, мира исчерпывающих и логических фактов, но лишенных того ореола, который придает настоящую субстанциональность вещам и существам.

Этим объясняется разочарование студентов, молодых историков, с которого я начал эту главу. Их притягивала История, поскольку они испытывали то особое чувство, которое позволяет человеку различать окраску эпох. Но на факультете им преподавали лишь мертвую анатомию. Если, как иногда случается, они обращаются к ненаучной истории, то, за редкими исключениями, их ждет еще большее разочарование: внешняя красочность вульгаризаторов кажется грубой заменой той субстанциональности, которой не хватало университетским скелетам. Искушенность предпочтительней дешевых иллюзий.

Некоторые из них решили, что головоломкам историков все же можно придать какой-то смысл: изучение прошлого позволит найти объяснение настоящему. Сегодня мы переживаем последствия более ранних событий. Главная роль Истории будет состоять в том, чтобы объяснять настоящее, восстанавливая его место в череде спровоцировавших его феноменов.

Тогда История — чье существование становится оправданным — сводится к поиску далеких и близких причин современ-

ных событий. Если считать Историю наукой о фактах, то такое сужение ее поля неизбежно. И это наименьшее из возможных зол.

Что касается меня, то я принял это оправдание Истории как третьего измерения настоящего, когда по окончании обучения оказался лицом к лицу с монументальными событиями 1940-х годов. Тогда трудно было не испытывать потребности связать эти гигантские, революционные феномены с более отдаленной Историей, чтобы лучше их понять, чтобы лишить их тех черт чуждости и невразумительности, которые делали их еще более грозными и вредоносными. Тогда, в 1941 году, у меня появилась возможность заняться преподаванием Истории в центрах для юношества и кадровых школах вожатых. Речь шла о том, чтобы заинтересовать Историей молодых людей, которые, в силу нехватки культуры чтения и отсутствия семейных традиций, вообще не имели представления о прошлом и не знали, что может обозначать это слово: что-то темное и смутное, неинтересное и бесполезное. Это были далеко не дети. И для того чтобы пробудить их любопытство, надо было связать это неведомое прошлое с чем-то известным им в настоящем и от настоящего перейти к прошлому, подчеркивая их взаимную преемственность и солидарность. Нам пришлось перетряхнуть огромную историческую ткань, чтобы выбрать из нее сюжеты, чьи следы все еще оставались различимы, и ими ограничиться. Это означало рассмотрение вопросов, которые обычно лишь вскользь упоминаются в официальных образовательных программах, такими как история техники, неклассические цивилизации и пр. Напротив, мы полностью исключили события дипломатического, политического, военного порядка, без зазрения совести перескакивая через режимы и революции: мы отстранили прошлое, остатки которого подверглись слишком большому разрушению и более не были заметны в современных структурах.

В итоге мы пришли к взгляду на Историю, совершенно отличному от официальных программ, которые просто резюмируют уровень знаний на определенном этапе развития исторической науки.

Этот опыт позволил мне верифицировать ценность представления об Истории как о третьем измерении настоящего.

По правде говоря, нет другого честного способа привлечь к ней аудиторию неспециалистов, если не пускать в ход арсенал пикантных анекдотов и сомнительных анахронизмов.

Тот, кто не имеет профессиональной привычки к управлению «фактами», их собиранию и радостям их бесполезного, но столь приятного упорядочивания, не испытывает ни малейшего интереса к самым точным и изобретательным реконструкциям. Чудеса эрудиции оставляют его равнодушным: по-человечески эта механика ему чужда. Если это дипломат или офицер, то в профессиональном плане его могут заинтересовать классификация и интерпретация дипломатических или военных фактов, но в человеческом он останется безучастен к заботам специалиста. Не существует истории фактов для неспециалистов.

Напротив, даже не самый образованный человек, если он хоть немного наблюдателен, удивится, глядя вокруг себя. Мир, в котором он живет, покажется ему — если он ненадолго сосредоточится — непостижимым, источником неразрешенных проблем. Только История способна откликаться на это удивление и уменьшать (или хотя бы ограничивать) абсурдность мира. Она объясняет, откуда появились отмечаемые странности, и придает глубину тому, что казалось неплотной поверхностью. Не существует другого способа вызвать интерес, который человек испытывает к человеку в Истории. Специалисты позабыли, что История — по меньшей мере, в виде придуманной ими науки о фактах — оправдывает свое существование в той мере, в какой она отвечает на проблемы, встающие перед настоящим.

Нельзя допустить, чтобы История стала монополией специалистов, даже если есть те, кто этого требует. Перед нами настоящее социологическое уродство, которое заключило Историю в узкий круг профессоров и профессоров профессоров. Из этой исчерпывающей и объективистской концепции есть один возможный выход — в сторону настоящего. Именно его мы находим во «Введении в Историю» Луи Альфана, о которой шла речь выше. Это достойная позиция.

Тем не менее она не удовлетворяет историка. Она оправдывает поиск причин — но далеко не всех. Если следовать ей со всей строгостью, то диктуемый ею метод приводит к вычеркиванию значительной части Истории: той части, следы которой практи-

чески стерлись из современного мира. Современная История приобретает тогда несоразмерное значение и окончательно вытесняет все вышедшие из употребления и архаические элементы, равно как и целые эпохи, чьи наследники уже угасли.

Следует ли признать, что то прошлое, которое не имеет непосредственного значения для настоящего, представляет интерес лишь для специалиста? Следует ли признать существование прошлого, не имеющего человеческой ценности?

Кто-то без колебаний с этим согласится — все те, кто хочет ограничить преподавание Истории современными эпохами, тем самым проводя различие между историей для специалистов (не имеющей хронологических ограничений) и историей для людей (ограничивающейся самыми верхними пластами).

Но соглашающиеся на такое изуверчение не испытывают благоговения перед прошлым. Большинство историков, начиная с университетских, откажется принимать в нем участие, расценивая его как святотатство. Действительно, речь идет о святотатстве, и, несмотря на все научные претензии, реакция наших эрудитов-объективистов имеет вполне религиозный характер. Поскольку у истоков их бескорыстных, объективных и исчерпывающих трудов стоит благоговение, зачастую стыдливое, но спасающее их сочинения от преждевременной дряхлости.

Но значит ли это, что существует прошлое для обычного человека, ограничивающееся современными пережитками, и прошлое для специалиста, целостное и лишенное разрывов? Такое деление гомогенного прошлого нельзя обосновать, и тем не менее, если мы принимаем объективистскую и исчерпывающую концепцию исторического факта, непонятно, как его избежать. Или История должна стать просто специальностью, не имеющей никакой связи с тем интересом, который человек испытывает к человеку, или она должна добровольно себя изуродовать, ампутировать свою значительную часть. В рамках понятия исторического *факта* эта проблема не имеет решения. Для того чтобы ее избежать, необходимо отказаться от слишком узкого понимания *факта*; надо признать, что История — это нечто большее, нежели объективное знание *фактов*.

Глава VII

Экзистенциальная история

С той поры, когда моя соученица, о которой шла речь в предыдущей главе, сетовала на сухость преподавания, университетская История обновила свои методы и принципы, и сегодняшним студентам (при минимальной степени осведомленности) не грозит разочарование их предшественников: их любознательности открыто множество соблазнительных перспектив, даже в стенах альма-матер. Давние, но долго заглушаемые тенденции набрали силу, и похоже, что со сменой поколений им удастся окончательно утвердиться. Если объективистская и исчерпывающая история *фактов* на позитивистский лад и сохраняется еще в научной литературе и в учебниках, даже в учебниках высшей школы, то выглядит упорным, но обреченным на отмирание пережитком прошлого. За последние двадцать лет университетская, ученая История смогла обновиться сверху донизу. Горизонты, которые она распахнула перед современной любознательностью, должны обеспечить этой помолодевшей науке такое положение в интеллектуальном мире, какого она не имела со времен романтиков, Ренана и Фюстеля де Куланжа. Позитивизм классицистической школы оставил ее в стороне от важнейших идейных дебатов эпохи, а марксизм и консервативный историцизм аннексировали ее в пользу исторических философий, бесконечно далеких от экзистенциальных забот современного человека.

Теперь, благодаря замечательным ученым, Истории возвращено ее законное место, вернее сказать (поскольку на самом деле оно никогда ей толком не принадлежало), она получила возможность ответить на тот страстный интерес, который современный человек испытывает к человеку — не человеку во-

обще, а конкретному, находящемуся в определенном состоянии индивидууму.

Но перед тем как попытаться определить дух этой новой историографии, вкратце напомним ее самые выдающиеся труды, составляющие основу школы. На ум немедленно приходят два имени: Марк Блок и Люсьен Февр¹¹¹.

Марк Блок, безусловно, является одним из крупнейших французских историков. Война — он был казнен немцами в 1943 году¹¹² — прервала его работу тогда, когда после периода длительного созревания он наконец получил возможность развить свои взгляды, смелость которых требовала внушительной эрудиции. Но и в настоящем виде сочинения Марка Блока оказали решающее влияние на историков. Вместе с Люсьеном Февром он стоит у истоков обновления нашей разлагавшейся от скуки науки. Любопытно, что оба мэтра Истории Франции пришли из Страсбургского университета, где они долго преподавали. Живой контакт с рейнским, германским миром (а для Люсьена Февра, который был родом из Франш-Конте, также и испанское влияние), без сомнения, воздействовал на их концепцию сравнительной истории цивилизаций и их отличительных особенностей.

В первостепенно важном, несмотря на его относительно малый объем, наследии Марка Блока я хочу подчеркнуть два аспекта, которые прежде всего обращают на себя внимание. Первый связан с его замечательным трудом «Характерные черты французской аграрной истории». Под «аграрной историей» Марк Блок понимал не историю правительственной или административной аграрной политики, но земледельческих структур, форм держания земель, их деления и эксплуатации. В действительности это история созданного руками человека пейзажа. Она уже дала название книге Гастона Рупнеля, еще одного скромного и увлекательного новатора: «История фран-

¹¹¹ Эта глава была задумана и написана до выхода сборника «Бои за Историю», в котором Люсьен Февр объединил наиболее показательные критические статьи, в которых представлены его взгляды на Историю (*примеч. авт.*).

¹¹² Марк Блок был расстрелян 16 июня 1944 года.

цузской деревни»¹¹³. Марк Блок открыл для большой Истории практически нетронутую (во Франции, в отличие от Англии и Скандинавии) область — изменение сельского пейзажа, происходящее при тесном контакте с человеком и его повседневным существованием. До Блока изыскания такого рода имели описательный и анекдотический характер, как у старого доброго Бабо. Он восстановил их значение для французского общества, которое до XVII века оставалось практически исключительно сельским. Его метод позволяет взглянуть на социальные структуры изнутри, минуя красочные, занимательные, но не доходящие до сути описания. Суть же в геометрическом пространстве повседневного человеческого труда, в отношениях земли и крестьянина.

Еще один новаторский элемент: «Характерные черты» не ограничиваются небольшим отрезком времени. Меж тем ученые традиционно специализируются на определенном периоде, и чем он короче, тем более уважаем специалист. Марк Блок — медиевист, но он не побоялся довести свою историю аграрных структур вплоть до XIX века, проявив при этом не меньшую эрудицию, чем при разговоре о Средних веках. Вместо горизонтальной специализации внутри периода он выбрал специализацию вертикальную, проходящую сквозь эпохи. Такой метод по-своему опасен, поскольку требует значительных знаний, но зато он позволяет выпукло представить различные этапы развития, не утопив их в монотонности слишком близких и, соответственно, слишком похожих друг на друга фактов. Тем самым разбиваются рамки специализации, которая дошла до такого уровня, что более не позволяет видеть разницу между эпохами или пространствами. К счастью, этому методу предстояло получить широкое распространение, поскольку было замечено, что история институтов теряет всякую вразумительность, если не охватывает достаточно большой отрезок времени, позволяющий наблюдать за их изменениями. Для тех, кто не принадлежит к числу современников, институциональные феномены понятны лишь через призму изменений, благодаря которым их можно различать и обособлять друг от друга.

¹¹³ Вышла в 1932 г.

Именно поэтому в двух своих замечательных трудах о «Феодальном обществе»¹¹⁴ Марк Блок подвергает полному пересмотру представление о феодализме. До Блока медиевисты и правоведы имели обыкновение представлять феодализм как раз и навсегда данную «организацию», которую достаточно было описать в зрелом состоянии, а затем объяснить ее истоки.

Если открыть небольшую книгу Жозефа Кальметта, которая суммирует состояние этого вопроса на 1923 год¹¹⁵, то первая же ее глава называется «Истоки феодализма». Автор обращается к римскому и варварскому праву и показывает, как из сочетания двух ранее существовавших институтов — бенефиция и вассальной зависимости — появился фьеф: здесь мы узнаем классический метод установления преемственности между фактами. Объективно говоря, преемственность эта может быть вполне верной, но она не объясняет те условия существования, которые отличают фьеф от бенефиция или вассальной зависимости.

Следующая глава называется «Феодальная организация», и в ней описывается типичный феодализм, без особых упоминаний о региональных различиях и разнообразных путях развития.

В отличие от своих предшественников, Марк Блок подошел к проблеме совсем иначе. Отчасти упрощая ход его рассуждений, определим их два основных направления.

Прежде всего, *феодализма* как такового не существует — есть феодальная *ментальность*. Тем самым изучение институтов покидает сферу права — конечно, не отказываясь от необходимых правовых аспектов, — и обращается к истории ментальных структур, состояния нравов, человеческой среды. Вместо того чтобы сосредоточиться на дофеодальных реликтах внутри феодального общества, Марк Блок стремился определить, в какой мере человек эпохи феодализма отличался от сво-

¹¹⁴ Bloch M. La société féodale. La formation des liens de dépendance. Paris: Albin Michel, 1939 ; *Id.* La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes. Paris: Albin Michel, 1940 (*примеч. авт.*).

¹¹⁵ Calmette J. La société féodale. Paris: A. Colin, 1923.

их предков. До него появление фьефа объяснялось вассальной зависимостью и бенефициями. Теперь, вместе с ним, мы противопоставляем феодала позднеримскому или германскому бенефициарию или дружиннику.

Далее, второе основание этого подхода: не существует *одного*, единого для всего Запада феодализма, но есть *множество* общественных состояний, достаточно близких друг к другу, чтобы их можно было объединить под общим ярлыком «феодализм», и в то же время достаточно различающихся, чтобы их не смешивать друг с другом. Не говоря уж об обширных пространствах, которые не были затронуты так называемыми феодальными привычками. С самого начала своего исследования Марк Блок тщательно различает и сравнивает разные периоды и местные особенности феодального уклада.

Но, стремясь охватить многообразие феодальных — и не феодальных — морфологий, Блок повинуетя отнюдь не традиционной потребности составить исчерпывающее описание, полный каталог более или менее близких институтов. Напротив, для него это способ определить и интерпретировать ту общую суть, которая вычленяется из их разных форм.

Действительно, никто не отрицал разнообразия институтов и их развития. Однако оно признавалось вторичным. Считалось, что за этой полиморфностью скрывается общее содержание, для выявления которой классическая научная история предлагала отбросить все случайные детали, воспринимавшиеся как внешние добавления, архаизмы и обусловленные посторонним влиянием подделки. Разнообразие редуцировалось до общего прототипа, в разной степени и в разных местах деформированного, но содержащего искомую суть.

Марк Блок не отрицает реального существования феодального общества, но он не пытается вывести его как среднестатистическую сумму всех различий. Напротив, он сравнивает их, никогда не пробуя свести разнообразие к фиктивному общему прототипу. Если единство действительно существует, то оно открывается не при отказе от многообразия, а в самих его недрах. Это единство есть результат того напряжения, которое возникает между различиями: мы осознаем его как единство благодаря специфике данного комплекса различий по отноше-

нию к другим комплексам, которые имелись до него, сосуществуют с ним или появятся после.

Единство — это то, что делает других другими. И такая инаковость несводима к средней величине, общей для прочих частей того же целого. Более того, конкретное сознание этого единства меняется по мере продвижения от обостренного восприятия неразрешимого характера противоречий к более высокому уровню обобщения. Социальная структура определяется тем, что ее диверсифицирует во времени и в пространстве.

Деятельность Люсьена Февра неотделима от деятельности Марка Блока. Вместе они руководили замечательными «Анналами социальной истории», благодаря которым в ученом мире и среди значительной части образованной публики распространилось живое и плодотворное понимание Истории. Вклад Люсьена Февра в это обновление особенно велик. Его книги и опубликованные в «Анналах» и в «Историческом обозрении» статьи дают достаточно материала для энергичного эссе об историческом методе или для описания основ философии Истории. В этом смысле его труды имеют первостепенное значение, которое необходимо сразу подчеркнуть. Тем не менее я не собираюсь идти этим путем, поскольку, по сути, такая антологическая работа требует сведения большого количества фрагментов и цитат; я же ставлю перед собой иную задачу. К тому же мне не хотелось бы повторяться, так как на предшествующих страницах было немало пассажей, непосредственно вдохновленных взглядами Люсьена Февра.

Как и в случае Марка Блока, я остановлюсь лишь на нескольких аспектах его исторического метода, чтобы показать, в каком направлении идет эта новая школа.

Пробным камнем мне послужат две недавно вышедшие книги Февра, «Проблема неверия в XVI веке: религия Рабле» и «Вокруг „Гептамерона“: любовь священная, любовь мирская»¹¹⁶.

¹¹⁶ *Febvre L. Le Problème de l'incroyance au XVIe. La religion de Rabelais. Paris: Albin Michel, Coll. L'évolution de l'humanité, 1942; Id. Autour de l'Heptaméron. Amour sacré, amour profane. Paris: Gallimard, 1944 (примеч. авт.).*

В обеих речь идет о ментальных структурах, свойственных людям XVI века. Но ни одна, ни другая не представляет этот сюжет напрямую: авторские намерения проглядывают лишь в заглавиях и подзаголовках. Люсьен Февр не стремится исчерпать свой предмет — общество XVI века или дать его поверхностный срез (определенную часть этого общества). Он рассекает его насквозь, но в точно избранной им самой точке, как это делают при зондировании. Место для зондирования Февр выбирает там, где его исследования наталкиваются на непривычный и, на его взгляд, загадочный феномен. Он не рассказывает историю, а ставит проблему. Как правило, последняя бывает связана с конкретным человеком (Рабле, Бонавентюр Деперье, Маргарита Наваррская) или с особенностью нравов (процессы над ведьмами). В делах минувшего он различает то, что, как ему кажется, подчеркивает разницу между чувствительностью человека прошлого и настоящего. Вот постановка проблемы: в чем состоит эта разница? Чему она соответствует в состоянии сравниваемых цивилизаций? — это уже интерпретация и выдвижение гипотезы. В какой мере эта основанная на одном отдельном случае гипотеза приложима к обществу в целом? — так предпринимается попытка исторической реконструкции, при которой История не разворачивается, как пленка с непрерывным изображением событий, но возвращается к своему первоисточнику, к удивлению, возникающему между вчера и сегодня, с которого началось исследование и которое продолжает его питать и направлять.

Тогда История предстает как отклик на первоначальное *удивление*, и историк — это тот, кто прежде всего способен изумляться, кто воспринимает аномалии такими, какими они предстают перед ним в общей чередности феноменов.

Такое отношение к Истории подразумевает наличие связи между историком и прошлым и особую концепцию развития, сильно отличающуюся от принципов, которые признаются классической школой¹¹⁷.

¹¹⁷ Очевидно, она подразумевает, что История не является реальностью, которую историк должен реконструировать; напротив, именно историк дает ей существование. См. по этому поводу «Введение в философию...» Реймона Арона (*примеч. авт.*).

Действительно ли Рабле был предтечей вольнодумцев и свободных мыслителей, как это утверждают историки? Мог ли он быть вполне свободен от веры, учитывая тот основанный на религиозных принципах, ментальный и общественный мир, в который он был погружен? Так случай Рабле перестает быть диковинным эпизодом литературной истории и превращается в важнейшую проблему, от решения которой зависит наше представление о существовании человека в Истории. Либо Рабле был более или менее откровенным атеистом, и тогда История является процессом медленного созревания, при котором новые элементы незаметно прорастают из уже существующих. Или же, живя в мире XVI столетия, Рабле не мог не разделять убеждения своего времени и составлял с ним одно целое, не похожее ни на одну другую эпоху. Тогда История — уже не эволюция с едва заметными во времени вариативными элементами, но достаточно резкий переход от одной цивилизации к другой, от одной общности к другой.

Речь не о том, чтобы приписать Люсьену Февру идеи, никогда не высказывавшиеся им ни изустно, ни на бумаге, заставить его утверждать, что Истории изначально присуща прерывность. История непрерывна в своей поддающейся измерению длительности. Однако метод Февра приводит его к пониманию Истории как череды тотальных, закрытых, несводимых друг к другу структур, которые нельзя объяснить одну через другую, отсылая к распаду первой внутри второй. Между двумя последовательно идущими цивилизациями есть сущностные противоречия, как будто при переходе от одной к другой возникает нечто ранее не существовавшее, аналогичное биологической мутации. Таким образом, методология Февра сближает его с социологией (хотя, насколько мне известно, напрямую он еще не высказывался по этому поводу), далекой от смутного подсознательного трансформизма историков XIX и XX столетий. Общество представляется ему в виде завершенной и гомогенной структуры, которая отторгает от себя чуждые ей элементы или затыкает им рот. И если структура разрушается, то нет никакого незаметного преобразования и появления производных форм: она сопротивляется и, даже будучи уничтоженной, продолжает существовать в виде упорных пережит-

ков — не внутри пришедшего ей на смену другого общества, а рядом с ним: именно это мы именуем архаизмом.

Только эти прерывные структуры — в материально непрерывной длительности — не могут рассматриваться изолированно. Внутри любой ограниченной эпохи, в которых так любили замыкаться прежние специалисты, все феномены похожи друг на друга и растворяются в бесцветной монотонности. Легко схватывать особенности окружающего его мира — привилегия живого человека. Но историк не может стать человеком прошлого. Его воображение не способно вдохнуть жизнь в минувшее, а обращение к красочным и показательным анекдотам — снять временную дистанцию. Историк не дано уловить своеобразие прошлого напрямую, как это делает современник, непосредственно постигающий истинный дух своего времени.

Оригинальный характер прошлого открывается историку лишь при сравнении с тем, что ему естественно знакомо, — с его собственным настоящим, единственной длительностью, которую он способен воспринимать бессознательно, не прибегая к объективации. Так, Люсьен Февр реконструирует уникальную, присущую только XVI веку среду, исходя из различий между чувствительностью того времени и нашей собственной. Этому посвящена его книга о Маргарите Наваррской. Как сегодня допустить, что чистосердечная и уважаемая женщина, следовавшая общественным правилам поведения своего времени и сословия, могла одновременно (и не противореча себе) писать «Гептамерон» и «Зерцало грешной души»? Мыслимо ли теперь, чтобы мужчина — король — мог без угрызений совести и без ханжества из постели любовницы отправляться инкогнито молиться в церковь? Уже Монтеню было трудно такое переварить... Маргарита Наваррская не могла бы появиться ни сегодня, ни даже, если двигаться более последовательно, через пятьдесят лет после собственной смерти. Почему? Да потому, объясняет Февр, что тогда между моралью и религией существовали отношения, отличные от наших, и эти религия и мораль были по-другому окрашены. С этим можно поспорить, но не будем, нас сейчас интересует лишь ход рассуждения историка. Сперва он устанавливает различия, затем с их помощью

реконструирует структуру, которая имеет уже не негативный характер, но предстает как подлинная целостность. В предельном случае историк максимально приближает свое восприятие прошлого к восприятию живших в то время людей.

Но если ему удастся преодолеть самого себя и те предрассудки, которые свойственны ему как человеку определенной эпохи, то не потому, что он пытается от нее оторваться, забыть ее и вытеснить за пределы сознания. Напротив, это возможно лишь тогда, когда он прежде всего сверяется с настоящим. Будет трудно уловить природу минувшего, если отбита способность ощущать собственное время. Сегодня историк не может быть кабинетным затворником, карикатурным ученым, укрывающимся за своими картотеками и книгами, не реагирующим на внешние шумы. Такой специалист убил в себе способность удивляться и более не чувствителен к историческим контрастам. Безусловно, он знает архивы и библиотеки, поскольку это профессиональная необходимость. Но этого недостаточно. Ему нужно ощущать жизнь собственной эпохи, чтобы от нее перейти к различиям, открывающим путь в иначе недоступный мир.

Обновление современной Истории не ограничивается Марком Блоком и Люсьеном Февром: на самом деле, оно проявляется в самых различных кругах историков.

Не избежала его и древняя История. Самые примечательные открытия делаются не только за счет усовершенствования археологического и филологического инструментария, но и потому, что он применяется в соответствии с компаративными (пространственно-временными) методами. История Античности более не ограничивается классической хронологией или географией. Она соприкасается с доисторическим периодом и распространяется вплоть до Индии и Центральной Азии: обновление греческой истории произошло благодаря не только открытию новых документов, но и компаративному методу. Историки берутся именно за те сюжеты, которые позволяют проводить параллели. Поэтому они уходят от классических эпох, которые старая историография изолировала в качестве целостных явлений (что спорно), предпочитая территории и времена, на которых происходило столкновение и смешение

разных цивилизаций: эллинистический, иранский, левантский мир, обмена между Востоком и Западом на всем протяжении шелковых путей и караванных маршрутов.

Новая и в особенности новейшая история оказались менее восприимчивы к этому обновлению методов и принципов. Прежде всего потому, что для них первостепенную важность сохраняют политические факты. Наши современники в меньшей степени ощущают потребность объяснять сознание собственной эпохи при помощи обращения к Истории: оно и так дано им прямо и непосредственно. Кроме того, надо признать, что растущее количество документов создало необходимость в специализации, причем не только хронологической, но и по типу исторических материй: есть специалисты по политической истории, есть по экономической, как будто существуют независимые друг от друга политика и экономика, а не общее, не поддающееся дроблению политическое, экономическое, нравственное, религиозное человеческое единство. Именно поэтому, сколь бы новыми и плодотворными ни были эти специализации, как, например, экономическая история, проводимые в их рамках исследования заводят в тупик. Консультироваться с ними весьма продуктивно, но их ученые штудии не столь далеки от университетских. Мне тут прежде всего приходят на ум исследования по истории цен — чрезвычайно важные, однако их значение недостаточно выпукло представлено, учитывая воздействие цен на человеческую ментальность.

Тем не менее, хотя по сравнению с древней и средневековой историей процесс обновления новейшей имеет не столь общий и решительный характер, он послужил толчком к проведению весьма значимых исследований. В их случае компаративный метод — во многом благодаря одновременному прогрессу социологии и географии — обращен не столько ко времени, сколько к пространству: электоральная география, география религиозных практик, исследования уровня жизни, коллективной ментальности, демографических феноменов, отношений к жизни, к смерти...

Этого беглого и в большой степени неполного обзора достаточно, чтобы отдать себе отчет в новизне идей (сюжетов и методов), изобилующих в сфере новейшей истории. Попро-

буем теперь охарактеризовать некоторые общие для всех этих исследований точки соприкосновения и то, в какой мере ими определяется отношение к Истории.

Попробуем из всего, что было уже сказано по этому поводу, составить небольшой катехизис «экзистенциальной» истории, пускай излишне бескомпромиссный и неполный, но дающий нам более четкое представление об этой трансформирующейся материи.

Классическая история конца XIX века определяла себя как науку о фактах и их хронологической и логической последовательности. Современная история утверждает себя как наука о структурах, причем термин «структура» берется здесь в значении, близком к немецкому «Gestalt»¹¹⁸. Такая структура представляет собой нечто большее, нежели собрание фактов, выстроенных во временном порядке и в соответствии с причинно-следственными связями. Факты — не более чем материал. Структура, или, как предпочитают говорить историки, среда, представляет собой органическую общность, которая группирует факты, но в их собственном — свойственном лишь данному моменту и данному месту — виде, или, говоря языком эстетики, освещении. Одна и та же структура никогда не повторялась и не повторится. Ее археологическая реконструкция историком смыкается с сознанием современника, непосредственно ощущающего своеобразие проживаемой им эпохи.

Поиск структуры в меньшей степени зависит от природы фактов, чем от их общей организации.

Много говорилось о том, что обновление Истории обусловлено выбором сюжетов. История на вчерашний, устаревший манер была историей военных сражений и политики. Современная концепция Истории превращает ее в экономическую или социальную историю. Это неверно. Сегодняшняя История имеет тотальный характер, она не отказывается ни от политических, ни от военных фактов. Недоверие у нее вызывает лишь идея существования изолированных фактов, засушенных в гер-

¹¹⁸ Здесь: как целостность, которая не является просто суммой частей. i

барии или полученных в лаборатории. Действительно, военные, дипломатические, политические события лучше других общественных феноменов соответствуют позитивистскому определению факта, потому что они уже являются продуктами усреднения, первой степени отвлеченности. Они располагаются на том институциональном уровне, который удален от конкретной репрезентации человека в контексте своего времени. Поэтому от эпохи к эпохе они обнаруживают одно и то же семейное сходство, вводящее в соблазн моралистов, политиков и эрудитов. Их легче изолировать, вычленив из движущегося потока феноменов. Они без сопротивления приспосабливаются к автономному существованию в качестве *фактов*, которые датируются и вставляются в непрерывную цепь причинно-следственных связей. Они являются пределом исторической конкретики и фигурирующих в различных историях отвлеченных *фактов*.

Это не значит, что их не существует. Но их надо снова поместить в структуру, которой они принадлежали, то есть изучать не их самих, как если бы они обладали независимостью и автономией, а в соотношении со структурой, одним из основных элементов которой они являются. Особенность человеческой среды состоит в том, что каждый из этих элементов не является простым, но воспроизводит всю сложность своей среды. В таком случае и дипломатические факты могут внести свой вклад в структурную историю, о которой идет речь, как это происходит в трудах Жака Анселя, посвященных европейской политике, представлениям о границах и пр.¹¹⁹

Тем не менее новый историк предпочтет феномены, которые не прошли через процесс обобщения, как это происходит с политическими материями. Он будет с жаром искать доинституциональные данные, сохранившие всю свежесть собственного своеобразия: все то, что сразу опознается как уникальное, никогда более не воспроизводившееся и не воспроизводимое. Именно поэтому современная историография особо интересу-

¹¹⁹ Скорее всего, подразумеваются следующие труды Анселя: *Ancel J. Géographie des frontières*. Paris: Gallimard, 1938; *Id. Manuel géographique de politique européenne*. Paris: Delagrave, 1940.

ется теми экономическими и социальными феноменами, которые максимально приближены к повседневному существованию всех людей. Можно сказать, что это — экзистенциальные факты. Но экзистенциальное качество не присуще им самим по себе. Если их изолировать, то, как и в случае политических фактов, они приобретут отвлеченный характер, утратят свой смысл и цвет. Они могут существовать лишь в рамках собственной структуры. Правда, их гораздо труднее извлекать, и тем не менее политическая экономия без этого не обошлась, и ее строгие схемы по меньшей мере столь же механистичны, как и причинно-следственные цепочки историков-объективистов.

Среди материалов прошлого нынешняя историография прежде всего доверяет тем свидетельствам, ценность которых по определению была недоступна для современников, но весьма высока в глазах специалистов. В рассказах прошлого историка интересует то, что кажется современнику само собой разумеющимся, о чем говорить было бы глупостью. И вот почему: мир — или структура — характеризуется коллективными привычками, основным свойством которых является спонтанность. Они исчезают, когда исчезает эта спонтанность, и их отступление означает конец того мира, параметром которого они были. Исторiku, как человеку из другого мира, этот стихийный аспект прошлого представляется наиболее чуждым. Иными словами, существуют такие исторические данные, которые для современника являются естественными, а для историка, напротив, странными. Спонтанность уберегает их от недостатка, свойственного множеству документов, чьи авторы позируют для потомства, подтасовывают события, о которых рассказывают. Но историка интересует как раз то, о чем они проговариваются помимо своей воли!

Затем историку надо будет объяснить, каким образом эти реконструируемые им простые привычки характеризуют нравы той эпохи, для которой они были естественными и безотчетными. Ему следует *психоанализировать* документы, как Марк Блок и Люсьен Февр психоанализировали средневековые и ренессансные свидетельства, чтобы выявить свойственную этим периодам особую ментальность — ту самую, которая была незаметна современникам и кажется удивительной на наш взгляд.

На самом деле необходимость подобного психоанализа не ограничена определенным типом фактов: от нее не уходят ни политические, ни дипломатические, ни военные материалы. Когда факт предстает как стихийная привычка, которая уже таковой не является, он перестает быть лабораторным образчиком и снова включается в общую структуру. В таком понимании факт обладает безоговорочной ценностью, по крайней мере в качестве рабочего инструмента исторической реконструкции. Его можно определить как *элемент ушедшей структуры, которой уже нет в структуре наблюдателя, в настоящем историка.*

Отсюда следует, что существует только компаративная История, которая представляет собой сравнение двух структур, остающихся внешними по отношению друг к другу. Из настоящего мы погружаемся в прошлое, но также поднимаемся из прошлого в настоящее.

Современник обладает естественным чувством своей Истории ровно так же, как самосознанием: он не представляет себе ее со всей ясностью и не испытывает в том нужды. Именно поэтому научная история возникла так поздно; именно поэтому она так долго определялась с методами и целями; именно поэтому она сперва обратилась к древней истории. Всегда проще отыскать другого, даже если изображается он весьма неловко, даже если потом, в силу последовавшей за первоначальным удивлением реакции, его инаковость подгоняется под усредненный прототип классицистического человека.

В истоке самой примитивной, самой обремененной моралью и политикой Истории заключен элемент — часто незаметный и практически стертый — удивления и любопытства. Такого любопытства не испытываешь внутри собственной Истории, где все кажется само собой разумеющимся. Поэтому история современников всегда кажется запоздалой и малоудовлетворительной. Она начинается с фактической истории. С одной стороны, надлежащим образом отобранные факты становятся политическими и полемическими аргументами в пользу разных позиций и партий. Действительно, отвлеченный и объективный факт представляет собой логическую конструкцию, которая не зависит от живого чувства Истории. Истории

Античности, Средних веков и Ренессанса уже начали реформироваться, тогда как новейшая история упорно придерживается повествовательных и аналитических методов, унаследованных от эпохи позитивизма.

Новейшая история должна быть компаративной, как и все прочие истории. Историк прошлого должен полагаться на настоящее. Напротив, историк современности должен покинуть настоящее, чтобы положиться на референциальное прошлое. Историк прошлого необходимо обладать непосредственным, свойственным современникам сознанием настоящего. В то время как историку современности необходимо узнавать настоящее посредством исторической археологии, поскольку те структуры, которые требуют определения, слишком для него естественны, чтобы он мог их ясно различать. Не историк прошлого, но историк современности должен покинуть свое время — не для того, чтобы стать человеком вне времени, но чтобы сделаться человеком другой эпохи.

История рождается из тех связей, которые человек устанавливает между двумя различными по времени или по местоположению структурами.

Необходимым условием существования такого рода Истории является наличие фундаментально разных структур, настолько отличающихся друг от друга, что в процессе постепенного разрушения одной из нее никак не может выйти вторая. Такого рода переход может быть (и почти всегда бывает) незаметен для современников подобных изменений. Они не переживают его как промежуток между «до» и «после». Для них все это — настоящее, одновременно включающее в себя пережитки и предвосхищения, чья внутренняя структура не имеет четких подразделений. История постулирует трансцендентность сменяющих друг друга цивилизаций, и ее нынешние методы основаны на этой трансцендентности. Сегодня невозможно утверждать, как это делалось совсем недавно, что История — это наука об эволюции. Историки по-прежнему используют этот удобный — и опасный — термин «эволюция» для передачи идеи изменения, медленного сдвига, но они постепенно избавляют его от биологического оттенка.

Таким образом, сохраняя и совершенствуя свой научно-исследовательский инструментарий, История начинает воспринимать себя как диалог, в котором всегда участвует настоящее. Она отказывается от безразличия, в которое стремились ввергнуть ее мэтры минувших дней.

Сегодняшний историк без тени смущения признает свою принадлежность к современному миру, и его труды по-своему отвечают на те — разделяемые им — тревоги, которые испытывают его современники. Его видение прошлого остается связанным с настоящим — настоящим, не ограничивающимся ссылкой на тот или иной метод. История перестает быть безмятежной и безучастной наукой, она открывается навстречу современным заботам, выражением которых является. Это уже не упражнения специалиста, но свойственный современному человеку способ существования во времени.

Глава VIII

История и современная цивилизация

Когда я покинул замкнутый мир детства, меня встретили две концепции истории: одна политическая, по меньшей мере внешне соответствовавшая столь завораживавшей меня роялистской ностальгии, — концепция французской истории Бенвиля. Она была основана на идее повторения исторических событий и превращала в систему то непосредственное восприятие Истории, которое существовало в моей семье. Другой подход предлагала Сорбонна: объективистский, почти столь же сухой и отвлеченный, как и в предыдущем случае, но не политизированный и стремившийся подняться до уровня точных наук.

По сути дела, нет такого историка, который не стоял бы перед этой альтернативой: история научная или политическая, консервативная или марксистская. Никто не способен сделать окончательный выбор. Самые суровые ученые стремились лишь к тому, чтобы в собственной жизни сохранять непроницаемый раздел между объективистской наукой и политическими интерпретациями прошлого. Но сколь незаинтересованный характер ни имела их эрудиция, они были подвержены влиянию тех представлений, которые были свойственны их среде, связаны с их политической позицией. Ибо политическая философия истории, как линия фронта, делила мнения на два враждебных лагеря. В каждом из них происходили свои столкновения взглядов, но, по крайней мере, окружающие говорили на одном языке. Это ощущение родства проистекало из общего — наперекор многочисленным ортодоксиям и отлучениям — отношения к Истории.

Принадлежность к правому или к левому крылу определялась предпочтением идеи исторических повторов или непрерывного становления. Достаточно смутный способ видения прошлого помещал вас по ту или по эту сторону линии фронта. Выбора не могли избежать даже одержимые объективностью профессиональные историки, и самый робкий выбор был равносителен вербовке.

Что касается меня, то я некоторое время колебался между университетским объективизмом и столь дорогой сердцу тогдашних интеллектуалов из «Аксьон франсез» идеей цикличности. Мне уже были известны труды Марка Блока и Люсьена Февра, но я еще недостаточно их переварил, чтобы понимать, к чему они ведут.

Сказать по правде, этот период моей интеллектуальной жизни оставил после себя скорее неприятное ощущение разноголосицы. В зависимости от собеседника и той плоскости — истории научной или политической философии Истории, — которую он выбирал для дискуссии, приходилось немедленно менять не только регистр, но почти что ментальность. Попытки слияния этих двух систем всегда кончались провалом. Одной ссылок на столь дорогую Сорелю и Бенвилю традиционную политику поддержания естественных границ было достаточно, чтобы провалить университетский экзамен. Профессора впадали в неистовство не столько из-за реальной ошибки, сколько учуяв дух ненавистного жанра. С противоположной стороны, мне вспоминается, как однажды я предложил программу занятий для кружка по общественным исследованиям, где изучались социальные классы. Мне показалось, что это хороший повод немного обновить обычные темы «Аксьон франсез», используя методы социальной истории и обращаясь к живому и конкретному опыту. Мое предложение не было принято, поскольку оно не приводило к практическим и действенным политическим выводам.

Чтобы вырваться из плена этой альтернативы, мне понадобился шок 1940 года и последовавших за ним лет испытаний.

Тогда в нашей взбудораженной жизни История обрела более интимное звучание, оказалась ближе связана с нашим собственным существованием: намного ближе, чем различные теории, до сих пор удовлетворявшие нашу любознательность. Этот процесс имел двоякую природу.

Прежде всего, История явилась в массовом, чужом облики: момент времени, сформировавшийся из предшествующих моментов, но противостоящий им в силу своей неустранимой особенности. Время выросло глыбой: подчинялся ли его ход каким-либо законам? Если да, то точно не тем, которые выводили историки-механицисты. Само понятие закона утратило свое значение, поскольку оказалось неприменимо к феноменам такого порядка. Мы прекрасно понимали, что при помощи инженерии нам не управиться с этим массивным потоком событий, странным и недоступным для понимания, но завораживавшим нас, поскольку он затрагивал наше существование на всех возможных уровнях, от самых поверхностных до самых глубинных. С этого момента История уже не могла оставаться просто предметом незаинтересованного знания или особой специализации. Она стала тем способом, каким современный мир предстает перед каждым из нас. До сих пор люди, защищенные толстыми стенами частной жизни, не имели конкретного ощущения мира своей эпохи. Теперь же каждый оказался лицом к лицу с миром и с эпохой. История есть осознание этого грозного присутствия.

Шок 1940 года не только явил нам большую историю во всей ее тотальности и массовости. Мы также увидели иную, особую для каждой человеческой общности историю.

Шарль Моразе заметил, что во время немецкой оккупации вновь возникли прежние мелкие «земли», казалось бы растворившиеся в более широкой региональной организации. Это весьма важное и далеко идущее наблюдение.

Дело не только в том, что военная обстановка отчасти вернула жизненные условия прошлого, когда эти земли действительно существовали. Оккупация, это тревожное и сосредоточенное на себе существование, возродила специфику, присущую самым небольшим человеческим сообществам, как традиционным (семья, землячество), так и новым, порой революционным («командос» в Германии или французское подполье). В силу сложных и множественных причин, одни из которых были материальными (затрудненность коммуникаций), другие моральными (возникавшая в условиях враждебной или подозрительной среды потребность в соратниках и соучастниках), *существование общества спустилось на низшую ступень интеграции*. Перед на-

ми открылся целый мир, ранее не входивший в наше сознание: *мир конкретных и уникальных отношений между человеком и человеком*. Этот насыщенный, хотя и ограниченный мир уходит в прошлое и пронизывает настоящее. Он — привычное нам лицо той самой Истории, явившейся в чужом, массовом облики. Это наша *особая, частная история*, которая принадлежит только нам и сущностно отличается от частной истории другого общества. Именно поэтому я начал разговор с собственных воспоминаний, которые после 1940 года стали казаться мне более важными и ценными, нежели ранее. В свете откровения частных историй я стал лучше понимать моррасовскую идею наследия, тесно связанную со старинными воспоминаниями и благоговейно хранимыми образами семейного прошлого. Забавно, как эта совершенно конкретная идея наследия могла столь долго уживаться с пониманием истории как механического повторения и политического урока.

Частная история сильно отличается от «опознанной» нами ранее тотальной и коллективной истории. Последняя не является ни суммой, ни средним арифметическим всех частных историй. Это отнюдь не две точки одного и того же развития. Напротив, они взаимосвязаны и при этом сознают присутствие друг друга. Это два способа существования в Истории.

Как мы видели, большая коллективная История возникает в тот момент времени, который противостоит предшествовавшим и следовавшим ему моментам. Различие устанавливается в самом времени. Напротив, отличие одной частной истории от другой существует между моей и твоей, но не между вчерашней и сегодняшней историей.

Моя история противостоит твоей в силу уникальности, которая сопротивляется времени, его эрозийным и разрушительным свойствам. Эта уникальность содержит в себе долю инерции, сопротивления переменам: таково моррасовское наследие. Именно это имел в виду отец семейства, когда сказал сыну: «Ты можешь поступить так, но в нашей семье так не принято, у нас так не делают». В этом смысле мы можем говорить о неизменности.

Но тут надо понимать, что такая неизменность не неподвижна. По ходу времени традиции различных социальных групп подвергаются глубоким изменениям, но они не влияют

на существующее внутри них ощущение верности своему прошлому. Частные истории возможны в той мере, в которой они представляют собой отказ от перемен в самой гуще всеобщих изменений.

Так, в эти смутные годы История явила нам свой двойной лик, что не бросило ни тени сомнения на ее фундаментальное единство. Как это свойственно всем человеческим феноменам, единство, если оно подлинное, возникает из первоначального многообразия, порой из противоречий.

Как бы то ни было, История представляет собой осознание того, что уникально и своеобразно, и тех различий, которые существуют между разными своеобразиями.

Такие различия могут располагаться во времени, будучи последовательными, противостоящими друг другу моментами Истории. Именно это я называю тотальной и массовой Историей.

Различия могут находиться вне времени, в самосознании сообщества, возникая не по отношению к другому периоду его становления, а по отношению к соседнему сообществу: именно это я называю особой, частной историей, историей наследий. Она еще пребывает в младенчестве и едва отделилась от схематической и болтливой социологии. К примеру, в нее может входить история классового сознания, история националистических репрезентаций, история мнений и всего того, что происходит внутри закрытого сообщества, которое создает для себя спасительную мифологию, убежище для тех, кто одержим неистребимой надеждой дать отпор переменам.

Две истории: два аспекта одной и той же проблемы, с которой мы сталкиваемся практически каждый день, проблемы *различных своеобразий*.

В этом смысле весьма показательно проследить за происходящими в обществе, в Истории изменениями ощущения своеобразия. Они лучше, чем отвлеченный анализ, проясняют то, что мы имеем в виду.

Было время — самая долгая историческая длительность, — когда своеобразие пребывало в вещах и в их непосредственной репрезентации. Предметы тогда не определялись своей функцией. Топор был не просто рубящим инструментом. Действительно, в сознании людей тогда не существовало общего техни-

ческого понимания топора. А был топор той или иной формы, изогнутости, особым образом украшенный, сделанный по определенному образцу. В рамках одной цивилизации эта форма имела не меньшее значение, нежели функция.

Традиционный топор не был взаимозаменяем с другим топором, позволявшим решать те же практические задачи. Даже если последний оказывался технически более совершенен, он не мог немедленно войти в употребление: этому сопротивлялась среда. Для того чтобы быть воспринятой, техника более высокого уровня должна была усвоить форму более примитивного инструментария, который ей предстояло заместить. Один предмет содержал в себе и технику, и форму — форма принадлежала к его внутренней части. Цивилизацию определяла привязанность к той или иной форме, которая придавала единый стиль всем техническим изменениям, — или, соответственно, отторжение иных форм, присущих другим цивилизациям.

Повседневное существование людей протекало тогда в мире различий. Именно поэтому у них не было истории, память сохраняла только анналы и эпопеи, причем нередко в литургических или сакральных целях. Люди не испытывали потребности в осознании различий, среди которых жили. Эта доисторическая по своему происхождению ментальность продолжала существовать и в исторические эпохи, но тексты (по крайней мере, высшие формы самовыражения) обходили ее молчанием. Действительно, писатели и художники тех эпох стремились уйти от различий, создать общечеловеческий тип, который сможет выйти за их рамки: именно это мы называем классицизмом. Я не думаю, что это исключительно западноевропейский феномен: существует и восточный классицизм. Его цель — утверждение единства по ту сторону различий, которыми исполнен мир. Вплоть до ментальной революции XVIII—XIX веков искусство и мысль всегда в большей или меньшей степени оставались классицистическими и казались изолированными от Истории, чуждыми общедоступному ощущению различий. В некоторые периоды этому чувству удавалось прорваться сквозь классицистические отвлеченности, но его тут же искореняли как проявление варварских эмоций.

Классицизм — художественный и литературный канон тех обществ, чье повседневное существование протекает в мире раз-

личий. Этот мир исчез в XIX столетии: по крайней мере, он перестал быть миром уникальных и дружественных форм.

С этого момента нет более топора определенной формы, который представляет собой совсем иной предмет, нежели этот выполненный в другом стиле псевдотопор. Теперь существует один-единственный топор, определяемый своей функцией рубящего инструмента. Он может иметь разный в зависимости от технического назначения вид, но различие его форм стало второстепенной декоративной деталью. Топор может быть красив или некрасив: все равно это топор. В этот цивилизационный момент форма, которая когда-то была *внутренней* частью предмета, становится ему *посторонней, внешней*, поверхностным достоинством, не затрагивающим его природу: предметы опознаются по их практическому назначению. Мы так привычны к этому способу виденья, что не можем представить себе неслыханное значение этой ментальной революции. Великое изменение, которое определяет современный мир, состоит не в техническом развитии, а в определяющей и деспотической роли техники в обозначении предметов. По сути, предметов более не существует, есть лишь производные от идеального прототипа, определяемого через функцию. Предметов не существует, одни технические функции. Топоров не существует, есть только рубящий инструмент. В конечном счете новый, отвлеченный технологический словарь вытеснит живые имена конкретных предметов.

В отличие от цивилизаций прошлого, наша цивилизация более не основана на конститутивном своеобразии. Даже сравнение с ними невозможно, поскольку древние цивилизации сосуществовали со множеством разных стилей. У нас более нет цивилизаций *во множественном числе*; мы тяготеем к *одному* общему и отвлеченному типу, который обычно именуется «современной цивилизацией» и характеризуется техническим единообразием как в Токио, так и в Сан-Франциско или в Париже. Возможно (да так и происходит), что это единообразие не сможет полностью подчинить себе нравы и уничтожить традиционные элементы различия. Противодействие технической стандартизации со стороны инерционного прошлого — суть современной истории. Это не мешает технократическому идеалу проникать в самых ходовые представления о жизни. Какими

бы ни были наши личные реакции, наша ностальгия по более осязаемому и уникальному прошлому, нам не отделаться от закоренелой привычки судить о предметах по их функции, а не по форме. А ведь важен именно способ восприятия вещей.

Цивилизациям, основанным на различиях, противостоит техническая цивилизация, всегда равная себе самой.

По мере того как техника становилась частью нравов, изгнанное из привычного предметного мира своеобразие переместилось в мир идей и образов, в сферу мысли и искусства, постепенно вытеснив оттуда неизменный и универсальный классицистический тип человека.

Похоже, что стирание своеобразия разрушило классицизм высшего порядка. Иными словами, есть потребность в своеобразии, которая ясно не осознавалась, пока оно не исчезло. Оказавшись между двойным однообразием техники и классицизма, человек мог погибнуть. И тогда вытесненное своеобразие получило возможность реванша в той области, которая ранее была отведена для классицистических обобщений: оно захватило литературу и мир идей.

В этом распространении своеобразия История сыграла довольно любопытную роль.

В силу удивительного парадокса, будучи изгнанной из литературы приходом романа, она сперва укрылась в классицизме. Роман XIX века обеспечил триумф социальных типажей, различавшихся в зависимости от эпохи, места действия и положения. Напротив, История в своих литературных, академических, консервативных формах продолжала держаться за воображаемого универсального человека. Она постулировала принципиальную неизменность человеческой природы, на которую не влияют мимолетные видоизменения, свойственные процессу становления. Эта идея неизменности человека стала общим местом буржуазного образа мыслей и разговоров. Даже сегодня попробуйте во время беседы в салоне какого-нибудь высокообразованного консерватора предположить, что знание прошлого не позволяет нам предугадывать будущее, что соседние эпохи отличаются друг от друга и не дают повода для общих выводов. Вам не дадут спуска. Но та же консервативная аудитория с большей легкостью и с меньшим раздражением

будет обсуждать марксистскую точку зрения. Она ее, конечно, не разделяет, но понимает — возможно, потому что в ее основе тоже лежит схема. Напротив, дифференциальная интерпретация Истории возмущает буржуазию как совершенная бессмыслица.

С тех пор сохранение классицизма в сфере Истории стало частью ее классового сознания и источником нравственного самооправдания. Ведь если народ всегда равен самому себе, это означает, что он не выходит из малолетства, что его подстерегают одни и те же опасности и соблазны. Ему требуется наставник в виде просвещенного класса. Более того, в этой предрасположенности к классицистической идее человека сказывается не только определенная манера рассуждения, но и привязанность к определенной картине мира, где буржуазия окружена довольством; и эту картину мира она стремится сохранить в своем единственном уцелевшем секторе.

Конечно, это устаревшая позиция, связанная с «викторианскими» мнениями и нравами. Такой классицистический изгиб был возможен лишь до того, как нашей чувствительностью завладела техника. Классическая буржуазия пользовалась техникой, но ее ментальный мир был сформирован гуманитарными дисциплинами и сохранял модальности предшествующих эпох. Начиная с 1914 года цивилизационные различия быстро свелись к столь характерному для современного мира усредненному типу. И в этой цивилизации, основанной на функциональном и технологическом единообразии, История стала пониматься как наука о различиях, причем не только немногочисленными специалистами. Сознание Истории, ощущаемой как разность времен и особенностей, выходит за пределы разрозненных групп профессионалов. Оно сливается с доминирующими направлениями идей и грозит захлестнуть последние рубежи обороны ортодоксальных консерваторов или марксистов.

Уничтожающей различия цивилизации История должна вернуть утраченное понимание своеобразия.

Роже Шартье

Дружество к истории

Из всех книг Филиппа Арьеса «Время Истории», без сомнения, оценена менее всего. С момента публикации в 1954 г. она ни разу не переиздавалась, тираж давно разошелся, и ее экземпляры можно найти только в библиотеке — и у небольшого количества читателей, которые когда-то приобрели за 600 франков это издание в белой обложке с изображением греческой богини, выпущенное издательством дю Роше (Монако, Конт-Феликс-Гастальди, 28). Незвестная широкой публике, пристально следившей за трудами Арьеса, «Время Истории» оказалась так же давно забыта ученым миром. За пятнадцать лет она ни разу не упоминалась во французских или иностранных журналах по общественным наукам. Исключение составляют, во-первых, статья Фернана Броделя «История и общественные науки», напечатанная в «Анналах» в 1958 г., где он ссылается на нее и отмечает: «Филипп Арьес подчеркивал, что в историческом объяснении важную роль играет чувство новизны объекта. Вступая в XVI столетие, вы попадаете в странное окружение, странное для вас, человека XX века. Почему это окружение кажется вам странным? Это как раз тот вопрос, который вы должны решить»¹²⁰. Во-вторых, статья Мишлин Джонсон, опубликованная в «Историческом

¹²⁰ Braudel F. Histoire et sciences sociales: la long durée // Annales ESC, 1958. P. 725–753 (цит. с. 737); цит. по: Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории. Под ред. И. С. Кона, РИО БГК им. И. А. Бодуэна де Куртене, 2000 (переиздание 1963). С. 115–142.

обозрении французской Америки», которая также упоминает этот труд, но не находит в нем удовлетворительного определения исторического времени: «В своей прекрасной книге „Время Истории“ Филипп Арьес описал эволюцию исторического чувства на протяжении веков, сперва проанализировав его на примере людей своего поколения правых (французские роялисты) или левых (марксистские и околomarксистские историки) взглядов. Историческое чувство для него есть некоторая данность, некий род „прилипания ко времени“ <...>. Он не анализирует это отношение, но просто констатирует его существование на примере множества связанных с ним явлений»¹²¹. Даже произошедший в последние годы заметный подъем истории Истории не смог вывести эту книгу из забвения, и она лишь изредка упоминается в трудах, посвященных историкам Средних веков или XVII века, о которых идет речь в двух ее центральных главах. Поэтому ссылки на «Время Истории» у Габриэлы Спигель, Ореста Ранума и Эрики Харт — по-прежнему исключения из правила¹²². Обширную цитату из нее можно найти в биографии Жака Бенвиля, составленной Уильямом Кейлором, который использовал свидетельство и анализ Арьеса для того, чтобы понять причины успеха «Истории Франции», опубликованной Бенвилем в 1924 г.¹²³

¹²¹ *Johnson M.* Le concept du temps dans l'enseignement de l'Histoire // *Revue d'histoire de l'Amérique française*, 1975. Vol. 28, № 4. P. 483—516 (цит. с. 493—494).

¹²² *Spiegel G.* Political Unity in Medieval Historiography: a Sketch // *History and Theory*, 1975, vol. XIV, № 3. P. 314—325 (notes 2 & 41); *Ranum O.* Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seventeenth-Century France. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1980. P. 4; *Hart E.* Ideology and Culture in Seventeenth-Century France. Cornell UP, 1983. P. 132, 133, 139. Книга Арьеса также использована и процитирована в книге ле Руа Ладюри «Монтайю» (глава XVIII).

¹²³ *Keylor W.R.* Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History of Twentieth-Century France. Baton Rouge & London: Louisiana State UP, 1979. P. 202—203, 214—218.

Итак, забытая книга. Но это книга, которую сегодня стоит открыть заново. В 1954 г., когда она вышла в свет, Филиппу Арьесу было сорок лет. В профессиональном плане он является руководителем Центра документации при Институте исследований тропических фруктов и цитрусовых, где работает с 1943 г. Он уже опубликовал пару трудов: в 1943 г. его работа «Социальные традиции в региональной Франции» составила львиную долю первой из «Кайе де ла Ресторасьон франсез», выпускавшихся издательством «Лез Эдисьон де ла Нувель Франс». В редакционной врезке автор представлен как «молодой историк, географ и философ, которых так не хватает этому поколению», а его проект как исследование «истоков и силы разнообразных религиозных, политических, экономических, социальных или литературных привычек, набор которых определяет характер различных регионов, равно как структуру и лицо Франции в целом». Главная идея книги — в том виде, в котором она здесь резюмирована, — отвечает духу времени и сочетается с изображением франкской секиры, которую издатель решил поместить на обложку серии: «В древности и прочности своих обычаев Франция черпает силу постоянства, свою способность к твердости, служащую ее чадам могучим основанием для доверия. Не гонясь за актуальностью, эта книга тем не менее преподает великий урок национальной надежды».

После войны, в 1948 г., Арьес публикует свою первую настоящую книгу «История населения Франции и его отношения к жизни». Она была начата в 1943 г., закончена в 1946 г. и, после отказа «Плона», выпущена новым издательством «Селф». Хотя исторические обозрения оставили ее без внимания, книга нашла некоторый отклик: Андре Латрей разобрал ее в «Монд» в одной из своих исторических хроник; кроме того, ее заметили демографы. Благодаря этому Арьес, который, дважды провалив экзамен на должность преподавателя (второй раз во время конкурса 1941 г.), оказался на обочине научной жизни, впервые получает приглашение участвовать в журнале, обладающем серьезным научным статусом, — «Попюласьон». В 1949 г. он публикует там статью «Отношение к жизни и смерти в XVII и XIX веках. Некоторые аспекты их вариаций», а в 1953 г. — заметку «Об истоках контрацепции во Франции».

К следующему году у него уже готово «Время истории». И снова «Плон» не принимает рукопись, хотя Арьес тесно связан с этим издательским домом и в качестве внутреннего рецензента (в особенности многочисленных рассказов и воспоминаний, составленных в послевоенное время), и в качестве руководителя серии «Цивилизация вчера и сегодня», в которой он уже выпустил «Военное общество» Рауля Жирарде, своего товарища по годам в Сорбонне, и «Тулузу в XIX веке» Жана Фуркасье. В итоге книга выходит в небольшом издательстве «Лез Эдисон дю Роше», на собственные деньги основанном заведующим литературной редакцией «Плон» Шарлем Оранго. Каталог его изданий, напечатанный на задней обложке труда Арьеса, включает в себя автобиографические тексты очевидцев эпохи (к примеру, «Воспоминания испанского монархиста, 1931—1952» Хуана Антонио Ансальдо, «Дневник каталонского изгнанника, 1936—1945» Гуэль-и-Комильяса или посмертное сочинение Жироу «Перемирие в Бордо»), в высшей степени классические исторические труды («Два прелата времен Старого порядка: Жаранты» Луи д'Илье) и очерки о современном мире («Британское Содружество и англо-саксонский мир» Реймона Ронза с предисловием Андре Зигфрида). Итак, несмотря на сотрудничество с большим парижским издательским домом, Арьес вынужден публиковать свои первые книги в небольших издательствах, типичных для послевоенных времен, возникших на волне увлечения свидетельствами и рассказами очевидцев. Порой такие издательства оказывались на вершине успеха (скажем, именно в «Селф» в 1948 г., одновременно с «Историей населения», вышли мемуары Кравченко «Я выбрал свободу»), но редко бывали долговечны. Долгое время остававшаяся нецензированной университетскими мэтрами, история в исполнении Арьеса не вдруг соблазнила и почтенные издательские дома, из-за чего историк вдвойне оказался в маргинальном положении.

«Время Истории» состоит из восьми текстов, идущих друг за другом без какого-либо вступления или заключения, как будто их сцепление и порядок сами по себе сообщают идею этого труда. Все они датированы и написаны в течение пяти лет. Самый ранний, которым открывается книга, написан в 1946 г. В «Воскресном историке» Арьес объясняет: «Я начал с автобио-

графической главы, задуманной мной после смерти брата, чтобы доказать самому себе, что решающую роль в моем призвании и прочих жизненных выборах сыграло детство»¹²⁴. Один из ключей — умалчиваемая в книге 1954 г. пустота, оставленная гибелью в бою 23 апреля 1945 г. Жака Арьеса, служившего младшим лейтенантом в армии де Латтра. Потрясения новейшей эпохи, исполненной страданиями, отмеченной «чудовищным вторжением Истории в человека», заставляют каждого, исходя из собственного прошлого, определить свое место в этой коллективной истории. Отсюда несколько необычное обращение к автобиографии со стороны тридцатидвухлетнего человека, стремившегося прояснить, что именно стоит за его отношением к истории. Понять себя, но, конечно, и заявить о себе. У этой первой главы была своя первая читательница, Примроз, на которой Арьес женился в 1947 г.: «Помню, что я послал ее своей невесте в Тулузу, как исповедь о моем духовном состоянии на тот момент»¹²⁵. После женитьбы он берется за другие тексты, которые вошли во «Время Истории»: в том же году пишет статью «История марксистская и история консервативная»; в 1948 г., во многом используя свой опыт работы в издательстве «Плон», — «Современный человек вступает в историю»; в 1949 г. — три эссе, которыми завершается книга; в 1950 г. — главу о Средних веках, а в следующем — о XVII веке. Иными словами, книга формируется постепенно, продвигаясь от рассказа о личном маршруте, проложенном сквозь разные способы понимания, изложения и написания истории — от семейных традиций, университета, историков из рядов «Аксьон франсез» и новаторов «Анналов» — к исследованию двух исторических казусов: того отношения к истории, которое было свойственно Средневековью и классицистической эпохе. Как четверть века спустя вспоминал Арьес: «Со мной тогда произошло то же, что всегда: захватившая меня злободневная тема стала толчком к ретроспекции и увела меня назад, к другим временам»¹²⁶.

¹²⁴ *Ariès Ph. Un historien du dimanche, avec la collaboration de Michel Winock. Paris: Éd. du Seuil, 1980. P. 111.*

¹²⁵ *Ibid. P. 112.*

¹²⁶ *Ibid. P. 111.*

Таким образом, «Время Истории» следует прежде всего рассматривать как траекторию пути историка через различные концепции истории, которые существовали в его время. Ее суть в дистанцировании от детских и юношеских привязанностей, которое предпринимает уже семейный человек, воспитанный в роялистских традициях, среди легенд о павшей монархии, страстный читатель Бенвиля, хранящий верность Моррасу и «Аксьон франсез». Отсюда эта неожиданная (и, безусловно, скандальная с точки зрения его круга) параллель между историческим материализмом и тем, что Арьес именует «консервативным историцизмом». Последний был представлен работами историков «капетингской школы XX века», которых объединяла общая идеология и общее издательство, «Файар», в частности его серия «Большие исторические исследования». Хотя исходные позиции прямо противоположны (с одной стороны, ностальгия по прошлому, с другой — надежда на категорический разрыв с ним), оба способа понимания истории имеют общие фундаментальные принципы: они не принимают в расчет истории отдельных сообществ, обращаясь лишь к коллективному становлению (в виде национального государства или будущего всего человечества). Оба направления стремятся установить закономерности, которые скрываются за повторениями похожих ситуаций, и растворяют уникальность конкретного бытия либо в абстракции институтов, либо в анонимности классовой системы. Такое сопоставление Маркса и Бенвиля — причем не с лучшей, а с худшей стороны — требовало определенной смелости и, безусловно, означало отказ от той философии истории, которой придерживались те, с кем Арьес был близок в силу семейных, дружеских, политических привязанностей.

К этому отказу его могли привести размышления над «великими разрывами 1940—1945 годов» и открытие новых способов осмысления истории. Об этом явственно говорит и подбор упоминаемых в книге авторов и названий (за исключением глав, посвященных собственно историографическим исследованиям Средних веков и XVII века): Прежде всего им определяется базовая историческая культура Филиппа Арьеса, сформированная из трех элементов — академической и университетской истории и истории в духе «Аксьон франсез». Арьес

перечисляет академических авторов, от Баранта до Мадлена — того самого Баранта, которого читал его дед, — характеризует их аудиторию («серьезная и образованная буржуазная публика: магистраты, законники, рантье... — люди, располагавшие обширным досугом, когда денежная стабильность и надежное размещение средств позволяло им жить на доходы с капиталов») и указывает наиболее важные черты: это исключительно политическая и строго консервативная история. Его также не удовлетворяет стоящая рядом с ней история университетского образца: безусловно, ее отличает ученость, непредвзятость, эрудиция, но она замкнута на себе самой, оторвана от современности и от читательской аудитории, ограничена упрощенными представлениями об исторических фактах и причинно-следственных связях. Студентом — сперва в Гренобле, затем в Сорбонне — Арьес водил знакомство с этой историей: серой, скучной, писавшейся одними профессорами для других (или для будущих профессоров). Он характеризует ее двойным образом — социологически, связывая закрытость университетской истории с образованием «новой социальной категории», замкнутой и многочисленной «профессорской республики», отличавшейся секулярными и левыми взглядами и рекрутировавшейся за пределами отвернувшихся от университета традиционных элит; и эпистемологически, подвергая критике теоретический подход к истории как к науке о фактах, которые необходимо извлечь, соединить и объяснить: подход, обоснованию которого служат такие труды, как опубликованное в 1949 г. «Введение в историю» Луи Альфана. Арьес перечисляет лишь нескольких университетских светил. По его словам, в Гренобле не было блестящих профессоров, которые привлекали бы слушателей к истории, а из всех сорбоннских мэтров он, не называя имени, упоминает только Жоржа Лефевра. Из университетских трудов он приводит горстку названий, отзываясь о них всегда критически: это «Феодальное общество» Жозефа Кальметта и его же «Карл V» (1945), первый том «Византийского мира» Эмиля Брейе (1947) и упомянутый трактат Альфана.

Самым цитируемым автором в рамках этой книги является, конечно, Жак Бенвиль, чье имя упоминается раз пятнадцать вместе с некоторыми из его трудов — «История двух народов.

Франция и Германская империя» (1915), «История Франции» (1924) и «Наполеон» (1931). Самый важный собеседник именно он, поскольку его «История Франции» была настольной книгой юности Арьеса, поскольку его способ написания истории распространился за пределы круга «Аксьон франсез» и стал доминирующим для всей вульгаризаторской истории 1930-х годов, поскольку его издательский успех был ошеломляющим¹²⁷, поскольку и после войны он оставался обязательной точкой отсчета для всех разновидностей консервативной мысли. Отступить от него, аттестовать его историю «механической физикой» или «механикой фактов» было почти кощунством с точки зрения кругов, к которым принадлежал Арьес. Вероятно, именно поэтому в интервью, которое было опубликовано в «Аспект де ла Франс» 23 апреля 1954 г., он несколько смягчает вынесенный в книге приговор и отделяет Бенвиля от его «подражателей»: «Бенвиль обладал огромным талантом, скажем, его „Историю Третьей республики“ отличает восхитительная чистота линий. И как проницателен анализ событий! Взгляните, какие яркие книги были уже посмертно составлены из его журнальных статей! Добавлю, что он являлся слишком крупным мастером, чтобы не быть равно чувствительным как к общему, так и к частному, как к сходству, так и к различиям. Но мне кажется, что опасность подстерегает тех его продолжателей, кто слишком жестко применяет его методы анализа, сводя историю к механическим повторам, способным всегда и по любому поводу снабжать нас готовыми моральными уроками. У них Франция быстро перестанет быть живой реальностью и превратится в абстракцию, существующую исключительно по законам математики». Несмотря на осторожный ответ, продиктованный нежеланием оскорблять чувства читателей монархического журнала, вполне очевидно, что, когда

¹²⁷ Как указывает У. Р. Кейлор, между 1924 и 1947 гг., т. е. к тому моменту, когда Арьес взялся за «Историю марксистскую и историю консервативную», издательство «Файар» отпечатало 260 300 экземпляров «Истории Франции» (а между 1931 и 1947 гг. — 16 950 экземпляров «Наполеона»). См.: *Keylor W. R. Jacques Bainville and the Renaissance of Royalist History of Twentieth-Century France*. P. 327–328.

в 1947 г. Арьес писал «Историю марксистскую и историю консервативную», он стремился порвать с интеллектуальными привычками своего политического семейства, точно так же как за несколько лет до того, во время войны, он дистанцировался от Морраса и «Аксьон франсез»: «Я освободился от своих прежних наставников и решил, что больше у меня их не будет. Пушвина была перерезана!»¹²⁸

В профессиональном плане на это обрубание пуповины Арьеса подвигло несколько книг. Во время и после войны он, в силу склонности и по обязанности, много читает: вошедшие во «Время Истории» статьи позволяют реконструировать этот новый круг его чтения. Прежде всего его интересует марксизм, который тогда, казалось, притягивал к себе весь интеллектуальный мир и снабжал «людей, нагими брошенных в Историю» несколькими простыми идеями, сводившимися к «желанию выйти за пределы политических конфликтов, давлению масс, ощущению целенаправленного движения Истории». Таким образом, марксизм для Арьеса — в большей степени идеология XX века, которая стремится завоевать доминирующие позиции, нежели корпус идей самого Маркса, ни одно из произведений которого напрямую не упоминается. О том, что стоит за этой характерной чертой, можно судить по участию Арьеса в журнале «Пароль франсез», в котором его соредактор Пьер Бутан опубликовал первое сообщение о бойне, устроенной советскими войсками в Катыни, и по его интервью в «Аспект де ла Франс»: «Я совершенно убежден, что История не имеет никакого направления. Нет ничего более ложного, чем идея постоянного прогресса, непрерывной эволюции. Истории с указательной стрелкой просто не существует <...>. Чем больше изучаешь конкретные условия существования разных веков, тем яснее видишь искусственность марксистских истолкований, которые сегодня привлекают многих христиан. История, внимательная ко всем формам бытия, напротив, склоняется в сторону традиционалистских идей». Собственно, из марксистских историй в узкопрофессиональном смысле слова Арьес читал один из немногих опубликованных трудов, который вы-

¹²⁸ *Ariès Ph.* Un historien du dimanche. P. 81.

шел в 1946 г., «Классовая борьба при Первой республике (1793—1797)» Даниэля Герена: там он снова обнаружил закон исторических повторов, который, несмотря на разность исходных позиций, сближает исторический материализм и консервативный историцизм.

Две группы текстов внесли свой вклад в отказ Арьеса от первоначальных установок. Прежде всего, многочисленные свидетельства и рассказы о жизни, часть из которых он читал для «Плон» (кстати, ни один из упоминаемых им текстов так и не был там опубликован). Знакомство с ними убедило его, что можно говорить о возникновении нового исторического сознания, в рамках которого индивидуум воспринимает свое личное существование как неразрывно связанное с коллективной судьбой. Трудно сомневаться, что в этих жизненных повествованиях Филипп Арьес обрел свой собственный опыт утраты, пережитой в момент гибели брата. Из этих тематически ограниченных рассказов от первого лица о военных сражениях (дневник англичанина Хью Дормера), нацистских лагерях (две книги Давида Руссе) или о сталинском терроре (воспоминания Кравченко и Вальтина) вырисовывается картина общего, коллективного потрясения, в результате которого ни одно индивидуальное существование не может более быть защищено от событий большой истории. Рушится прежняя граница между частным и публичным: «В нынешнее время можно утверждать, что не существует частной жизни, которая отделена от жизни общественной; частной морали», — так возникает одна из магистральных тем его будущих книг, от «Ребенка и семейной жизни при Старом порядке» вплоть до проекта «История частной жизни». Отсюда этот совершенно новый, но ставший всеобщим достоянием способ восприятия, который растворяет частные истории семьи, территориальной общины или социальной группы в сознании общей, всех увлекающей судьбы.

Истории, которые пишут историки, не должны дублировать и усиливать это непосредственное и спонтанное восприятие: а именно так поступают, каждый на свой лад, исторический материализм и консервативный историцизм. Напротив, они должны поставить перед собой задачу вернуть человеку уникальные, несводимые друг к другу истории, сознание тех раз-

личий, которые составляют своеобразие тех или иных сообществ, территорий, групп. Отсюда ценность «Анналов», которые Арьес открывает для себя во время войны. Даже не сам журнал, упоминаемый им только один раз, но основные труды Марка Блока и Люсьена Февра, которые помогают ему изменить способ мышления и отойти от истории своей юности. Из книг Марка Блока он обращается к «Характерным чертам французской аграрной истории» (1931) и к «Феодалному обществу»; а у Люсьена Февра берет «Проблему неверия в XVI веке: религия Рабле» (1942) и «Вокруг „Гептамерона“: любовь священная, любовь мирская» (1944). Кроме того, в сноске он упоминает и только что опубликованный сборник Февра «Бои за историю» (1953). Сегодня статья Арьеса об «Экзистенциальной истории» с ее перечислением основополагающих положений «новой историографии» может показаться банальной — и потому, что изложенные в ней принципы теперь разделяются не только кругом «Анналов», но всей французской исторической школой, и потому, что за последние годы вышло немало книг, объясняющих, какой была эта новая история. Но в 1954 г. ситуация была совершенно иной, и именно с этой точки зрения и следует рассматривать «Время Истории».

История как «наука о структурах», а не «объективное знание фактов»; проект тотальной истории, объединяющий исторические данные, экономические и социальные явления, равно как и политические или военные факты; историк должен «психоанализировать» документы, чтобы выявить «ментальные структуры», свойственные разным моделям восприятия; история требует анализа «тотальных, замкнутых, несводимых друг к другу структур», — для 1954 г. все эти положения отнюдь не были самоочевидны. Один выбор терминов («исторический психоанализ», «структурная история», «ментальные структуры») должен был вызывать содрогание у близких Арьеса и сторонников истории бенвильевского типа. Как и тревогу университета, который, несмотря на все уважение к трудам Марка Блока, не был готов принять эту новую манеру концептуализации и историописания, столь далекую от традиционного символа исторической веры, выраженного, в частности, во «Введении в Историю» Альфана. В этом смысле «Время Исто-

рии» — по-видимому, первая книга не принадлежавшего к «школе» историка, в которой столь прямо обрисован переворот, совершенный «Анналами» и в трудах Блока и Февра: это означало не только признание качества их работы, но понимание того, что после них невозможно продолжать писать историю так, как это делалось раньше. Там, где историки концептуализировали преемственность и повторения, им надо было увидеть различия и разрывы; там, где они представляли лишь цепочки фактов, основанные на причинно-следственных связях, им следовало различать структуры; там, где они находили четкие идеи и явные намерения, им было необходимо расшифровать безотчетные предпочтения стихийного поведения.

Это восторженное и умное выступление в защиту истории в духе «Анналов», по-видимому, можно объяснить двояко. Прежде всего, такая история позволяла восстановить утраченную связь между учеными исследованиями и читающей публикой. История различий, история цивилизаций, история Блока и Февра была способна дать человеку XX столетия именно то, чего ему недоставало: понимание радикальной новизны своей эпохи и, одновременно, тех пережитков, которые по-прежнему присутствуют в окружающем его обществе. Таким образом, становится возможным постижение прежних обществ или ментальностей во всем свойственном им своеобразии, без анахронической проекции в прошлое свойственного нам образа мышления и поведения; в ответ история способна помочь каждому понять, почему наше настоящее именно таково, каково оно есть. Этой двойной идее Филипп Арьес останется верен во всех своих книгах, неизменно связывая поиск исторических различий с анализом современного общества, его представлений о семье или отношения к смерти.

Но история образца «Анналов» дала ему не только это: в ней он обрел возможность соединить свои семейные и политические пристрастия с собственно научными интересами. Действительно, новый словарь истории разрозненных структур позволял вернуться к особым историям простейших сообществ, не являющихся ни классами, ни государством, которые все еще сохраняются несмотря на «технократическую стандартизацию» и «большую Историю, тотальную и массовую». Отсюда этот

неожиданный альянс между новейшей из ученых историй, зародившейся в стенах республиканского и прогрессистского университета, и одной из традиций «Аксьон франсез», причем отнюдь не роялистского якобинства, но традиции провинциальной, связанной с местной социабельностью, с родственными и территориальными сообществами, с группами вне государственной системы. На первый взгляд, сочетание парадоксальное, но вполне декларативное, как видно из беседы Арьеса с репортером «Аспект де ла Франс»:

«Вы утверждаете, что подлинный историк — и, одновременно, истинный последователь Морраса — должен заниматься историей конкретных земель, их сообществами и семьями...

— Безусловно. Для меня история — это ощущение живой традиции. Оно было хорошо знакомо Мишле, несмотря на все его заблуждения, и удивительно проницательному Фюстелю. Сегодня такая история нам нужна как никогда. Ее образчик создал Марк Блок, которого Гаксотт в своей „Истории французов“ приветствует как новатора <...>. Многие традиции уже исчезли (особенно после разрыва 1880 г., о котором говорил Пеги), а история этого типа позволяет нам осознать все то, чье существование было спонтанным и, в общем, бессознательным)».

Так, «история, увиденная снизу» и занятая изучением определенных ментальностей и бессознательных выборов, сближалась с политической и, в той же мере, экзистенциальной приверженностью к поддержанию своеобразия и различий.

Каков был отклик на эту попытку? В «Воскресном историке» Арьес замечает по поводу своей «Истории населения Франции» и «Времени Истории», что «обе книги добились лишь уважения, притом практически молчаливого»¹²⁹. Эту реминисценцию позволяет скорректировать подборка печатных откликов по поводу второй книги¹³⁰. Нет, ее не отрецензировали ни большие журналы, ни исторические обозрения, включая «Анналы»,

¹²⁹ Ibid. P. 118.

¹³⁰ Пользуемся возможностью поблагодарить Мари-Роз Арьес, любезно предоставившую в наше распоряжение подборку газетных вырезок и благодарственных писем, собранную супругой Филиппа Арьеса, Примроз.

которые обошли молчанием труд, с удивительной ясностью разъяснявший их исследовательский проект. Однако он все же был упомянут, разобран или раскритикован в двадцати периодических изданиях. Каждый отзыв трактовал его по-своему: как рассказ об интеллектуальном пути («Присутствие личности автора, который делится с нами своими моральными сомнениями, сообщает этому произведению особенно притягательный характер», — «Аксьон популер», сентябрь — октябрь 1955 г.); как размышление над настоящим (именно поэтому чаще всего цитировалась последняя фраза: «Уничтожающей различия цивилизации История должна вернуть утраченное понимание своеобразия») или как исследование различных представлений об истории, сменявших друг друга на протяжении веков. Судя по этим отзывам, Арьес более или менее известен, поскольку некоторые рецензенты знакомы с его текстами (так, Фредерик Моро в «Бюллетен де л'университе де Тулуз» именует его «историком-демографом», а временник «Оран републикен» указывает не только названия его предыдущих книг, но и тот факт, что он «директор серии „Цивилизации вчера и сегодня“ и исторический хроникер журнала „Ла Табль ронд“), другие же полагают его профессиональным историком — таков он для „Диманш-матен“; „Ла Фландр либераль“ считает, что он «занят преподаванием». Стоит добавить, что «Время Истории» удостоилась награды Академии нравственных и политических наук за 1954 год, поделив ее с исследованием Ролана Мунье, посвященным XVI—XVII векам и вышедшим в серии «Общая история цивилизаций» издательства «PUF».

Из этих рецензий наиболее интересны те, которые отдают себе отчет в оригинальности книги, в сочетании традиционалистских симпатий и идейной, действенной поддержки такой истории, которая не принадлежит ни университету, ни политическим союзникам Арьеса. Как писал хроникер «Л'Индепандан» Ромен Сова: «Вот книга, которая обречена вызвать небольшой переполох среди профессиональных историков и заставить любителей, как мы, пересмотреть свои мнения... Я склонен думать, что она удивит и скандализует некоторых друзей автора...» Если переполох и не достиг Университета, то удивление друзей действительно было немалым. Его следы ощущаются в отзыве,

опубликованном в «Журналь де л'аматер д'ар» и подписанном инициалами «П.К.»: без сомнения, это Пьер дю Коломбье, когда-то один из участников «Пароль франсез» и друг Арьеса, адресовавший ему по поводу «Времени Истории» большое письмо, в котором мы видим те же критические замечания, только в чуть более развернутом виде: «По поводу истории как таковой и того, что скороспело именуется нашей „вовлеченностью в историю“, эта книга делает ряд блестящих и привлекательных наблюдений, с которыми я категорически не согласен. Я вижу тут лишь тот разгром, который оставляет за собой во всех дисциплинах философия определенного рода. Признаюсь, что не могу постигнуть, ни что такое „экзистенциальная“ история, ни почему мы в большей степени „вовлечены“ в историю, нежели предшествовавшие нам поколения». В случае Робера Кама из «Нувель литерер» замешательство выражено не столь непосредственно и окрашено иронией: «Среди доктрин „Аксьон франсез“, почтительно с ними раскланявшись, он [Арьес] выделяет ту роль, которую в этой метаморфозе сыграл Жак Бенвиль и три его магистральных труда, в особенности „История Франции“. И вот он уже последователь Марка Блока и Люсьена Февра. Старая школа ожесточенно нападает на Бенвиля, почувствовав в нем угрозу. Правда, новая школа нередко проявляет себя в вульгаризаторских опусах». В «Бюллетен де Пари» появилась большая статья «Может ли наше время удовлетвориться „экзистенциальной“ историей?», в конце которой колумнист Мишель Монтель подводил следующий итог: «История, изучающая изменчивое разнообразие, безусловно насыщает любознательность и отвечает нуждам нашего времени. Но я не думаю, что из-за нее иссякает тяга просвещенного человека к более широким перспективам, когда разум стремится открыть для себя связь между причинами и следствиями. Возможно, есть смысл в том, чтобы соединить учение Марка Блока с образцами Бенвиля, однако разве это не было уже сделано? Взгляните на великолепную „Историю французов“ Пьера Гаксотта!» (во «Времени Истории» Гаксотт упомянут только один раз). Так, напрямую отвергая различия или сводя их на нет, наиболее идеологически близкие к Арьесу авторы выражают свой дискомфорт, который вызывает у них этот совершенно непонятный им образ мыслей.

В феврале 1955 года Пьер Дебре в «Аспект де ла Франс» снова подробно останавливается на книге, и его критика недвусмысленна: «Арьес с некоторой враждебностью говорит об „истории образца Бенвиля“: это объясняется тем, что он пытается преодолеть болезненный конфликт между семейной монархической и университетской традицией. Как он не постигает того, что через свойственную Франции *политическую* преемственность Бенвиль как раз стремился уловить ее национальную особенность?» Для журналиста-роялиста «от экзистенциальной истории может быть толк лишь при условии, что мы понимаем ее ограниченность, которая весьма велика». Для того чтобы доказать последнее, Пьер Дебре избирает двойную тактику: с одной стороны, воспроизводит критические замечания в адрес Люсьена Февра, высказанные Марру в его книге «Об историческом знании». С другой — он неожиданно противопоставляет Февру «его друга Марка Блока — того самого Марка Блока, чьи последние лекции я имел счастье слушать. Признаться ли, что повторное ознакомление с большим трудом о „королях-чудотворцах“ этого историка-еврея, республиканца и демократа, побудило меня сделать решительный шаг в сторону монархии?» Начиная с этого момента его интерпретация Блока не имеет ничего общего с Арьесом: «Столь сильна власть предрассудков даже над самыми логически мыслящими людьми, что Марк Блок считал себя антиподом Моррасу. Меж тем, сам не зная, он занимался тем же организующим эмпиризмом¹³¹, как мещанин во дворянстве говорил прозой». Этот Блок — сторонник Морраса, историк национальной преемственности (Пьер Дебре восхищается названием его книги «Характерные черты аграрной истории Франции» [на самом деле — «французской аграрной истории». — *Р. III.*]) — очевидным образом отличается от Блока «Времени Истории», исследователя структурных различий. Эта общая отсылка к одной фигуре показывает, как мало была воспринята оригинальность идей Арьеса.

Тем не менее нельзя не удивиться уважительному отношению к Марку Блоку (пускай и перетолкованному на разные лады) в идейных и культурных кругах, казалось бы максимально

¹³¹ Термин Морраса (*примеч. пер.*).

удаленных от «Анналов». Конечно, важная роль этого журнала признавалась ближайшими друзьями Арьеса, которые в целом (хотя и не без некоторого раздражения) признавали его проект. Это видно по отзыву на «Время Истории» Рауля Жирарде, опубликованном в «Ла Табль ронд» в феврале 1955 года (в этот период фамилия Арьеса часто фигурирует в списке авторов этого периодического издания). В основном он согласен с таким подходом к истории, который стремится соединить «ощущение разнообразия» и «чувство наследия», «ясность и верность», но тем не менее добавляет: «Филипп Арьес рискует исказить картину нынешней исторической мысли, слишком настаивая на роли „Анналов“ и объединившихся вокруг них историков. Лидеры — безусловно, новаторы — мы не столь уверены. Как кажется, правильней было бы видеть в деятельности „Анналов“ один из аспектов — порой блестящих, порой весьма спорных — работы всего поколения». Сдержанность перед лицом слишком рьяной поддержки «Анналов», поскольку этой школе или «группе» и так свойственно представлять себя единственной защитницей новаторства, затушевывает здесь общую вовлеченность в переопределение условий работы историка.

Что тогда происходило в университете и как там была воспринята книга Арьеса? В отсутствие отзывов «профессиональных» исторических журналов некоторое представление об этом дают письма, адресованные автору рядом профессоров того времени. Из них особо выделяются три: все в высшей степени хвалебные, но в которых проскальзывает сдержанность по поводу некоторых формулировок. Для медиевиста Филиппа Ренуара, профессора университета Бордо, главное — роль индивидуума, которая может исчезнуть при изучении структур: «Как и все на свете, историография подвержена изменениям; но именно благодаря нашим предшественникам, которые сделали то, что сделали, мы сегодня можем заниматься чем-то другим — тем, что я, как и вы, считаю более уместным. Мне только кажется, что история становится тотальной лишь в том случае, если рядом с исследованиями направлений мысли, ментальных структур, социальных групп, конъектур и болезней остается место для индивидуумов, которые, в силу своего положения, могли направлять события. Ваша позиция по этому вопросу не до кон-

ца ясна» (письмо от 18 апреля 1954 г.). Профессор Сорбонны Шарль-Анри Путас¹³² сожалеет о том, что в книге мало затронуты следующие проблемы: «Я бы больше места отвел эрудитскому направлению и отдал бы должное его трудам, которые с XVI века скромно и незаметно сопровождают всегда находящееся в центре внимания, поверхностное литературное творчество; и я бы сильнее настоял на огромной ценности профессиональной подготовки, воплощенной в нашем старом Гизо» (28 марта 1954 г.) — возможно, что эта двойная отсылка к эрудитам и к Гизо свидетельствует об определенном недоверии к новым течениям. В примечательном письме другого профессора Сорбонны, Виктора-Люсьена Тапье, автор доверительно сообщает о своем долге по отношению к основателям «Анналов» и о принципиальном согласии с предлагаемым проектом Арьеса. Но, как и Путас, он подчеркивает необходимость эрудиции и специфические требования университетского образования, отличающиеся от тех, которые существуют в учебном заведении, возникшем из «группы» «Анналов», то есть в IV секции Практической школы высших исследований, образованной в 1947 г., — возможно, что это сдержанное проявление недоверия к слишком поспешному переходу на учебные программы тотальной и структуральной истории.

Таким образом, письма и рецензии ясно показывают, что с самого начала своей карьеры в качестве историка Филипп Арьес оказался в ложном положении. Слишком горячий сторонник Блока и Февра с точки зрения университетских мэтров, слишком далеко отошедший от бенвилевской модели истории с точки зрения круга «Аксьон франсез» и, безусловно, не более чем любитель с точки зрения историков «Анналов», он оказался интеллектуально близок тем, кто его не знал, и идеологически верен тем, кто плохо понимал его концепцию истории. Недоразумения, возникшие на почве этих множественных и несочетаемых приверженностей, оказались на редкость устойчивыми и обрекли Арьеса на изоляцию: в университете его практически не признавали, в «Анналах» обходили молчанием вплоть

¹³² По-видимому, Шарль-Ипполит Путас: в 1923 г. он опубликовал свою диссертацию об источниках и библиографии Гизо (*примеч. пер.*).

до 1964 г., когда журнал опубликовал рецензию на «Ребенка и семейную жизнь при Старом порядке»¹³³ (исключение составляла критика Андре Арманго одной из глав «Истории жителей Франции»¹³⁴), консерваторы относились с недоверием, поскольку он дистанцировался от их идеи порядка, основами которого является семья (в узком смысле этого слова), всевластное государство и общество потребления. Все эти экивоки и отторжения, часто забавлявшие, но и ранившие Арьеса, становятся заметны начиная со «Времени Истории».

Итак, эта книга Арьеса должна рассматриваться в контексте своего времени, отмеченного еще не столь далекой войной, богатого неожиданными сближениями и парадоксальными позициями. Но не только: важно читать ее и с позиций сегодняшних исторических занятий. Действительно, в двух центральных главах, посвященных отношению к истории в Средние века и в XVII столетии, Арьес одним из первых показал, какой может стать история Истории. С тех пор — упомянутые статьи написаны в 1950 и 1951 гг. — эта дисциплина встала на ноги, о чем можно судить по количеству тематических исследований (т. е. не учитывая заметки, посвященные тому или иному автору), которые рецензируются в разделе «Историография» ежегодника «Библиофиль аннюэль де л'Истуар де Франс» (8 в 1953–1954 гг., 52 в 1982 г., 47 в 1983 г.), публикации специализированных библиографий, посвященных именно этой области исторического знания¹³⁵, и факту существования Международной историографической комиссии, объединяющей специалистов данного профиля. Таким образом, у нас есть возможность сравнить (что бывает жестоко по отношению к первопроходцам) то, о чем тридцать лет назад писал Арьес, и современное состояние знания в соответствующей области.

В отношении Средних веков Филипп Арьес выделяет три основные группы данных: сохранение церковью способов из-

¹³³ *Flandrin J.-L. Enfance et société // Annales ESC, 1964. P. 322–329.*

¹³⁴ *Armengaud A. Les débuts de la dépopulation dans des campagnes toulousaines // Annales ESC, 1951. P. 172–178.*

¹³⁵ См., например: *Historiography: a Bibliography. Ed. by Lester D. Stephens. Metuchen (N.J.): The Scarecrow Press Inc., 1975.*

мерения времени, необходимых для определения подвижной даты празднования Пасхи и для согласования отдельных хронологий с библейским летоисчислением; устойчивое (вплоть до XIII века) разделение истории, имеющей монастырский и церковный характер, и эпопей, рассказывающей о сеньоральных и королевских традициях; и, наконец, закрепление истории одновременно династического и национального толка, организованной по эпохам правления, которую делают доступной взгляду статуи и витражи Реймского собора, надгробные фигуры в аббатстве Сен-Дени и «Большие французские хроники», этот «роман о королях» и «первая история Франции». Эти же черты выделяют и современные специалисты по средневековой историографии, прежде всего Бернар Гене. Действительно, литургические нужды аббатств признаются первопричиной того попечения о летоисчислении, которым обусловлена форма и значение монастырских хроник: «На протяжении веков монастырская культура была глубоко отмечена наукой исчисления сроков церковных праздников и заботой о времени, подстегиваемой литургическим чувством»¹³⁶. Напротив, при светских дворах история становится делом жонглеров и менестрелей, она составляется на народном языке — сперва стихами, потом прозой — и опирается на устные традиции и шансон де жест: «Таким образом, природа источников, литературная культура авторов и вкусы той публики, которой была адресована эта история, безусловно, склоняли ее в сторону эпопей. Она была проникнута тем же духом, так же мало заботилась о хронологии и не стеснялась смешивать правду и поэзию»¹³⁷. Эта кардинальная оппозиция была отчетливо осознана Арье-сом; именно она организует всю сферу историописания вплоть до того момента, когда формирование современных государств

¹³⁶ *Guenée B. Histoire et Culture historique dans l'Occident médiéval. Paris: Aubier/Montaigne, 1980. P. 52.* Этот труд, в котором имеется библиография из 829 наименований, — лучший обзор состояния исторического знания в Средние века (см. также: *Le Métier d'historien au Moyen Age. Études sur l'historiographie médiévale, sous la dir. de B. Guenée. Paris: Publication de la Sorbonne, 1977).*

¹³⁷ *Ibid. P. 63.*

ставит перед ней другие цели: прославление династической преемственности и национальной идентичности. Отсюда новая роль историка: «История перестает быть служанкой теологии и права, она совершенно официально становится помощницей власти. Конечно, официальный историк не предполагал отречься от истины, но, в первую очередь, он был и стремился быть слугой государства»; отсюда новая функция истории — укрепление чувства принадлежности к одной нации, идентифицируемой через ее прошлое¹³⁸.

Обращаясь к XVII столетию, Арьес строил свое описание истории классической эпохи на жестком противопоставлении: с одной стороны, неизменный жанр «История Франции», вотчина компиляторов и продолжателей, от издания к изданию предлагавших вариации на одну и ту же, раз и навсегда данную тему; с другой — эрудиция, опирающаяся на исследование, собирание, публикацию рукописных и иконографических источников. Таким образом, история-повествование, безразличное к исторической критике и изменяющееся не в силу развития знания, но ради того, чтобы соответствовать идеям и чувствительности своей эпохи, контрастирует с исторической эрудицией, порожденной любознательностью коллекционеров и охватившей круги «должностной буржуазии», венцом которой стал коллективный труд бенедиктинцев Сен-Мора. В этом исследовании XVII века Арьес открыл несколько ранее не ходящих маршрутов, когда сравнил варианты изложения одного и того же эпизода (история Хильдерика и, конечно, Жанны д'Арк) в различных историях Франции от XVI до XIX века; проследил различное понимание и использование истории в неисторическом жанре, а именно в романе; и придал первостепенное значение иконографическим документам, таким как портретные галереи и кабинеты истории, которые помогали поддерживать историческую любознательность — «можно сказать, что история, изгнанная из литературной сферы, укрылась в иконографии и, отвергаемая писателями, нашла приют у коллекционеров», — а затем способствовали формированию эрудитского движения, также основанного на поиске и сборе древ-

¹³⁸ Ibid. P. 323, 345.

них памятников. Без сомнения, впервые в таком масштабе Арьес открывает важность изображения для историка, и это открытие навсегда закрепляет их сотрудничество с Примроз, которая была искусствоведом и научила его видеть по-новому. В «Воскресном историке» он вспоминает о том, как ему пришла идея этой наиболее оригинальной части статьи о XVII веке: «Во время одной из велосипедных прогулок по берегам Луары мы посетили замок Борегар, чья галерея исторических портретов сильно меня поразила. Мне пришло в голову, что это тоже один из способов репрезентации времени, сравнимый с хроникальным, но более конкретный и привычный. Впервые изобразительный документ дал мне новую тему для размышлений. Одно к другому, и от портретных галерей я перешел к коллекционерам XVII века, что привело нас с женой в Кабинет эстампов Национальной библиотеки, где мы взялись за собрание Геньера <...>. Дальше это превратилось в привычку. Вскоре мы стали завсегдатаями Кабинета эстампов, где были почерпнуты многие материалы моей следующей книги „Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке“»¹³⁹.

Вынесенный Арьесом диагноз состояния исторического знания в XVII веке остается вполне приемлемым и в свете исследований последних пятнадцати лет, хотя, может быть, и нуждается в ряде поправок и уточнений. Прежде всего это касается оценки роли дворянства мантии в формировании собственно исторического интереса, направленного на поиск и интерпретацию документов. Благодаря книгам Джорджа Хуперта и Дональда Келли мы можем отдать должное значимости этой практиковавшейся легистами истории. Ее апогей приходится не на начало XVII, но на последнюю треть XVI века, на период между 1560 г., когда были опубликованы «Исследования Франции» Этьена Паскье, и 1599 г., когда вышла «Идея совершенной истории» ла Поплиньера, или 1604 г., когда свет увидела его же «История историй». У них, как и у тех, кого Арьес также не упоминает (Жана Бодена, Луи ле Руа, Никола Винье), новый подход к истории обусловлен неожиданным сочетанием трех элементов: взыскательности эрудитов-антиква-

¹³⁹ *Ariès Ph.* Un historien du dimanche. P. 121–123.

риев, требовавшей собирания архивов и филологической компетенции; установлению прочной связи между историей и правом, в равной мере рассматриваемых с исторической точки зрения; формированию проекта «новой», «идеальной», «совершенной» истории, который, в случае каждого отдельного народа, стремится дать рациональное объяснение всему комплексу человеческих поступков — того, что ла Поплиньер именовал «изображением всего»¹⁴⁰. С этой точки зрения склонность к эрудиции должностной буржуазии начала XVII века представляет собой не столько новый этап в развитии исторического знания, сколько остатки распавшегося альянса между строго критическим методом и стремлением к всеобщей истории, способной к исчерпывающему объяснению различных обществ и их будущего. Конечно, традиция эрудитов была подхвачена Дюшеном, обоими Годфруа, Пейреском, позднее Дюканжем и монахами Сен-Мора, но теперь она посвящает себя публикациям текстов, собиранию монументальных коллекций, разнообразных глоссариев и не берется за написание истории как таковой, которая остается на долю компиляторов и литераторов. Таким образом, описанный Арьесом контраст между историем-повествованием и исторической эрудицией действительно был свойственен XVII веку, но его следует рассматривать как результат разложения элементов, соединенных вместе историками последней трети XVI века, которые были воспитанниками муниципальных коллежей и недавно обновленных факультетов права, адвокатами или магистратами, легистами, стремившимися одновременно постигнуть историю человечества и историю нации.

Вторая коррекция концепции Арьеса касается противопоставления эрудиции и Истории Франции образца классической эпохи. Прежде всего, вполне очевидно, что авторы сочинений

¹⁴⁰ *Huppert G.* The Idea of Perfect History. Historical Erudition and Historical Philosophy in Renaissance France. The University of Illinois Press, 1970; *Kelley D. R.* Foundations of Modern Historical Scholarship. Language, Law and History in the French Renaissance. New York & London: Columbia UP, 1970; *Chartier R.* Comment on écrivait l'histoire au temps des guerres de Religion // *Annales ESC*, 1974. P. 883—887.

по Истории Франции знакомы с работами эрудитов, которые они используют и цитируют, обращаясь к собраниям античных и средневековых текстов, хроникам и старинным мемуарам, исследованиям антиквариетов от Этьена Паскье до Теодора Годфруа. После 1659 года репертуар отсылок пополняется новыми названиями: собраний документов Дюшена, дон д'Ашери и Балюза, трудов эрудитов-либертинов первой половины XVII века (Пьера Дюпюи, Габриеля Ноде, Пьера Пето) и работ монахов Сен-Мора, начиная с Мабийона¹⁴¹. С другой стороны, по своим намерениям некоторые авторы XVII века, предпринимающие собственную редакцию Истории Франции, не столь далеки от сторонников «новой истории» предшествующего столетия: так, Мезере посвящает часть каждой главы своего труда нравам и обычаям тех народов и эпох, о которых идет речь¹⁴². Даже организованная по эпохам правления и полностью ориентированная на судьбу монархии, общая история не вполне свободна от антикварных и эрудитских диковинок. Стоит напомнить, что тот же Мезере отнюдь не был чужд ученых дискуссий, происходивших в библиотеке братьев Дюпюи, и даже составил «Исторический, географический, этимологический словарь, в особенности касающийся истории Франции и французского языка», который при его жизни не был опубликован. Иными словами, не следует слишком преувеличивать разрыв между двумя формами истории, о которых писал Филипп Арьес, поскольку они были не столь далеки друг от друга, как это может показаться, и более литературное было хорошо осведомлено о более эрудированном.

¹⁴¹ *Tyvaert M.* Érudition et synthèse: les sources utilisées par les historiens générales de la France au XVII^e siècle // *Revue française de l'histoire du livre*, 1974, № 8. P. 249—266. Эта статья, как и другая работа этого автора (*Id.* L'image du roi: légitimité et moralités royales dans les histoires de France au XVII^e siècle // *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 1974. P. 521—547) являются фрагментами его диссертации (*Tyvaert M.* Recherches sur les histoires générales de la France au XVII^e siècle (Domaine français). Université Paris-I, 1973).

¹⁴² О Мезере см.: *Viala A.* Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'âge classique. Paris: Éd. de Minuit, 1985. P. 205—212.

Для того чтобы понять, почему разделяющая их дистанция представляется гораздо большей, надо подчеркнуть, что в своем тексте Арьес почти не касается такой функции истории, как прославление монархии и государя. Стремясь избежать свою модель истории от давления государства и примата политики, он преуменьшает степень влияния королевского патронажа и литературной политики на историописание XVII века. Действительно, различие между эрудитами и историографами не ограничивается способами и методами их работы, но отсылает к разному пониманию их обязанностей со стороны самой монархии. Так, первые, даже получая королевские пенсии, находятся за рамками проекта прославления короля и династии, в то время как вторые, вне зависимости от того, возложены ли на них обязанности королевских историографов или историографов Франции, напрямую участвуют в прославлении правящего монарха, составляя историю его непосредственных предшественников или его собственного царствования¹⁴³. Поэтому монарх всегда занимает центральное положение и в итоге становится единственным предметом повествования — повествования, призванного убедить наблюдателя в величии государя и всемогуществе властителей. «Предметом истории королевства или нации является государь и государство; это тот центр, к которому все должно направляться», — в этом утверждении отца Даниэля из предисловия к его «Истории Франции» (опубликована в 1713 г.) можно услышать отзвук слов Пелиссона, написанных за сорок лет до того: «Все должно восхвалять короля, но при этом, если можно так выразиться, восхвалять без похвал»¹⁴⁴. Так или иначе, все истории Франции XVII столетия участвуют в осуществлении этой программы (вне зависимости от того, были ли они непосредственно заказаны государством или пользовались его покровительством), тем самым приспосабливаясь к требованиям верховной власти.

¹⁴³ См.: *Ranum O. Artisans of Glory.*

¹⁴⁴ Анализ принадлежавшего Пелиссону проекта истории Людовика XIV см.: *Marin L. Le Portrait du roi.* Paris: Éd. de Minuit, 1981. P. 49–107.

Дружество к истории. В одном из мест «Времени Истории» Филипп Арьес пишет о том, что консервативные сообщества XX века отреклись от такого дружества, замкнулись на себе и собственных ценностях, отрицая значимость других традиций, и в итоге иссушили сами себя, поскольку не были способны воспринимать многообразие окружавшего их мира. У него самого отличия вызывали живой интерес, он стремился понять то, что выходило за рамки культуры его времени или его среды, и именно поэтому он смог уйти от бесплодного повторения избитых истин. Именно в этом состоит ярчайший урок этой книги: нет идентичности вне конфронтации, или живой традиции, которая бы не имела связи с сегодняшним днем, или понимания настоящего времени вне осмысления исторических разрывов. Вся жизнь, все сочинения Филиппа Арьеса были проникнуты этими идеями, впервые сформулированными в небольшом сборнике, увидевшем свет в Монако в 1954 г., идеями человека, испытывавшего глубочайшее дружество к истории.

Аннотированный именной указатель

Аббон (ум. 923), монах аббатства Сен-Жермен-де-Пре, автор поэмы «De Bellis Parisiacae urbis» об осаде Парижа норманнами в 885–886 гг. **107**

Август — см. Октавиан Август.

Августин (Аврелий Августин, 354–430), один из отцов церкви, почитается как христианский святой. **77–82, 92**

Адемар Жан (1908–1987), искусствовед, помощник хранителя Кабинета эстампов Национальной библиотеки. **161**

Адриан (Публий Элий Траян Адриан, 76–138), римский император в 117 г. **30**

Аларих I, вождь вестготов в 382–410 гг. **78, 80**

Алеви Даниэль (1872–1962), историк. **94, 219**

Александр III Македонский, прозванный Великим (356–323 до н. э.), царь Македонии с 336 до н. э. **44, 91, 158, 199**

Александров Виктор (1908–1984), русский эмигрант, автор «Путешествия сквозь хаос». **64, 69**

Альба Фернандо Альварес де Толедо, III герцог (1507–1582), наместник Нидерландов, полководец. **168, 170**

Альберт Великий (ок. 1193–1280), член доминиканского ордена, философ и ученый, один из учителей церкви. **158**

Альфан Луи (1880–1950), историк. **93–94, 104, 210, 220, 224, 228, 262, 266**

Альфонс XIII (1886–1941), король Испании (1886–1931). **19**

Амазис II (570–526 до н. э.), царь Египта. **76**

Амбуаз Жорж д' (1460–1510), кардинал, министр Людовика XII **164, 170**

Анжуйский герцог — см. Генрих III.

Анкетиль Луи-Пьер (1723–1806), историк. **129, 131, 142, 153–154, 173**

- Анна Бретонская (1477—1514), герцогиня Бретани, королева Франции, жена Карла VIII, затем Людовика XII. **193—194**
- Анотто Габриель (1853—1944), историк. **212—213**
- Ансальдо Хуан Антонио (1910—1958), испанский пилот, участник гражданской войны. **258—259**
- Ансель Жак (1882—1943), географ, специалист по геополитике. **242**
- Анрио Жан-Клод, переводчик. **62**
- Антенор, один из троянцев, советник Приама. **113**
- Аргей (VII в. до н. э.), царь Македонии. **90**
- Ардье Поль (1563—1638), королевский казначей, коллекционер. **162—164, 168, 171, 183**
- Аристотель (384—322 до н. э.), философ. **45, 158, 187**
- Арманго Андре (1920—198?), демограф, профессор Дижонского университета. **274**
- Арон Реймон (1905—1983), философ. **220—221, 236**
- Артаксеркс II (ок. 445—359 до н. э.), персидский царь из династии Ахменидов. **158**
- Артуа граф д' — см. Карл X.
- Артур III де Ришмон (1393—1458), коннетабль Франции (1425—1458), герцог Бретонский (1457—1458). **164**
- Ашери Люк д' (1609—1685), бенедиктинец из монастыря Сен-Мор, публикатор средневековых текстов. **279**
- Аттила, вождь гуннов в 434—453 гг. **158**
- Афанасий Великий (298—373), епископ Александрийский, отец церкви. **181**
- Ахаз, царь Иудеи, правил 735—715 до н. э. **89**
- Бабо Альбер (1835—1914), историк. **232**
- Байи Огюст (1878—1967), писатель, литературный критик. **28, 45**
- Бак Перл (1892—1973), американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1938 г. **53, 61**
- Бальзак Оноре де (1799—1850), писатель. **213**
- Балюз Этьен (1630—1718), профессор канонического права в Парижском университете, библиотекарь Кольбера. **176, 179, 279**
- Барант Амабль Гильом Проспер Брюжьер, барон де (1782—1866), историк, дипломат, член Французской академии. **13, 131, 213, 262**
- Баррес Морис (1862—1923), писатель. **56**
- Баярд Пьер Террайль де (1473—1524), также известный как «рыцарь без страха и упрека», полководец. **170**
- Беда Достопочтенный (ок. 673—735), ученый бенедиктинец, автор «Церковной истории народа англов». **91, 103, 107**

- Бедье Жозеф (1864—1938), медиевист. **109**
- Бенвиль Жак (1879—1936), историк. **24—28, 30, 42, 44—45, 47, 247—248, 257, 261—263, 266, 270—271, 273**
- Бергсон Анри (1859—1941), философ. **216**
- Бертоальд (ум. 604), майордом Бургундии. **104**
- Бертран Луи (1866—1941), историк. **27—28**
- Блок Марк (1886—1944), историк. **36, 91, 108, 110, 231—235, 239, 243, 248, 266—268, 270—271, 273**
- Блондель Давид (1591—1655), протестантский историк. **86**
- Боден Жан (1530—1596), историк и правовед. **277**
- Бодрикур Робер де (ок. 1400—1454), капитан гарнизона в Вокулере. **144—145**
- Бодуэн V, граф де Эно (ок. 1150—1195), отец Изабель де Эно, жены Филиппа Августа. **120**
- Бозон III (ок. 844—887), граф Вьеннский, король Прованса (879—887). **109**
- Большая Мадмуазель — см. Монпансье Анна-Мария-Луиза Орлеанская.
- Бонневаль Клод Александр де (1675—1747), также известный под именем Ахмет-паши, французский дворянин на службе у турецкого султана. **169**
- Борджиа Цезарь (1475—1507), герцог Валанса и Романьи, полководец. **168**
- Босс Авраам (ок. 1604—1676), гравер. **186**
- Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704), с 1669 г. епископ Кондомский, наставник дофина, с 1681 г. епископ Мо. **78, 92, 141, 148, 150, 154, 167, 187**
- Бразийак Роберт (1909—1945), писатель крайне правых взглядов; казнен после освобождения Франции от оккупации. **58**
- Брантом Пьер де Бурдей, сьер де (1540—1614), историк. **168, 202**
- Брейе Луи (1868—1951), византолог. **222, 262**
- Бретонский герцог — см. Артур III де Ришмон.
- Брогли Жак-Виктор-Альбер IV герцог де (1821—1901), министр иностранных, затем внутренних дел (1873—1874, 1877), историк, член Французской академии. **212—213, 215**
- Бродель Фернан (1902—1985), историк. **256**
- Буланже Жорж Эрнест Жан Мария (1837—1891), генерал, военный министр Франции (1886—1887). **13**
- Бурбон Шарль III де (1490—1527), первый принц крови, коннетабль Франции (1515—1523). **169—170, 191, 203**
- Бургундский герцог — см. Людовик, герцог Бургундский
- Бургундский герцог — см. Филипп III Добрый
- Бутан Пьер (1916—1998), писатель, философ. **264**

Бутми Эмиль (1835—1906), социолог, историк. **214—215**

Бюсси Роже де Рабютен, граф де (1618—1693), писатель, историк и коллекционер. **165—170, 180, 190**

Вайан Жан-Фуа (1632—1706), нумизмат. **179**

Валери Поль (1871—1945), поэт. **95, 216, 220**

Валент II (328—378), римский император (364—378), младший брат и соправитель Валентиниана I. **88**

Валентиниан I (321—375), римский император (364—375). **88**

Валла Лоренцо (1407—1457), итальянский гуманист, филолог. **86**

Вальтин Ян (1904—1951), мемуарист. **62—64, 69, 265**

Варрон Марк Теренций (116—27 до н. э.), римский ученый и философ. **89**

Вас Роберт (ок. 1115 — ок.1183), норманнский поэт, автор «Романа о Роллоне». **114**

Вафр, царь Египта. **90**

Вашингтон Джордж (1732—1799), первый президент США (1789—1797). **43**

Велизарий (ок. 505—565), полководец императора Юстиниана I. **46**

Велли Поль-Франсуа (1690—1759), историк. **128—129, 131, 141—142, 150, 152—155, 173, 187, 200**

Вергилий (Публий Вергилий Марон, 70—19 до н. э.), поэт. **45, 81, 158**

Вессетт Жозеф (1685—1756), бенедиктинец. **182**

Вико Джамбаттиста (1668—1744), философ. **46**

Вилларе Клод (ок. 1715—1766), драматург, историк. **128—129**

Вильгельм I Завоеватель (1028—1087), герцог Нормандский, король Англии (1066—1087). **113**

Вильгельм Коротконосый (Вильгельм Геллонский, 755—814), граф Тулузский, родственник Карла Великого, герой шансон де жест. **110**

Винье Никола (1530—1596), правовед, историк. **277**

Виньоль Этьен де, прозванный Ла Гир (1390—1443), полководец. **144, 164, 170**

Вио, Теофиль де (1590—1626), писатель, поэт. **132, 137**

Виолле-ле-Дюк Эжен Эммануэль (1814—1879), архитектор, реставратор, искусствовед. **186**

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ, 1694—1778), писатель, историк. **45, 154, 167, 207**

Гаген Робер (1431—1501), французский гуманист. **128**

Гальберт из Брюгге (ум. в 1134), хронист. **108**

Гарнье Жан-Жак (1729—1805), историк, с 1771 г. историограф Франции. **128—129**

Гене Бернар (род. 1927), историк. **275**

Ганнибал (246—183 до н. э.), карфагенский полководец. **158**

Гаксотт Пьер (1895—1982), историк. **28, 268, 270**

Гарасс Франсуа (1585—1631), иезуит, полемист. **137**

Гастон де Фуа (1489—1512), герцог Немурский, пэр Франции, полководец. **169—170, 189, 231**

Гатиан (III в.), первый епископ Тура, почитается как христианский святой. **102**

Гелетт Симон (ум. 1699), бернардинец, историк. **147**

Генрих II (1519—1559), король Франции (1547—1559). **158—160, 191—192, 198**

Генрих II Плантагенет (1133—1189), король Англии (1154—1189). **110, 164**

Генрих III (1551—1598), король Франции (1574—1589). **13, 128, 162, 167, 177, 191**

Генрих IV Великий (1553—1610), король Франции (1589—1610). **129, 143, 157—163, 165, 167—168, 203**

Генрих VIII Тюдор (1491—1547), король Англии (1509—1547). **159**

Геньер Роже де (1644—1715), коллекционер, антиквар. **161, 165, 176—185, 187, 277**

Георг III (1738—1820), король Великобритании (1760—1820). **68**

Геранже Проспер (1805—1875), автор «Литургических установлений» (1840—1851) и «Церковного года» (1841—1866). **92**

Герен Даниэль (1904—1988), историк. **35, 265**

Германик Тиберий Клавдий Нерон (15 до н. э.—19 н. э.), полководец. **188**

Геродот (490/480 — ок.425 до н. э.), древнегреческий историк. **75—78**

Гиббон Эдвард (1737—1794), историк. **206**

Гигес, лидийский царь. **90**

Гиз Генрих I Лотарингский, III герцог де (1550—1588), прозванный Меченым, сын Франсуа I, глава так называемой Католической лиги. **13, 159, 165, 180**

Гиз Франсуа I Лотарингский, II герцог де (1519—1563), предводитель католической партии в эпоху религиозных войн. **159, 165, 170**

Гиз Шарль Лотарингский, кардинал де (1524—1574), затем кардинал Лотарингский, брат Франсуа I. **159, 165**

Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), министр внутренних дел (1837—1839), иностранных дел (1840—1848), премьер-министр (1847—1848), историк, член Французской академии. **29, 131, 209, 216, 273**

Гильом из Нанжи (ум. в 1300), монах монастыря Сен-Дени, автор жизнеописания Людовика IX. **119**

Гитлер Адольф (1889—1945), рейсхканцлер (1933—1945). **9, 45**

Глабер Рауль (985—1047), хронист. **107**

Годфруа Бульонский (1061—1100), граф Булонский, герцог Лотарингский, «защитник Гроба Господня». **158, 161—162**

Годфруа Дени I (1549—1622), правовед. **172, 174**

Годфруа Дени II (1615—1681), старший сын Теодора и внук Дени I, королевский историограф Франции. **171—172, 174—175, 278**

Годфруа Жак (1587—1665), младший сын Дени I, юрист и женевский магистрат. **172**

Годфруа Теодор (1580—1649), старший сын Дени I, историограф Франции. **172, 176, 278**

Голль Шарль Андре Жозеф Мари де (1890—1970), генерал, глава Сопротивления, президент Франции (1959—1969). **52—53**

Гомбервиль Марен Леруа де (1600—1674), писатель, член Французской академии. **189, 191, 193, 195, 197—198, 200**

Гомер, легендарный древнегреческий поэт. **158**

Гонтран (ок. 525—593), король Бургундии (561—593) из династии Меровингов. **96, 102**

Гораций (Квинт Гораций Флакк, 65—27 до н. э.), поэт. **125, 213**

Григорий Назианзин (329—389), богослов, один из отцов Церкви. **162**

Григорий Турский (ок. 539 — ок. 594), епископ Тура (573—594), историк. **90—91, 96—98, 101—102, 105, 112, 115, 138—140**

Григорий I Великий (ок. 540—604), папа римский (590—604). **102**

Груссе Рене (1885—1952), историк-востоковед, член Французской академии. **28, 42**

Гуго Капет (ок. 941—996), первый король франков из династии Капетингов (987—996). **19, 116, 120, 141, 147**

Гуффье — знатный род из Пуату, возвысившийся при Франциске I. **171, 179**

Гуэль-и-Комильяса Хуан Антонио, граф де (1874—1958), автор «Дневника каталонского изгнанника, 1936—1945». **259**

Гюго Виктор (1802—1885), писатель. **208**

Дагоберт I (ок. 605—639), король из династии Меровингов; основатель аббатства Сен-Дени. **97, 106—107, 136**

Даладьё Эдуард (1884—1970), премьер-министр Франции (1933, 1938—1940). **9**

Даниэль Габриель (1649—1728), иезуит, историк. **129—131, 135, 141, 149—150, 154, 183 187, 280**

Данте Алигьери (1265—1321), автор «Божественной комедии». **45, 158**

Дебре Пьер (1922—1993), врач, писатель, журналист. **271**

Делакруа Эжен (1798—1863), художник. **208**

Дени Морис (1870—1943), художник. **92**

Деперье Бонавантюр (1501—1544), автор «Кимвала мира» (1538).
236

Джовио Паоло (1483—1552), епископ Ночерский, итальянский
ученый-гуманист. **157—159, 161—162, 167—169, 190, 196**

Джонсон Мишлин (р.1935), специалист по истории Квебека. **257**

Димье Луи (1865—1943), историк искусства. **165**

Дионисий Парижский (III в.), первый епископ Парижа, священно-
мученик. **102, 107, 133**

Доде Леон (1867—1942), журналист правых взглядов. **10**

Дольфус Энгельберт (1892—1934), канцлер Австрии с 1932 г., был
убит австрийскими нацистами во время неудавшегося путча 1934 г. **38**

Дормер Хью (1919—1944), участник Второй мировой, автор воен-
ных дневников. **65—67, 70, 265**

Дрейфус Альфред (1859—1935), капитан французской армии, не-
справедливо обвиненный в шпионаже (1894). **13, 52, 218**

Дудо из Сент-Квентина (ок. 965 — ок. 1040), норманнский историк.
111—114

Думерг Гастон (1863—1937), президент Третьей республики (1924—
1931). **9**

Дюбо Жан-Батист (1670—1742), автор «Критической истории уста-
новления французской монархии в Галлии». **207**

Дю Вер Гийом (1556—1621), правовед, хранитель королевской пе-
чати. **173**

Дю Геклен Бертран (1320—1380), коннетабль Франции (1370—
1380). **169—170**

Дюканж Шарль (1610—1688), историк, византист. **173, 179, 278**

Дю Коломбье Пьер (1889—1975), искусствовед. **270**

Дюнуа Жан, граф де (1402—1468), он же бастард Орлеанский, пол-
ководец, сподвижник Жанны д'Арк. **162, 164, 169—170**

Дюплеи Сципион (1569—1661), историк, историограф Франции
с 1619 г. **129, 146**

Дюпюи Пьер (1578—1651) и его младший брат Дюпюи Жак (1586—
1656), хранители библиотеки президента де Ту. **173, 176, 279**

Дю Тилле Жан, сьер де ла Брюсьер (ок. 1500—1570), историк. **128**

Дю Файль Ноэль, сеньор де ла Эриссе (ок. 1520—1591), писатель. **132**

Дюшен Андре (1584—1640), историк, королевский историограф. **175—176, 278—279**

Дю Эйан Бернар де Жирар, сеньор (ок. 1535—1610), историк, королевский историограф. **132—133, 136, 139, 144—146**

Евгений Савойский (1663—1736), полководец на службе Священной Римской империи. **169**

Евгения де Монтихо (1826—1920), императрица Франции (1853—1870), жена Наполеона III. **216**

Евсевий Памфил (ок. 263—340), епископ Кесарийский, историк церкви. **88, 95, 100, 102, 113—114**

Елизавета Французская (Филиппина-Мария-Елена-Елизавета, 1764—1794), сестра Людовика XVI. **12**

Жанна д'Арк (1412—1431), национальная героиня Франции. **143—147, 150—155, 164—165, 168—170**

Жерар II (ок. 800 — ок. 879), граф Парижский и граф Вьеннский, один из прототипов Жерара Руссильонского. **109**

Жерар Руссильонский, герой шансон де жест. **109—111**

Жиль Николь (ок. 1425—1503), историк. **130, 143—145**

Жирарде Рауль (р. 1917), историк. **259, 272**

Жиро Анри Оноре (1879—1949), генерал, сотрудничал с вишийским режимом и одновременно был сопредседателем Французского комитета национального освобождения. **52—53**

Жироду Жан (1882—1944), писатель. **259**

Жорес Жан (1859—1914), историк, лидер французских социалистов. **42, 218**

Жуайез Анн де Батарне, герцог де (1561—587), фаворит Генриха III. **177**

Жуанвиль Жан де (1223—1317), историк, биограф Людовика Святого. **108, 119**

Жюлиан Камилл (1859—1933), историк. **209, 212**

Зигфрид Андре (1875—1959), историк, географ, социолог, член Французской академии. **259**

Зенон (V в. до н. э.), древнегреческий философ. **91**

Иероним Стридонский (342—419), один из учителей Церкви. **77, 88—92, 95, 97, 113—114**

Изабель де Эно (1170—1190), королева Франции (1180—1190), жена Филиппа II Августа. **120**

Илье Луи д' (1880—1953), историк, писатель, журналист. **259**

Иоанн II Добрый (1319—1364), король Франции (1350—1364) из династии Валуа. **122, 161, 165, 177, 180**

Иоанн Златоуст (347—407), архиепископ Константинопольский. **181**

Иоанн III — Жан д'Орлеан, герцог де Гиз (1874—1940). **20**

Исидор Севильский (ок. 560—636), епископ Севильи, историк; почитается как христианский святой. **86**

Кайо Жозеф (1863—1944), политический деятель Третьей республики. **55**

Кальметт Жозеф (1873—1952), историк. **28—29, 233, 262**

Кам Робер (1878—1959), литературный критик. **270**

Камилл (Марк Фурий Камилл, ок. 447—365 до н. э.), римский полководец, за изгнание галлов получил титул «второго основателя Рима». **80**

Карель де Сент-Гард Жак (1620—1684), проповедник, литератор. **201**

Карл Мартелл (ок.688—741), майордом франков (717—741). **103—104, 201**

Карл I Анжуйский (1227—1285), король Сицилии (1266—1282) и Неаполя (1282—1285). **193**

Карл I Великий (747—814), король франков (768—814), император (800—814). **45, 91, 93, 96, 99—100, 104, 106, 109—110, 116, 120—122, 158, 161, 174**

Карл I Добрый (1083—1127), граф Фландрский (1119—1127). **108**

Карл II Лысый (823—877), король Западно-Франкского королевства (843—877). **109**

Карл III (1543—1608), герцог Лотарингский (1545—1608). **162**

Карл III Простоватый (879—929), король Западно-Франкского королевства (898—922) из рода Каролингов. **120, 141**

Карл VI Безумный (1368—1422), король Франции (1380—1422) из династии Валуа. **187**

Карл VII Победитель (1403—1461), король Франции (1422—1461) из династии Валуа. **147, 150, 152, 154, 161, 164**

Карл VIII (1470—1498), король Франции (1483—1498) из династии Валуа. **158—159, 168, 194**

Карл IX (1550—1574), король Франции (1560—1574) из династии Валуа. **133, 154, 188**

Карл X (1757—1836), король Франции (1824—1830) из династии Бурбонов. **12**

Карлейль Томас (1795—1881), историк. **46**

Каэн-Сальвадор Жорж (1875—1963), государственный советник, депутат парламента. **175**

Кейлор Уильям (р. 1944), историк. **257, 263**

Келли Дональд (р. 1933), специалист по интеллектуальной истории. **277**

Кенель Паскье (1634—1719), богослов. **15**

Кестлер Артур (1905—1983), писатель, журналист. **32**

Клерамбо, Пьер де (1651—1740), археолог и специалист по генеалогии. **176**

Климент XI (Джанфранческо Альбани, 1649—1721), папа римский (1700—1721). **15**

Клуэ Франсуа (1515—1572), придворный художник Франциска I; также работал на Клода Гюфье. **160**

Колумб Христофор (1451—1506), мореплаватель. **158, 162, 168**

Кольбер Жан-Батист (1619—1683), с 1661 — интендант финансов, с 1665 — генеральный контролер финансов, с 1669 — государственный секретарь по королевскому дому, морским делам и торговле. **174—175**

Комон Жозеф де Сейтр, маркиз де (1688—1745), коллекционер. **185—186**

Коммин Филипп де (1447—1511), советник Людовика XI, автор «Мемуаров» (1489). **46, 123, 162**

Конде Людовик II де Бурбон, принц де (1621—1686), первый принц крови, часто именуемый Великим Конде. **163, 169**

Кондорсе Жан Антуан, маркиз де (1743—1794), математик, философ. **207**

Константин I Великий (272—337), римский император (306—337). **45, 91, 102**

Константин XI Палеолог (1405—1453), последний император Константинополя (1449—1453). **164**

Кордова Гонсало Фернандес де (1453—1515), полководец. **168**

Кортес Фернандо (1485—1547), полководец. **158**

Котелье Жан-Батист (1629—1686), богослов, эрудит. **179**

Кошон Пьер (1371—1442), епископ Бове, один из судей на процессе Жанны д'Арк. **148**

Кравченко Виктор (1905—1966), советский перебежчик, автор автобиографии «Я выбрал свободу». **61—62, 69, 259, 265**

Крете Эммануэль (1747—1809), граф де Шамполь, министр внутренних дел (1807—1809). **131**

Курно Антуан Огюстен (1801—1877), математик, экономист. **220**

Лабб Филипп (1607—1667), иезуит, эрудит. **137**

Лаборд Леон де (1807—1869), археолог, искусствовед, хранитель луврского музея (1847—1854). **159**

Лависс Эрнест (1842—1922), историк, член Французской академии. **18, 218**

Ла Гир — см. Виньоль.

Ла Горс Пьер де (1846—1934), историк, член Французской академии. **213, 215—216**

Лайонс Юджин (1898—1985), американский журналист, писатель. **61**

Ла Кальпренед Готье де Кост, сьер де (1610—1663), романист. **199—200**

Ла Поплиньер Анри Лансло-Вуазен де (1541—1608), историк. **277—278**

Латрей Андре (1901—1984), историк, хроникер «Ле Монд» (1945—1972). **258**

Ла Тремуи Луи де (1460—1525), полководец. **170**

Лафайет Мари-Мадлен, графиня де, урожденная Пиош де ла Вернь (1634—1693), автор «Принцессы Клевской». **202**

Лафонтен Жан де (1621—1695), поэт. **155, 188**

Ла Форс, Огюст де Комон, герцог де (1878—1961). **213**

Ледигьер Франсуа де Бонн, герцог де (1543—1627), коннетабль Франции (1622—1627). **165**

Ленотр Жорж (Госслен Теодор, 1855—1935), писатель. **27, 262**

Ле Пелетье Клод (1631—1711), с 1652 — парламентский советник, с 1668 по 1676 гг. — купеческий старшина, 1673 г. — государственный советник. **181**

Лефевр Жорж (1874—1959), историк. **43**

Лонжпьер Илер-Бернар де (1659—1731), драматург, переводчик. **125**

Л'Опиталь Мишель де (1505—1573), канцлер Франции. **26, 170**

Ло Фердинанд (1866—1952), историк, директор Практической школы высших исследований по историческим и философским наукам. **28, 109**

Лобино Ги Алексис (1666—1727), бенедиктинский монах из Сен-Мора. **182**

Лонгвиль Жаклин, герцогиня де (ок. 1520—1587), урожденная де Роган. **162**

Лотарингский герцог — см. Карл III, герцог Лотарингский.

Лотарингский кардинал — см. Гиз Шарль де

Луи Рене (1906—1991), медиевист. **109**

Луи-Филипп (1773—1850), король Франции (1830—1848) из Орлеанской ветви династии Бурбонов. **166, 178**

Лэр Жюль (1836—1907), историк. **112**

Людовик, герцог Бургундский (1682—1712), внук Людовика XIV. **179—181**

Людовик VI Толстый (1081—1137), король Франции из династии Капетингов (1108—1137). **24, 118—119**

Людовик VII Молодой (1120—1180), король Франции из династии Капетингов (1137—1180). **118, 122**

Людовик IX Святой (1214—1270), король Франции (1226—1270), организатор двух крестовых походов; почитается как христианский святой. **12, 114, 116—119, 121—122, 137, 152, 165—166, 178, 193, 206.**

Людовик XI (1423—1483), король Франции (1461—1483) из династии Валуа. **128, 143, 154, 194**

Людовик XII (1462—1515), король Франции (1498—1515) из Орлеанской ветви династии Валуа. **161**

Людовик XIII (1601—1643), король Франции (1610—1643) из династии Бурбонов. **162—163, 184, 188**

Людовик XIV (1638—1715), король Франции (1643—1715) из династии Бурбонов. **27—28, 44—45, 146—147, 154, 162—163, 165, 168, 176, 178, 193, 202—203, 207, 280**

Людовик XVI (1754—1793), король Франции (1774—1792) из династии Бурбонов. **12, 129**

Люсенж Рене де (ок. 1554 — ок. 1615), сьер дез Алим, савойский посланник при дворе французского короля (1584—1589). **124—125, 127**

Мабийон Жан (1632—1707), член монашеской конгрегации Сен-Мор ордена бенедиктинцев, историк. **181, 279**

Мадлен Луи (1871—1956), историк, член Французской академии. **212—213, 262**

Мазарини Джулио (1602—1661), с 1641 г. кардинал, с 1642 г. первый министр. **118, 174**

Макиавелли Никколо (1469—1527), итальянский гуманист. **123**

Максимилиан I (1459—1519), император Священной Римской империи (1486—1519). **165**

Маль Эмиль (1862—1954), искусствовед. **18, 175**

Мальро Андре (1901—1976), писатель, политический деятель. **32**

Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867—1951), генерал, президент Финляндии (1944—1946). **64**

Маргарита де Валуа, именуемая королевой Марго (1553—1615), дочь Генриха II и Екатерины Медичи, королева Франции, первая жена Генриха IV (1572 г., брак аннулирован в 1599 г.). **191**

Маргарита Наваррская (1492—1549), сестра Франциска I, автор «Гептамерона» (опубл. 1559). **159, 236, 238**

Марий (Гай Марий, ок. 157—86 до н. э.), римский полководец. **125**

Мария-Антуанетта (1755—1793), королева Франции (1774—1792), жена Людовика XVI. **12**

Маркс Карл (1818—1883), философ, экономист. **30—31 34, 261, 264**

Маркс Майкл, друг Хью Дормера. **68**

Марсель Этьен (ум. 1358) — купеческий прево, предводитель третьего сословия на собрании Генеральных штатов 1355—1356 гг. **25, 29**

Мартен Анри (1810—1883), историк, член Французской академии. **130**

Мартин Турский (317/337—397), епископ г. Тура, почитается как христианский святой. **90, 102, 133**

Матъез Альбер (1874—1932), историк. **42—43**

Медичи Екатерина (1519—1589), королева Франции, жена Генриха II, мать Карла IX, Генриха III. **159—160, 162, 191, 193—194, 198**

Медичи Козимо (1389—1464), родоначальник династии Медичи. **164**

Медичи семейство. **126, 157**

Мезере Франсуа Эд де (1610—1683), историк, член Французской академии. **72, 125, 129—131, 133, 135, 140, 146, 152, 154, 172—173, 183, 200, 279**

Местр Жозеф де (1753—1821), дипломат, философ, писатель. **93, 167**

Метелл (Квинт Цецилий Метелл Нумидийский, ум. 91 до н. э.), римский полководец. **125**

Мехмед II Завоеватель (1432—1481), султан Османской империи (1444—1446; 1451—1481). **164**

Мило Клод-Франсуа-Ксавье (1726—1785), историк, член Французской академии. **131, 142, 152**

Мишле Жюль (1798—1874), историк. **46, 128, 130, 143, 146, 152—153, 155, 173, 208—209, 211, 216, 219, 268**

Мозанг, предположительно один из наследников Пейреска. **174**

Молинье Огюст (1851—1904), историк. **98, 101**

Моммзен Теодор (1817—1903), историк. **88, 90**

Монлюк Блез де Лассеран Массанком, сеньор де (1502—1577), маршал Франции, автор «Комментариев» (опубл. посмертно в 1592 г.). **170**

Монморанси Анн де (1492—1567), коннетабль Франции (1538—1567). **170, 191**

Монпансье Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де (1627—1693), также именуемая Старшая Мадмуазель, единственная дочь Гастона Орлеанского и Марии де Монпансье. **180**

Монтемайор Хорхе (1520—1561), испанский писатель. **194**

Монтень Мишель Эйкем де (1533—1592), автор «Опытов». **238, 270**

Монтескье Шарль-Луи де Секонда, барон ла Брэд и де (1689—1755), философ. **46, 105, 206**

Монтеспан Франсуаза, маркиза де, урожденная де Рошешуар де Мортемар (1640—1707), с 1668 г. фаворитка короля. **180—181**

Монтрей Пьер де (1200—1266/67), архитектор, один из создателей Нотр-Дам-де-Пари. **117**

Монтрей Эд де (ум. 1287), возможно, сын Пьера де Монтрея, скульптор. **162**

Монфокон Бернар де (1655—1741), член монашеской конгрегации Сен-Мор ордена бенедиктинцев, историк. **125, 174—175, 177—179, 181—183, 185—187**

Монфор Симон IV де (ок. 1165—1218), пятый граф Лестер, граф Тулузский, предводитель крестового похода против альбигойцев. **165**

Мопу Рене Никола Шарль Огюстен де (1714—1792), канцлер Франции с 1768 г., глава кабинета министров с 1770 г. **26**

Мор Томас (1478—1535), лорд-канцлер, автор «Утопии». **197**

Моро Фредерик (1921—2001), историк-латиноамериканист. **269**

Моразе Шарль (1913—2003), историк. **249**

Моррас Шарль (1868—1952), публицист, создатель «Аксьон франсез». **10, 12, 24, 250, 261, 264, 268, 271**

Мунье Ролан (1907—1993), историк. **269**

Мурад II (1404—1451), султан Османской империи (1421—1444; 1446—1451). **164**

Наполеон I Бонапарт (1769—1821), первый консул Республики (1799—1804), затем император Франции (1804—1814). **11—12, 26, 33, 44, 131, 263**

Навуходоносор II, вавилонский царь (605—562), покоритель Иудеи. **90**

Нибелунг I (705/720—770/778), сын Хильдебранда I. **104**

Нин, легендарный царь Ассирии. **89**

Ноде Габриель (1600—1653), эрудит-антикварий, библиотекарь Мазарини. **137, 279**

Нума Помпилий (VII в. до н. х.), легендарный законодатель и царь Древнего Рима. **158**

Обинье Теодор Агриппа д' (1552—1630), поэт, писатель, историк. **145**

Обуа маркиз д', корреспондент Бернара де Монфокона. **187**

Обюссон Пьер д' (1476—1503), великий магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. **164**

Озе Анри (1866—1946), историк. **128**

Озье Пьер д' (1592—1660) или его сын Рене (1640—1732), оба специалисты по генеалогии. **176**

Октавиан Август (63 до н. э.—14 н. э.), римский император с 27 г. до н. э. **79—80, 82, 199**

Оранго Шарль, заведующий литературной редакцией «Плон». **259**

Ордрик Виталий (1075 — ок. 1142), норманнский историк. **91, 113**

Орем (или Орезмский) Николай (ок. 1330—1382), богослов и ученый. **187**

Ориген (ок. 185 — ок. 254), богослов. **181**

Орлеанский ба́стард — см. Дюнуа.

Орозий Павел (ок. 385—420), богослов, автор «Истории против язычников». **90—91**

Осонвиль Жозеф д'Отеньен, граф д' (1809—1884), историк, член Французской академии. **216**

Отон (Марк Сальвий Отон, 32—69), римский император (69). **147**

Павел Диакон (ок. 720—800), историк. **91, 103, 107**

Палеолог Жорж Морис (1859—1944), дипломат. **55**

Паскье Этьен (1529—1615), правовед, историк. **136, 277, 279**

Патен Ги (1601—1676), врач, эрудит. **137**

Пегу Шарль (1873—1914), писатель, философ. **268**

Пейреск Никола-Клод Фабри де (150—1637), коллекционер, гуманист. **173—178, 278**

Пелиссон-Фонтанье Поль (1624—1693), секретарь суперинтенданта Фуке, член Французской академии. **280**

Петен Анри Филипп (1856—1951), маршал, глава коллаборационистского правительства Виши (1940—1944). **53**

Пето Пьер, эрудит начала XVII в. **279**

Петр Пустынник или Петр Амьенский (1050—1115), аскет, один из вдохновителей Первого крестового похода. **162**

Пий II (Энеа Сильвио Пикколомини, 1405—1464), папа римский (1458—1464), поэт, гуманист. **168**

Пий XI (Аброджио Дамиано Акилле Рати, 1857—1939), папа римский (1922—1939). **15**

Пикколомини — см. Пий II.

Пипин Короткий (714—768), майордом (741—751), затем первый король франков (751—768) из династии Каролингов. **97, 99, 104, 116, 120, 141**

Пирр I (318—272 до н. э.), царь Эпира и Македонии, противник Рима. **158**

Питу Пьер (1539—1596), правовед, историк. **175**

Плутарх (ок. 50 — ок. 120), греческий историк. **47, 206, 208**

Помпей (Гней Помпей Великий, 106—48 до н. э.), римский полководец. **91, 125**

Поншартрен Луи II Фелипо, граф де (1643—1727), канцлер Франции (1699). **181**

Поре Шарль (1675—1741), иезуит, преподаватель риторики в коллеже Людовика Великого (1708—1741). **206**

Потон де Ксентрай Жан (1390—1461), гасконский дворянин, один из товарищей по оружию Жанны д'Арк. **144, 164, 170**

Примат (XIII в.), монах аббатства Сен-Дени, историк. **118—120, 122**

Проспер Аквитанский (ок. 390 — ок. 455), богослов и историк. **89**

Птолемей Александрийский (Клавдий Птолемей, ок. 87—165), греческий астроном и географ. **194**

Пуанкаре Реймон (1860—1934), президент Франции (1913—1920). **55**

Пуатье Диана де (1500—1566), фаворитка короля Генриха II. **159, 168, 171**

Путас Шарль-Ипполит (1886—1974), историк. **273**

Пуштау Эрн фон, немецкая эмигрантка, героиня книги Перл Бак «Как это происходит». **54, 61**

Пюжо Морис (1872—1955), журналист, в 1908—1944 гг. соиздатель «Аксьон франсез». **26**

Рабле Франсуа (1494—1553), писатель. **164, 235—237, 266**

Рабютен — см. Бюсси-Рабютен.

Ранум Орест (р. 1933), историк, профессор университета Джона Хопкинса. **257**

Ратенау Вальтер (1867—1922), основатель Германской демократической партии. **57**

Рейналь Гийом Тома Франсуа (1713—1796), автор «Философской и политической истории учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (1770). **207**

Рейно Поль (1878—1966), французский политик, в 1940 г. перед назначением Петена недолго занимавший должность премьер-министра. **55**

Ремигий (ок. 437—533), архиепископ Реймский, святитель франков, крестил Хлодвиг I; почитается как христианский святой. **107**

Ренан Эрнест (1823—1892), историк. **211, 214, 230**

Ренуар Филипп, медиевист. **272**

Ригор (ум. 1207), хронист. **119**

Ричард I Львиное Сердце (1157—1199), король Англии (1189—1199). **68**

Рихер Реймский (ок. 950 — ок. 998), монах монастыря св. Ремигия в Реймсе, историк. **106**

Ришелье Арман-Жан дю Плесси, кардинал де (1585—1642), с 1629 г. первый министр Людовика XIII. **162, 164—165, 167—171, 202, 213**

Роберт I (ок. 865 — 923), король из династии Капетингов (922—923). **107, 120**

Роберт Французский (1256—1317), граф Клермонский, младший сын короля Людовика Святого. **165**

Роберте Флоримон I (1458—1527), государственный секретарь и казначей Карла VIII, затем Франциска I. **164**

Роллен Шарль (1661—1741), историк. **126—127, 181**

Роллон (ок. 860—ок. 932), первый герцог Нормандии. **114, 120**

Ромул (VIII в. до н. э.), легендарный основатель Рима. **80, 89, 125, 158**

Ронз Реймон (1887—1966), историк-латиноамериканист. **259**

Россель, адвокат, автор «Истории французского патриотизма» (1769). **153**

Руппель Гастон (1871—1946), историк. **231**

Руссе Давид (1912—1997), писатель, журналист. **58—60, 265**

Руссо Жан Жак (1712—1778), писатель. **206**

Савонарола Джироламо (1452—1498), доминиканец, проповедник. **168**

Саладин (Салах ад-Дин, 1138—1193), султан Египта, основатель династии Айюбидов. **122**

Саломон Эрнст фон (1902—1972). **57—58, 63—65, 69**

Сальвиан Марсельский (ок. 390 — ок. 484), проповедник. **92—93**

Саннье Марк (1873—1950), основатель политического движения «Сийон». **52**

Сансерр Жан де Бейль, граф де (1406—1477), адмирал Франции (1450—1461). **164**

Сатурнин (III в.), один из евангелизаторов Галлии, почитается как христианский святой. **102**

Светоний (Гай Светоний Транквилл, ок. 70 — ок. 130), римский историк. **94**

Севинье Мари, маркиза де, урожденная де Рабютен-Шанталь (1626—1696), кузина Бюсси-Рабютена. **166**

Сегюр Филипп-Поль, граф де (1780—1873), историк. **213, 216**

Сен-Симон Луи де Рувуа, герцог де (1675—1755), автор «Мемуаров». **176**

Сент-Мари Ансельм де (1625—1694), специалист по генеалогии и геральдике. **19**

Сервий Туллий, шестой царь Рима (ок. 578 — 535 до н. э.). **90**

Серр Жан де (1540—1598), историк. **145**

Сигиберт III (630—656), король франков из династии Меровингов, правил в Австразии (632—656). **97, 133**

Сисмонди Жан Шарль Леонар де (1773—1842), историк. **131**

Скандербег (Георг Кастриоти, 1405—1468), албанский полководец, сперва на службе Османской империи, затем предводитель успешного восстания в Албании. **164, 168, 193, 196**

Сова Ромен, хроникер «Л'Индепандан». **269**

Солон (ок. 640 — ок. 556 до н. э.), афинский законодатель. **158**

Сорель Агнесс (1421—1450), фаворитка Карла VII. **166—167, 171**

Сорель Альбер (1842—1906), историк. **27, 214, 248**

Сорель Шарль, сьер де Сувиньи (ок. 1582—1674), писатель, историк, историограф Франции. **132—137, 172, 213, 216**

Спигель Габриэла, историк-медиевист, профессор университета Джона Хопкинса. **257**

Сталин Иосиф (Джугашвили, 1879—1953), генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии СССР (1922—1952), председатель Совета министров СССР (1946—1953). **45, 265**

Стилихон (Флавий Стилихион, ок. 358—408), римский полководец. **80**

Сфорца Франческо (1401—1466), кондотьер, с 1450 фактически герцог Миланский (титул не признан императором Священной Римской империи). **164**

Сугерий (ок. 1080—1151), аббат Сен-Дени (1122—1151), советник Людовика VI и Людовика VII. **118—119, 164, 167**

Сулла (Луций Корнелий Сулла, ок. 138—78 до н. э.), римский полководец и диктатор. **125**

Сцевола (Гай Муций Сцевола, VI в до н. э.), римский патриций. **125**

Сципион Африканский (Публий Корнелий Сципион Африканский Старший, ок. 235—183 до н. э.), римский полководец. **125, 158**

Талейран-Перигор Шарль Морис де (1754—1838), дипломат, министр иностранных дел (1797—1799). **13**

Тальбот Джон, первый граф Шусбери (ум. 1453), полководец. **164**

Тамерлан (1336—1405), полководец, основатель династии Тимуридов. **158, 168**

Тапье Виктор-Люсьен (1900—1974), историк. **273**

Тацит Публий (или Гай) Корнелий (ок. 56—117), римский историк. **84**

Тевэ Андрэ (1516—1590), францисканец, капеллан Екатерины Медичи, королевский историограф, путешественник. **162**

Теодорих II (587—613), король Бургундии (593—613) из династии Меровингов. **104**

Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император (14—37). **91**

Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк. **47, 89, 130, 135, 157, 161, 206**

Токвиль Алексис де (1805—1859), министр иностранных дел (1849), историк. **213**

Трог Помпей (I до н. э. — I н. э.), римский историк. **91**

Ту Жак-Огюст де (1553—1617), историк, президент парижского парламента. **171—174, 176, 269**

Турпин (753—794), архиепископ Реймский, которому приписывалось авторство хроники «Жизнь и деяния Карла Великого». **120**

Тьер Луи Адольф (1797—1877), премьер-министр, первый президент Третьей республики, историк, член Французской академии. **27**

Тьерри Огюстен (1795—1856), историк. **131, 173, 208, 216**

Тэн Ипполит Адольф (1828—1893), историк. **211, 214**

Тюренн Анри де ла Тур д'Овернь, виконт де (1611—1675), полководец. **181**

Удо из Труа, издатели «Синей библиотеки». **124, 127**

Урсен (III в.), первый епископ Буржский, почитается как христианский святой. **102**

Фантен-Дезодоар Антуан-Этьен-Никола (1738—1820), литератор. **128—129, 153—154**

Фарамон, легендарный основатель династии Меровингов. **128, 141, 156, 167**

Февр Люсьен (1878—1956), историк. **40, 231, 235—239, 243, 248, 266—267, 270—271, 273**

Фердинанд II Католик (1452—1516), король Сицилии с 1468 г., Арагона с 1479 г., Кастилии в 1479—1504 гг. **46**

Филипп Август (1165—1223), король Франции из династии Капетингов (1080—1223). **117—120, 122, 152**

Филипп I (1052—1108), король Франции из династии Капетингов (1060—1108). **116**

Филипп II Смелый (1245—1285), король Франции (1270—1285) из рода Капетингов. **118**

Филипп III Добрый (1396—1467), герцог Бургундский (1419—1467). **111**

Филипп IV Красивый (1268—1314), король Франции (1285—1314). **25, 154, 165, 169**

Филипп VI де Валуа (1293—1350), король Франции (1328—1350), родоначальник династии Валуа. **162—163, 167**

Фладрский граф — см. Карл Добрый.

Флери Клод (1640—1723), автор «Церковной истории» (1691). **179**

Флодоард (894—966), каноник кафедрального Реймского собора, хронист. **106—107**

Франсион, легендарный персонаж — троянец, от которого якобы ведут происхождение франки. **113, 132—133**

Франциск I (1494—1547), король Франции (1515—1547). **159—161, 164, 167—168, 187, 190, 203**

Франциск II (1544—1560), старший сын Генриха II, король Франции (1559—1560). **191**

Фредегар (ок. 660?), предположительный автор т. н. «Хроники Фредегара». **96—100, 104—106**

Фрере Никола (1688—1749), историк. **200**

Фридрих I Барбаросса (1122—1190), император Священной Римской империи (1150—1190). **158, 161**

Фукидид (ок. 460 — ок. 400 до н. э.), древнегреческий историк. **84**

Фуркасье Жан (1886—1955), филолог. **259**

Фюретьер Антуан (1619—1688), писатель, лексикограф. **129, 136**

Фюстель де Куланж Ньюма-Дени (1830—1889), историк. **36, 126, 207, 209, 211—212, 216, 230, 268**

Хайр-ад-Дин Барбаросса (1475—1546), предводитель средиземноморских пиратов, провозгласил себя султаном Барбароссой II. **158**

Харт Эрика (род. 1939), специалист по французской литературе, профессор Колумбийского университета. **257**

Хельгод (ум. ок. 1048), бенедиктинец, капеллан короля Роберта II, хронист. **107**

Хеопс, второй фараон из IV династии Древнего царства (ок. 2589—2566 до н. э.). **76**

Хефрен, четвертый фараон из IV династии Древнего царства (ок. 2558 — 2532 до н. э.). **76**

Хильдеберт (род. 603), второй сын Теодориха II. **96, 102, 104**

Хильдебранд I (ок. 690 — ок. 751), брат Карла Мартелла, родоначальник династии Нибелунгов. **103—104, 133**

Хильдерик. **138—143, 200, 276**

Хильперик I (539—584), король франков из династии Меровингов, правил в Невстрии (561—584). **96, 118**

Хинкмар (806—882), архиепископ Реймский. **107**

Хлодвиг I (ок. 466—511), король франков из династии Меровингов (481—511), сын Хильперика I, принял крещение в 496 г. **45, 102, 105, 115—118, 121, 136, 138, 141—143, 147, 166**

Хлодвиг II (634—657), король франков из династии Меровингов, правил в Невстрии и Бургундии (639—657). **97**

Хлотарь I (ок. 497—561), король франков из династии Меровингов (511—561). **133**

Хуан Австрийский (1547—1578), испанский полководец, незаконнорожденный сын Карла V. **188**

Хуньяди Янош (1387—1456), регент Венгерского королевства (1446—1453). **164**

Хуперт Джордж (род. 1934), историк, профессор Чикагского университета. **277**

Хэпгуд Элизабет, переводчица. **61**

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский оратор. **79, 158, 172**

Шабан Антуан де (1408—1488), верховный распорядитель двора Карла VII. **164**

Шаплен Жан (1595—1674), поэт, член Французской академии. **124**

Шатель Танги дю (1369—1449), полководец, приближенный Карла VII. **164**

Шатийон Гоше де (1250—1330), коннетабль Франции (1302—1329). **169**

Шатобриан Франсуа-Рене де (1768—1848), писатель. **131**

Шевалье Жак (1882—1962), философ, специалист по истории философии. **204**

Шометт Пьер Гаспар (1763—1794), член Парижской коммуны, сторонник террора. **36**

Эбер Жак-Рене (1757—1794), член Клуба кордельеров, член Парижской коммуны, сторонник террора. **36**

Эгинхард или Эйнхард (ок. 775—840), автор «Жизни Карла Великого». **93—94, 104, 120**

Элеонора Аквитанская (ум. 1204), королева Франции (1137—1152), жена Людовика VII, затем королева Англии (1154—1189), жена Генриха II. **122**

Эмилий Паоло (1460—1529), историк. **130, 157**

Энний — Квинт Энний (239 до н. э. — 169 до н. э.), римский поэт, автор «Анналов». **79**

Эрбло де Моленвиль Бартеlemi д' (1625—1695), автор «Восточной библиотеки, или Универсального словаря...» (1697). **179**

Эрколе I д'Эсте (1431—1505), герцог Феррарский и Моденский. **164**

Этутивиль Гийом д' (ок. 1400—1483), кардинал. **164**

Юбо Жан (1894—1959), филолог, профессор Льежского университета. **79**

Юлиан II Отступник (332—363), последний римский император-язычник (361—363). **80**

Юрфе Оноре д' (1567—1625), автор пасторального романа «Астрей». **195, 200**

Юстиниан I (482—565), император Восточной Римской империи (527—565). **172**

Юстус ван Гент (ок. 1410 — ок. 1480), художник. **158**

Юэ Пьер Даниэль (1630—1721), епископ Суассона и Авранша. **180.**

Научное издание

Арьес Филипп

Время истории

Перевод М. Неклюдовой

Ответственный редактор О. Старикова

Компьютерная верстка: Т. Мосолова

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

101000, Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр. 6а

Тел./факс: (495) 621-98-52; тел.: (495) 744-31-70; e-mail: info@ogi.ru

Информация о книгах издательства: <http://ogi-press.livejournal.com>

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8. Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1. Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8. Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28. Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская», Малый Гнезниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
- Книжный магазин «Гилея», м. «Пушкинская», «Тверская», Тверской бул., д. 9. Тел.: (495) 925-81-66.

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-ПРЕСС», Москва, М. Трехсвятительский пер., д. 3а.

Тел. +7-915-110-36-50.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

www.esterum.com и www.ozon.ru

Подписано в печать 17.03.2011. Гарнитура Петербург.

Формат 84×108¹/₃₂. Объем 9,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ № 1555.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА». 610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36; <http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: pto@gipp.kirov.ru

Филипп Арьес

ВРЕМЯ ИСТОРИИ

Книга Филиппа Арьеса «Время истории» (1954) имеет отчасти автобиографический характер и посвящена тому особому чувству прошлого, которое присуще любой эпохе, начиная от античности до наших дней. В повышенном интересе к истории он видит главную черту европейской цивилизации. Этот интерес не всегда облекается в словесные формы. Наоборот, искать его стоит не столько в научных трудах, сколько в увлечении историческими романами, коллекционировании старых портретов или мебели, купленной на блошином рынке. А также в моде на псевдо-исторические теории, такие как марксизм или консервативный национализм. В своих эссе, написанных вскоре после окончания Второй мировой войны, Арьес ратует за сопротивление современной Истории, понимаемой как совокупность величинностных процессов. Альтернативой ей он видит конкретный человеческий опыт, который нельзя свести к набору обобщений, — опыт очевидца, читателя, действующего лица, приобщенного к настоящей живой истории.

ОГИ
историография

ISBN 978-5-94282-635-2



9 78 5 942 82 635 2